Воспоминания Михаила Петровича Сажина (Армана Росса)

Михаил Сажин (Арман Росс)



статьи за 1908-1934

Оглавление

Предисловие 11

Краткая автобиография 14

I. 16

О гражданской казни Николая Гавриловича Чернышевского. Заметка. 17

Первая ссылка и побег (1868-1869 года) 19

II. Лавров 24

Воспоминания о Петре Лавровиче Лаврове. 25

Статья Германа Лопатина «К рассказам о Петре Лавровиче Лаврове» 49

Ответ Герману Лопатину 58

III. Революционные дела 64

Воспоминания о Сергее Геннадьевиче Нечаеве (1870-1872 года) 65

Первое знакомство с Михаилом Бакуниным. 77

Русские в Цюрихе *(1870-1873)* 87

Последние дни Парижской коммуны. 131

Первая встреча с Петром Алексеевичем Кропоткиным. 136

Поправка к статье Земфира Ралли о Михаиле Александровиче Бакунине. 140

Бакунин и его вилла «Бароната». 141

Письмо Бакунина Россу, 21 октября 1874. Лугано 149

Заметка о Николе Пашиче, сербском премьер-министре 150

Поездка в Герцеговину (Август 1875 года) 152

IV. Каторга и ссылка **158**

Харьковская централка. 1878-1881 года. (Из воспоминаний) **159**

Знакомство с Владимиром Галактионовичем Короленко. **169**

По Сибири. ***(Воспоминания)*** **174**
Очерки первый 174
Очерк второй. 179
Очерк третий. 185

V. **191**

Евгения Николаевна Сажина-Фигнер [Некролог] **192**

Михаил Петрович Сажин (1845-1934) [Некролог] **197**



1864 г.

С ОТЦОМ.



1874 г.
за границей.



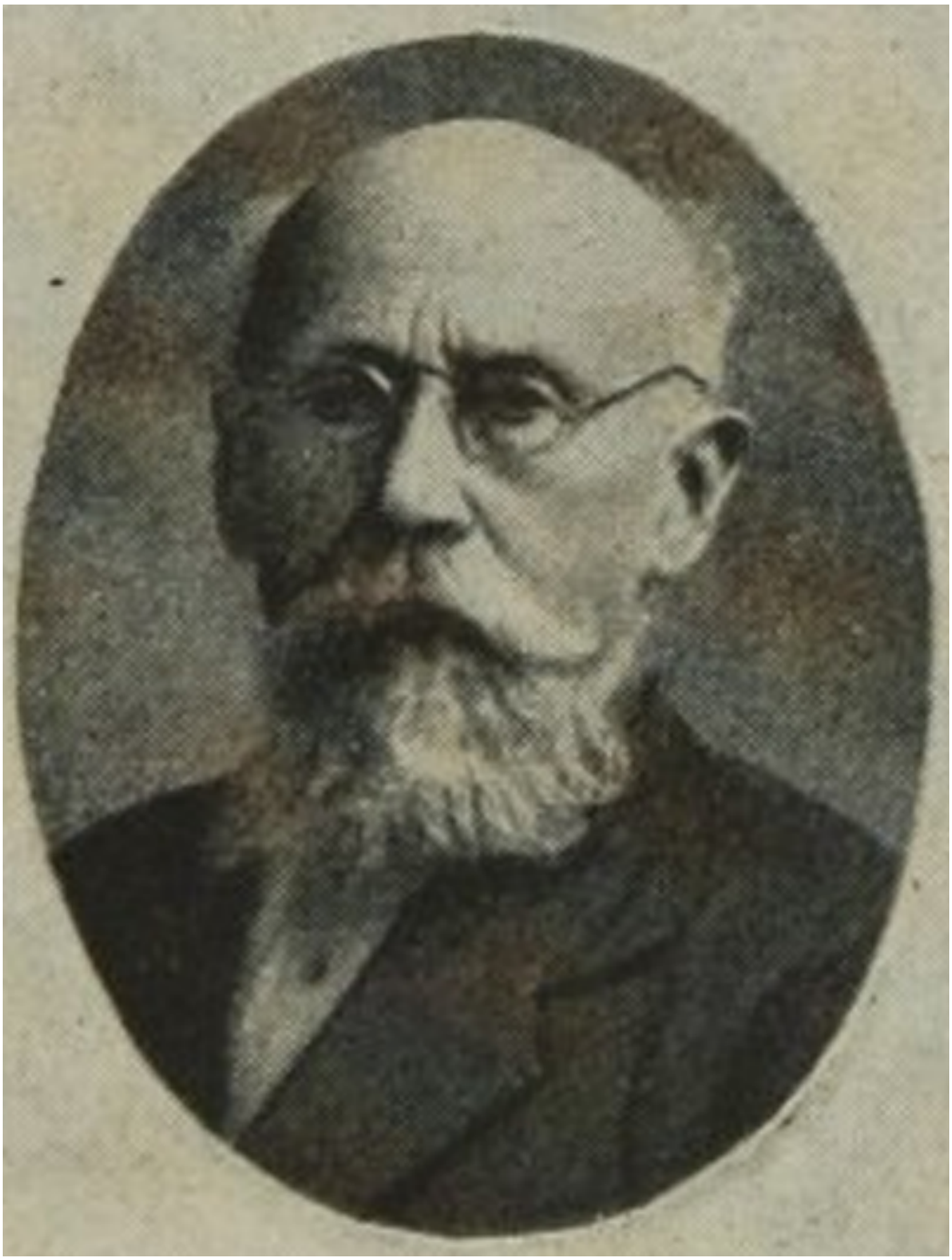
1876 г.
снимок в III отделении.

после ареста по делу 193-х

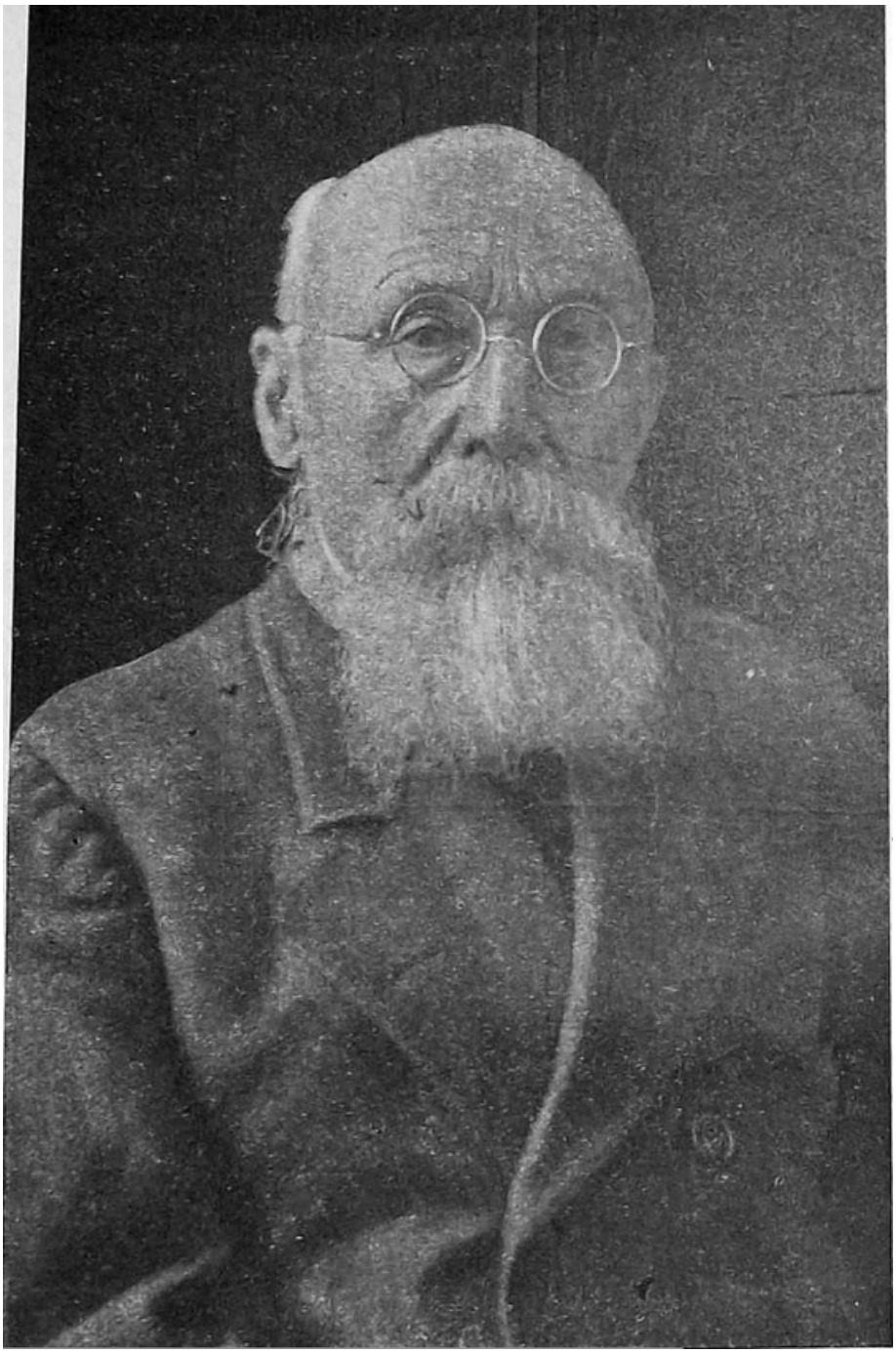


1881 г.
в Красноярске.

в ссылке



снимок 1922 года



снимок 15 октября 1925



Жена Сажина, революционерка Евгения Николаевна Фигнер

Предисловие

Михаил Петрович Сажин, известный в эмигрантских кружках 70-х годов прошлого века под именем Арман Росс, является старейшим из уцелевших свидетелей нашего далекого революционного прошлого. Живой обломок глубокой старины, современник «Современника», – в год так называемого освобождения крестьян Сажину было шестнадцать лет, – он непосредственным участием связан даже не с историей, но с предысторией нашей революции – со студенческим движением шестидесятых годов и с кружками швейцарской эмиграции семидесятых. Три четверти столетия прошли на глазах этого человека. Есть, право, чему позавидовать.

Разночинец, купеческий сын, он в 1858 году еще мальчиком появился в Петербурге из какого-то глухого уезда Костромской губернии. Подобно многим своим сверстникам, он принес с собой протестующее настроение, характерное для молодежи шестидесятых годов. Попал он в Петербург, что называется, вовремя: 4-5 лет петербургской жизни и наблюдений оформили неясные поиски. Великий обман «великой» реформы, крестьянские восстания, жестоко подавленные, проповедь Чернышевского, насильственно прерванная, польское восстание, залитое кровью, виселицы, щедрой рукой рассеянные Муравьевым, торжество трусливого, но свирепого деспотизма, – всё это раздуло в Сажине тлевшие угли протеста в жаркое революционное пламя.

В 1865 году (60 лет назад) он судится за нелегальное издание знаменитой книги Бюхнера «*Сила и материя*»; год спустя, каким-то краешком оказывается причастным к Каракозову – по крайней мере, полиция усердно разыскивала его связи с Каракозовским делом; а еще одним годом позже мы видим его в роли зачинщика волнений в Технологическом институте в Петербурге. Всё это было началом, далеко не плохим; затем, как полагается в жизнеописании русского революционера, ссылка, потом, натурально, побег – прямо в Америку; здесь, само собой разумеется, бедствия, голод, странствия из города в город, черная работа на заводах. По вызову Сергея Нечаева, Сажин возвращается в Европу, в Швейцарию – тогдашнее гнездо русской революционной эмиграции, – сближается с Бакуниным; но при первых известиях о восстании Парижской Коммуны, бросается во Францию и с честью сражается на парижских баррикадах.

Близкий друг Михаила Бакунина, его правая рука в революционных конспирациях, Сажин после Парижской Коммуны некоторое время был физическим центром русской колонии в Цюрихе; недаром цюрихских бакунистов попросту называли «россовцами». Обладая большим практическим даром, непоседливый, энергичный, полный революционного пороха, он организовывает в Цюрихе колонию, устраивает кружки бакунистов, создает библиотеку, входит в тайный «альянс» Бакунина, сражается со сторонниками Утина, полемизирует с Лавровым, с помощью друзей создает типографию и, – одной ногой в Лондоне, другой в Женеве, – выпускает в

свет «*Государственность и Анархию*», «*Историческое развитие Интернационала*», «*Анархию по Прудону*», совмещая в своем лице обязанности наборщика и корректора, метранпажа, печатника и даже плотника, сколачивающего кассы и реалы для типографского шрифта.

В значительной мере Сажину обязана русская революционная молодежь семидесятых годов тем обстоятельством, что она располагала книгой Бакунина о «*Государственности и Анархии*», – книгой, которая, по свидетельствам современников, была революционным евангелием того времени.

Но, лихорадочно работая, споря, полемизируя, агитируя, набирая, корректируя, верстая, даже сшивая книжки и транспортируя их в Россию, Сажин не удовлетворен этой кипучей деятельностью. Ему не хватало настоящей борьбы с оружием в руках, и лишь только представился случай – он бросил конспирацию и агитацию, чтобы вновь понюхать настоящего пороха. Узнав о восстании против турок в Герцеговине и запасшись благословением Бакунина, Сажин отправляется сражаться и испытывает все прелести полузвериной военной жизни в горных ущельях Герцеговины.

В 1875 году он возвращается в Женеву, где вместе с Кравчинским, Лопатиным, Натансоном, Иваном Мокриевичем, Енкуватовым, Клеменцом и некоторыми другими обсуждает замысел поднять восстание в России, наметив Урал местом для подготовки восстания. Совещание в принципе одобряет замысел, друзья отправляются в Россию, в том числе – и Сажин. Но русские условия смывают революционный пыл, возбужденный, очевидно, борьбой в Герцеговине (многие из участников совещания принимали участие в восстании); замысел, казавшийся в Женеве осуществимым, в России показался безумным, – так, по крайней мере, квалифицировали его Натансон и Клеменц. Сажин направляется обратно на Запад[1]. Потайное место, где он переходил границу, «провалилось», и Сажин в начале 1876 года попал в лапы царских жандармов. Железная крышка захлопнулась надолго. После ареста – полтора года в каземате Петропавловки, суд, страшный Харьковский централ, многолетняя каторга и, наконец, ссылка на поселение. Нить кипучей жизни обрывается. Арман Росс выпадает из революционного оборота, разделяя судьбу Чернышевского, Михайлова и многого множества известных и безвестных жертв русского царизма.

Но Сажин оказался счастливее других и, прежде всего, счастливее своего учителя. Умер Бакунин, разочарованный в своих революционных планах. Как мог он знать, что Арман Росс, друг и ученик, соратник его безуспешных боев, собственными глазами увидит осуществление революционной мечты всей его жизни – гибель ненавистной Австрии и уничтожение могущественной царской империи? Но свершилось то, что вызывало скептическую усмешку Герцена: погибла Австрия, разрушена реакционная империя царя, и над Зимним Дворцом и Петропавловской крепостью развевается красное знамя.

---

[1] Насколько мне известно, настоящее сообщение о причинах, заставивших Сажина отправиться в Россию, в печати появляется впервые. Излагаю его со слов М. П. Сажина, который в воспоминаниях своих не касается ни совещания, происходившего у него на рождестве 1875 года, вслед за возвращением из Герцеговины, ни замысла, обсуждавшегося на этом совещании. Разговор мой с М. П. Сажиным происходил 11 октября 1925 года и записан мной совершенно точно. М. П. Сажин не откажется, разумеется, подтвердить его, равно как и перечень лиц, принимавших в совещании участие.

Уцелев в долгие годы каторги и поселения, современник Бакунина, Нечаева, Герцена, Чернышевского и Лаврова, Михаил Петрович Сажин среди нас, крепкий, восьмидесятилетний старик с белой бородой, со свежей еще памятью, с ясными глазами – живая связь времен, живое звено, сближающее младенческую эпоху нашей революции с нынешними днями ее наибольшего расцвета. Глядя на него, испытываешь чувство изумления и гордости перед этой крепкой физической и духовной организацией, перед таким хорошим образцом стойкого солдата революции.

Сажин не был вождем и никогда на роль вождя не претендовал. Он не является также литератором – оттого-то мемуары его столь кратки, так бедно касаются вопросов, о которых можно было бы рассказать гораздо более того, что сообщил нам Сажин. Как и всякий мемуарист, наш автор не всегда объективен. Как и всякий мемуарист, ему не всегда удается сохранить беспристрастие – слишком горячей была борьба, чтобы даже теперь, более полувека спустя, воспоминания о старых боях не волновали кровь. Как и всякий мемуарист, Сажин допускает некоторые неточности – всё это заметит и исправит внимательная историческая критика. Но как бы тщательна критика ни была, она должна будет признать историческую ценность за этой небольшой книжкой, скупыми словами рассказывающей о долгой жизни, полной испытаний, и о крупнейших людях нашего далекого прошлого, с которыми автор имел счастье сталкиваться, либо как друг, либо как противник.

Говоря о Сажине, мысль невольно тянется к Бакунину. Сажин был «бакунистом» и всё, что он делал, он делал, как ученик «апостола всемирного разрушения». Но «бакунизм» Сажина нисколько не препятствует нам приветствовать в его лице товарища-революционера, честно отдавшего революции лучшие годы своей жизни. Скажем больше. Ничто не мешает нам признать, что в авторе «*Государственности и Анархии*» мы чтим величайшего предтечу великой Русской революции, фигурой которого, полной революционной страсти, в праве гордиться история нашего прошлого.

В нашей, сравнительно немалой литературе, посвященной семидесятым годам прошлого века, воспоминания Сажина займут далеко не последнее место.

Вяч. Полонский.

Краткая автобиография

Родился я в 1845 году в Вятской губернии и принадлежал к семье мелкого купечества. Отец мой служил по откупам и в небольших торговых предприятиях в разных уездных городах северной России. Учился я грамоте сначала дома, потом в уездном училище города Буя, Костромской губернии. В конце 1858 года отец увез меня в Петербург, где я поступил в Технологический институт, который тогда был закрытым средним учебным заведением с шестью классами. В то время жизнь в институте была очень схожа с жизнью тогдашних кадетских корпусов или бурсы.

Впервые пахнуло на нас либеральным духом в 60-61 учебном году, когда к нам назначен был учителем русского языка Александр Никифорович Моригеровский. Он пробыл у нас года полтора; начальство удалило его за вредное на нас влияние. С этого времени начались столкновения учеников с институтским начальством, в которых я всегда принимал самое горячее участие.

Семья моя была, конечно, религиозная, в особенности бабушка, которая постоянно на всякие службы ходила в церковь; она часто и довольно далеко путешествовала пешком по монастырям, при чем брала меня с собой. В институте же, для поддержания и развития религиозности, условия были очень неблагоприятные: хождение в церковь, исполнение всяких религиозных обрядов было принудительное и формальное; в классах раз в неделю был урок «закона божьего», на котором священник ограничивался всегда только спрашиванием урока и заданием нового «отсюда и досюда». Никаких объяснений и разговоров с его стороны не бывало. Так что, к концу третьего года моего пребывания в институте, к религии я стал относиться почти индифферентно, а Моригеровский окончательно убил во мне всякую религиозность.

Я развивался исключительно на Николае Гавриловиче Чернышевском, о котором впервые узнал в первой половине 1862 года, после того, как он был арестован, а журнал «Современник», в котором он играл главную роль, закрыт. С этого времени я начал читать и перечитывать его статьи в «Современнике», покупая у букинистов старые книжки журнала. В течение двух-трех лет я приобрел «Современник» за все годы сотрудничества в нем Чернышевского. В то время все наши знания черпались исключительно только из журналов, книг же совсем не было.

С 1863-1864 учебного года институт сделался открытым высшим учебным заведением, и нас учеников преобразовали в студентов и выпустили на вольные квартиры.

Впервые я столкнулся с полицией в 1865 году, когда привлекался по делу о печатании в институтской типо-литографии запрещенных книг, именно сочинения Бюхнера. Судил старый сенат.

В 1866 году по делу Каракозова разыскивался полицией: совершенно случайно, за несколько дней до обыска, выехал из Петербурга на урок и вернулся только через год. В сентябре 1867 года снова поступил в Технологический институт, где с декабря началось студенческое волнение, в коем я принял самое энергичное участие, за что,

как инициатора, в феврале 1868 года меня исключили из института и административно выслали в Вологодскую губернию. Эти беспорядки после Каракозовского дела были первыми и продолжались всю весну 1868 года, а затем осенью перекинулись в Университет и Медико-Хирургическую Академию (начало деятельности Сергея Нечаева).

В ссылке прожил до лета 1869 года, когда бежал в Америку, где в разных городах работал на заводах. В июне 1870 года, по вызову Нечаева, приехал в Женеву. Здесь познакомился с Михаилом Александровичем Бакуниным и вошел с ним в связь, скоро затем перешедшую в самые близкие отношения, продолжавшиеся до самой его смерти в 1876 году.

Со второй половины 1870 года я поселился в Цюрихе, где среди учащейся молодежи вел усиленную революционную пропаганду, основал кружок и библиотеку. В это же время примкнул к Интернационалу, а именно к Юрской федерации. В 1871 году был в Парижской коммуне с марта по июнь месяцы, вернувшись оттуда, заболел и только почти через год смог снова приняться за революционную деятельность. В 1872 году был принят в члены знаменитого «Альянса».

В конце 1872 года завязалась у меня борьба с Петром Лавровичем Лавровым, который приехал в Цюрих спасать молодежь от революционной пропаганды и издавать журнал с радикально-либеральной программой; но под влиянием этой борьбы и окружающей жизни он, в конце концов, стал издавать журнал «Вперед», орган социалистический и даже с анархическим налетом.

В 1873 году вместе с товарищами организовал типографию, печатал книжки («*Историческое развитие Интернационала*», «*Государственность и Анархия*», «*Анархия по Прудону*») и транспортировал их в Россию. Лето и осень 1874 года жил в Локарно (Швейцария) у Бакунина и принимал деятельное участие в итальянских делах. В 1875 году был в Герцеговинском восстании волонтером в иностранном легионе.

В марте 1876 года уехал в Россию, где, на обратном пути, на границе был арестован и препровожден в Петропавловскую крепость. Затем судили, приговорили к каторге, которую отбывал в Ново-Борисоглебской центральной каторжной тюрьме Харьковской губернии.

После каторги был переведен на поселение в Дальнюю Восточную Сибирь, где в 1888 году, будучи приписан к крестьянству, служил на золотых приисках и в пароходствах на Байкале и по рекам Западной Сибири.

Во время революции 1905-1906 годов, жил в Нижнем Новгороде и принимал в ней очень небольшое участие.

М. П. Сажин.

8 октября 1922,

«Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник», №6, Москва, 1923, с. 3-5

I.

О гражданской казни Николая Гавриловича Чернышевского. Заметка.

О времени исполнения гражданской казни над Чернышевским было объявлено в газетах за несколько дней. Я с двумя своими товарищами, студентами-технологами, в назначенный день рано утром отправился на Конную площадь. Здесь посредине площади стоял эшафот – четырехугольный помост вышиной аршина 1½-2 от земли, выкрашенный черной краской. На помосте высился черный столб, и на нем, на высоте приблизительно одной сажени, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надета на крюк, вбитый в столб. Две-три сажени отступя от помоста стояли в две или три шеренги солдаты с ружьями, образуя сплошное каре с широким выходом против лицевой стороны эшафота. Затем, отступя еще пятнадцать-двадцать саженей от солдат, стояли конные жандармы, расставленные довольно редко, а в промежутках между ними и несколько позади – городовые. Непосредственно за городовыми расположилась публика ряда в четыре-пять, по преимуществу интеллигентная.

Мы стояли на правой стороне площади, лицом к ступеням эшафота. Рядом с нами стояли писатели Сергей Максимов, автор известных книг «Год на Севере», «Сибирь и Каторга» и другие, Павел Иванович Якушкин, этнограф-народник, и Алексей Никифорович Моригеровский, сотрудник «Русского слова» и «Дела». Всех троих я знал лично.

Утро было хмурое, пасмурное. После довольно долгого ожидания появилась карета, въехавшая внутрь каре к эшафоту. В публике произошло легкое движение: думали, что это Чернышевский, но из кареты вышли и поднялись на эшафот два палача. Прошло еще несколько минут. Показалась другая карета, окруженная конными жандармами с офицером впереди. Карета эта тоже въехала в каре, и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и мундире, в сопровождении, сколько мне помнится, двух лиц в штатском платье. Чиновник встал к нам лицом, а Чернышевский повернулся спиной. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. До нас, впрочем, долетали лишь отдельные слова. Когда чтение окончилось, палач взял Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольца цепи. Так, сложив руки на груди, Чернышевский простоял у столба около четверти часа.

В этот промежуток времени около нас разыгрался следующий эпизод. Павел Иванович Якушкин, по своему обыкновению в красной кумачной рубахе, в плисовых шароварах, заправленных в простые смазные сапоги, в крестьянском армяке с плисовой оторочкой из грубого коричневого сукна и в золотых очках, – вдруг быстро

проскочил мимо городовых и жандармов и направился к эшафоту. Городовые и конный жандарм бросились за ним и остановили его. Он стал горячо объяснять, что Чернышевский – близкий ему человек и что он желает с ним проститься. Жандарм, оставив Якушкина с городовым, поскакал к полицейскому начальству, стоявшему у эшафота. Навстречу ему шел уже жандармский офицер, который, дойдя до Якушкина, стал убеждать его: – «Павел Иванович, Павел Иванович, это невозможно». – Он обещал дать Якушкину свидание с Николаем Гавриловичем после.

На эшафоте в это время палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского поставил на колени, затем взял шпагу, переломил ее над головой Николая Гавриловича и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота.

Через несколько мгновений карета, окруженная жандармами, выехала из каре. Публика бросилась за ней, но карета умчалась. На мгновение она остановилась уже на улице и затем быстро поехала дальше.

Когда карета отъезжала от эшафота, несколько молодых девушек на извозчиках поехали вперед. В тот момент, когда карета нагнала одного из этих извозчиков, в Николая Гавриловича полетел букет цветов. Извозчика тотчас же остановили полицейские агенты, четырех барышень арестовали и отправили в канцелярию генерал-губернатора князя Суворова. Бросившая букет, как тогда передавали, была Михаэлис, родственница жены Николая Васильевича Шелгунова[1]. Рассказ о цветах я слышал от одной из четырех барышень, которая тоже была арестована и препровождена к Суворову[2]. Последний, впрочем, ограничился выговором. Дальнейших последствий эта история, кажется, не имела.

«Русское Богатство» №12, 1909.

[1] Сотрудник журналов «Русское Слово» и «Дело», издававшихся в шестидесятых годах прошлого столетия.

[2] Петербургский венный генерал-губернатор.

Первая ссылка и побег (1868-1869 года)

В 1866-1869 годах Россия переживала страшную реакцию, как последствие покушения Каракозова на Александра II. Царили всюду тишина, мертвечина, нигде не было никаких проявлений не только жизни политической, но даже общественной: ни в среде литературной, ни общественной, ни студенческой. Всякие культурные начинания были закрыты и строго преследовались полицией, которая царила везде и всюду. Среди студенчества не было ни касс взаимопомощи, ни своих библиотек, ни общих кухмистерских. И вот вдруг в декабре 1867 года заволновались студенты Петербургского Технологического института; начались очень шумные и большие сходки. Начальство института сначала растерялось, не ожидая и не допуская даже возможности такого казуса.

Поводом к волнениям и сходкам послужило увольнение одного студента последнего курса; удаление его из института было несправедливо и неправильно. Он был совершенно невиновен. Начальство вначале под влиянием протеста и разъяснений студентов обещало его возвратить и дать ему возможность окончить курс, но вмешалось знаменитое III отделение, и дело приняло другой оборот: студента исключили и вместе с тем с «соизволения государя-императора» исключили и меня, как подстрекателя и зачинщика всей этой истории. Нужно признать, что действительно я написал воззвание к студенчеству по этому делу, я руководил сходками и вел переговоры с начальством, но для всего этого почва была очень благодарна, потому что студенчество почти поголовно было возмущено поведением нашего институтского начальства. Главную роль во всей этой истории играл профессор практической механики Иван Александрович Вышнеградский, известный делец и реакционер, будущий министр финансов, ставленник не менее известного реакционера-публициста Михаила Никифоровича Каткова, издателя-редактора «Московских Ведомостей».

Итак, меня исключили, а дня через два арестовали, а затем выслали административно в Вологодскую губернию. Это случилось в феврале 1868 года и вызвало новые сходки студентов, требовавших моего возвращения. По тогдашнему обычному порядку начальство ответило студентам новыми исключениями из института «вожаков и подстрекателей» и в то же время прекратило чтение лекций под каким-то благовидным предлогом. Опасаясь волнений студентов Университета и Медицинской академии, тамошнее начальство тоже предприняло кое-какие предупредительные меры.

Тем не менее движение не умерло и осенью оно началось снова и охватило несколько высших учебных заведений и послужило началом революционной деятельности Сергея Нечаева.

В ссылке в Вологде я встретил Василия Васильевича Берви, который в литературе был известен под фамилией Флеровского, автора книги «*Положение рабочего класса в России*» и «*Азбука социальных наук*»; Шелгунова, публициста и постоянного сотруд-

ника журналов «Русское Слово» и «Дело», а затем Петра Лаврова, писателя философа, сотрудника «Отечественных Записок» времен Краевского и Дудышкина. Последний, впрочем, в Вологде жил недолго, месяца два-три, и потом был переведен в Кадников в сорока верстах от Вологды. Да и остальные двое тоже недолго жили здесь: Берви перевелся, кажется, в Тверь к осени 1868 года, а Шелгунов весной следующего года уехал в Калугу, так что я остался один в Вологде, которая тогда была небольшим и довольно плохим городом. Найти какие-либо заработки было очень трудно. Берви, уезжая, передал мне урок в семье управляющего казенной палатой, но через месяц жандармское начальство потребовало от управляющего прекращения моих занятий под угрозой ответственности. Конечно, урок прекратился. С отъездом Шелгунова мои занятия у него тоже прекратились. Тогда я стал заниматься переплетным делом, потом обойным, но и при этом работа не была постоянной, а больше случайная.

В те времена ссылка была бессрочной; я знал людей, живших в ссылке чуть ли не по десять лет, а конца ей не предвиделось. О жизни в ссылке я писал в другом месте и более подробно[1], так что здесь ограничусь вышесказанным, а теперь перейду к воспоминанию о побеге.

Мысль о побеге явилась у меня в конце первого года ссылки. В то время ссыльных вообще было очень мало: в Вологодской губернии только в двух городах были ссыльные – в Вологде и Тотьме, всего человек семь; в Архангельской губернии тоже не больше. О побегах из ссылки было совсем не слыхать. В эмиграции тогда было тоже очень мало, не больше 12-15 человек, при чем почти все они уехали из России легально, а затем перешли в эмиграцию. Для меня встали два вопроса: денежный вопрос и вопрос о том, как бежать, куда и где перебраться через границу. Ведь тогда не было решительно никаких организаций, которые помогли бы в этом деле.

В феврале или марте 1869 года из Питера приехал в Вологду один мой товарищ по институту и привез мне около двухсот рублей, которые были собраны в городе вскоре после моей высылки. Он мне рассказал, что он с другим товарищем собирается ехать в Америку, так как там легче найти всякую работу. Нужно заметить, что о Европе вообще, а об Америке в особенности знали мы очень и очень мало. Тогда ведь книг-то по этому предмету совсем не было. О политической жизни Европы мы кое-что узнавали из газет и журналов; об Америке знали, что там шла война за освобождение негров. Обо всех остальных сторонах жизни ничего не знали. Об Америке только-что вышла книга Диксона «*Новая Америка*», которая в особенности привлекла наше внимание; зачитывались также статьей «Новые времена» о сектах в Америке, помещенной в «Современнике».

Они собирались ехать в начале лета и потому предложили мне к этому времени выбраться из Вологды и проехать в Грац, в Южной Австрии. Грац – столица Штирии. Там я должен был разыскать молодого русского ученого (физиолога) Голубева, занимавшегося при местном университете. Голубев был приятелем товарищей, а я его очень мало знал. От него я должен был узнать, как, каким путем ехать в Америку, в Нью-Йорк, и как там их разыскать.

Итак, первый вопрос, вопрос денежный, по-видимому разрешился, хотя никто из нас не знал, сколько будет стоить дорога от Вологды до Нью-Йорка. Оставалось

[1] Смотреть ниже «Воспоминания о Петре Лавровиче Лаврове».

решить второй вопрос: как ехать. Об этом я старался кое-что узнать у Шелгунова, который очень быстро сообразил, что я подумываю о побеге. О жизни в Европе он дал сведения неблагоприятные, а об Америке почти ничего точного и определенного сказать не мог, но все-таки высказывался за то, что лучше всего пробраться туда. Я думал о том, чтобы там не только хорошо устроиться материально, но также и поучиться. Но как, каким путем добраться не только до Америки, но даже до Европы, я все-таки не знал и не мог найти нужных мне по этому предмету сведений. Товарищи мои тоже не могли ни указать, где можно найти такие сведения, ни сообщить о них что-либо. В конце концов случай помог мне сориентироваться в этом положении.

С начала 1869 года в Петербурге начал издаваться славянофильский журнал-ежемесячник «Заря» под редакцией Кашпирева. Если мне не изменяет память, то в третьей или четвертой книжке его были напечатаны две статьи Кельсиева: одна под заглавием «Как я трусу праздновал», а другая «О побеге офицера». Кельсиев в начале шестидесятых годов уехал легально за границу, где скоро перешел в эмиграцию, стал при «Колоколе» Александра Герцена издавать листок «Общее Вече», сборники о расколе и прочем, а затем, разочаровавшись в своей деятельности, явился на русскую границу и сдался правительству. На границе его, конечно, тотчас же арестовали, отправили в Петербург и посадили там в Петропавловскую крепость. Здесь он написал свое откровенное полное раскаяние, вследствие которого Александр II его помиловал, дозволил ему жить в Петербурге и принимать участие в журналистике. Он тотчас же пристроился в реакционном лагере и там работал до конца своей жизни. Во время своей жизни за границей в эмиграции он однажды приезжал в Россию с чужим заграничным паспортом; при этом этот паспорт оказался действительным только для въезда в Россию, но для обратного путешествия из России за границу им воспользоваться было нельзя, а достать другой паспорт оказалось тоже невозможно, и вот Кельсиеву пришлось перебираться без паспорта через границу. В статье «Как я трусу праздновал» он и рассказывает, как он при помощи контрабандистов-евреев перешел границу. Во второй статье он писал о побеге какого-то офицера за границу через Финляндию (не Бейдеман ли это был?). Офицер этот шел пешком берегом Ботнического залива от Або до Торнео, питался одними ягодами – время года было лето и ранняя осень. Путешествие его было очень тяжелое, очень трудное.

Из этих двух путей побега я выбрал, конечно, первый и к нему стал готовиться. Прежде всего надо было приучить хозяйку дома, небогатую старуху-мещанку, к более или менее продолжительным моим отлучкам – два-три дня – из дому под предлогом ухода на рыбную ловлю версты за четыре от города, якобы к знакомым рыболовам. С этой рыбной ловлей я обязательно приносил хозяйке свежей рыбы, которую приходилось покупать на рынке. С жандармами помог случай устроиться так, что ежедневное их посещение или меня или только хозяйки сократилось до двух, а потом и до одного раза в неделю. Жандармский полковник получил донос о расхищении громадных лесов, находящихся в уезде города Тотьмы. Так как в Вологде материалов для его доносительской деятельности оставалось очень мало, а в Тотьме предвиделось большое поле деятельности, то он, забравши с собой всех более энергичных и деятельных жандармов, отправился туда, а в Вологде оставил своего адъютанта с двумя-тремя жандармами, у которых времени было мало для того, чтобы ежедневно ходить и справляться обо мне.

В то время железная дорога была только от Москвы до Сергиевского посада, а отсюда до Вологды можно было ездить только на почтовых лошадях, для чего обязательно надо было иметь так-называемую «подорожную», то есть разрешение от власти ехать на почтовых лошадях, конечно, за известную плату. Конечно, получить «подорожную» мне было решительно невозможно, и поэтому я стал выжидать случая, чтобы выехать из Вологды с надежным лицом, имеющим ее. Такой случай представился мне только летом, в самом конце июня. Во время переезда до Москвы никаких особенно интересных инцидентов не случилось; только раза два пришлось идти пешком, так как лошадей на станциях не было, надо было ожидать их по нескольку часов.

Приехав в Москву, я прямо отправился на Курский вокзал, рассчитывая взять билет до Киева, где надеялся получить какие-либо сведения для дальнейшего путешествия. Придя на вокзал, я встал в очередь к кассе третьего класса. Очередь была большая. Вдруг подошел ко мне жандарм и к удивлению моему назвал меня по имени и спросил, как я попал сюда и куда я еду, прибавив, что он года полтора тому назад сопровождал меня в ссылку в Вологду. Я ответил ему, что еду в Харьков, так как мне разрешили доучиться в Харьковском университете. Жандарм этому поверил, сказав, что «вот ведь обычно в ссылку отправляют или без срока или на очень большой срок, а вот вам посчастливилось. Ну и слава богу». Он оказался дежурным у кассы, поэтому предложил мне взять мне билет и не стоять в очереди. Получив от меня деньги, он быстро взял билет до Харькова, отвел меня к выходным дверям на перрон, где порекомендовал швейцару, а сам ушел, предупредив, что он посадит меня в вагон. Как только поезд подошел, швейцар меня выпустил, и я тотчас же занял место в вагоне в уголку за дверью. Жандарм меня больше не видал, а я его видел два раза пробегавшего вдоль поезда и заглядывавшего в окна вагона. Конечно, он хотел только проститься со мной, так я думаю.

Подобный же случай произошел в Курске на станции, в ожидании поезда на Киев. Там я встретился с товарищем по институту, который подозревался в сношениях с властями. От него я тоже скрылся. В Киеве разыскал старых знакомых по Питеру, но ничего от них не узнал и поэтому решился ехать в Одессу, куда достал от них адрес знакомого им студента. В Одессе попытки попасть на иностранный пароход не удались. Здесь я впервые столкнулся с евреями-факторами[2], которые советовали ехать в Кишинев, а оттуда в Унгены на румынскую границу. Они же дали мне адрес одного «заезжего дома» в Кишиневе. Из Кишинева пришлось ехать в еврейском фургоне, полном евреями-пассажирами, до Новоселиц на австрийской границе. Здесь я перебрался через границу и приехал в Черновцы, откуда по железной дороге через Вену добрался до Граца, а отсюда направился в Гамбург.

Из Гамбурга перед отправлением в Англию я послал письмо в Вологду на имя губернатора, в котором просил его передать жандармскому полковнику, что я жив, здоров, сажусь на пароход, который идет в Англию. Губернатор был в «контрах» с жандармом, который был ответственен за мой побег, так как он обязан был наблюдать за политическими ссыльными.

[2] Торговыми посредниками. (прим. 2026)

О том, что произошло в Вологде после моего побега и в связи с ним, я узнал впервые только через год от Петра Лаврова, с которым увиделся в 1870-м году в Париже. Хозяйка моей квартиры скрывала мое отсутствие целую неделю, но после этого призналась своему знакомому частному приставу, что я «ушел на рыбную ловлю и не возвратился до сих пор». Конечно, пристав сообщил губернатору и жандармам. Телеграммой вызвали полковника, который скоро убедился в том, что я утонул, потому что при обследовании берегов реки под городом кто-то из жандармов нашел какую-то старую изношенную фуражку, которую те же жандармы признали за мою. Полковник тотчас же распорядился искать сетями мой труп и в то же время донес в III отделение о том, что я утонул и что в ближайшее время им непременно будет найден мой труп. Время шло, труп найти не могли, но вместо него вдруг пришло мое письмо из Гамбурга. В городе, конечно, всё и все знали; тотчас же узнали и о письме.

Написано и опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

II. Лавров

Воспоминания о Петре Лавровиче Лаврове.

О Лаврове я впервые услыхал еще в 60-х годах. Я был тогда студентом Петербургского Технологического института. В то время было очень сильно влияние Чернышевского. В Петербурге в середине 60-х годов среди офицеров, по преимуществу артиллеристов, образовался кружок «чернышевцев», куда входил и я. Из членов этого кружка я сейчас припоминаю офицеров-артиллеристов: Богданова, братьев Черновых, Альтфатера, Юдина, полковника Колесова и офицера генерального штаба Гейнса. Впоследствии один из Черновых погиб геройской смертью во время турецкой войны на судне «Веста». Юдин, другой брат Чернова и Альтфатер живы и по сию пору и дослужились уже до генеральских чинов, а последний из них состоит даже членом Государственного Совета. Что касается Гейнса, то он впоследствии уехал в Америку, где под именем Вильяма Фрея занялся религиозными исканиями и созданием так называемой «позитивной религии человечества».

Среди названных офицеров довольно часто упоминалось имя Лаврова. Все отзывались о нем с большим уважением и считали его очень знающим и ученым профессором артиллерийской академии. Слыл Лавров в то время за левого «либерала» и был в академии, по отзывам членов кружка, одним из самых симпатичных и прогрессивных профессоров. Он был в довольно дружеских отношениях с начальником академии профессором Гадалиным[1], который также считал себя прогрессистом. Из других профессоров Лавров в довольно близких отношениях состоял с Энгельгартом, заведывающим пушечным отделением.

Офицеры, с которыми я встречался, выражали сожаление, что такой способный человек, как Лавров, не примыкает к Чернышевскому и числится в рядах «либералов», имея дело с Краевским и Дудышкиным. Арест Лаврова в 1866 году вызвал среди офицеров полное удивление, а затем и возмущение... Все недоумевали, за что могли арестовать Лаврова, известного только своими либеральными взглядами. О стихотворениях Лаврова и о знакомстве его с Чернышевским в широких кругах ничего не знали. Почти все офицеры резко осуждали действия правительства, арестовавшего Лаврова. Что касается студенчества, то среди него арест Лаврова не произвел никакого впечатления. Он был тогда очень мало известен в рядах молодежи. Знали только, что это ученый «философ», а так как в то время к философии относились с усмешкой, как к праздному занятию, то и арест Лаврова прошел почти незамеченным. Об аресте Лаврова говорили только, как о факте, иллюстрировавшем бесцеремонную политику тогдашнего правительства, которое «начало преследовать даже либералов».

В январе 1868 года я был арестован в Петербурге, а в феврале отправлен в ссылку без срока в Вологодскую губернию. Еще до своей ссылки я в конце 1864 года или

[1] О Гадалине смотреть «Фон-Бооль В. Г. Воспоминания педагога. «Рус. Стар.», 1904, №9.

начале 1865 года судился за нелегальное издание Бюхнера «Сила и материя». Судил меня еще старый суд, и я отделался легким наказанием. В 1866 году меня разыскивали в связи с делом Каракозова, так как я был знаком с Худяковым, одним из участников этого дела. В 1867 году в Технологическом институте начались крупные беспорядки вследствие исключения одного из студентов. Я организовывал сходки, выступал на них, писал рукописные прокламации и расклеивал их в институте, принимал участие в разных организациях и тому подобное. Результатом всего этого и явилась моя ссылка в Вологодскую губернию.

Всю свою ссылку я провел в Вологде. В то время, то есть в 1868 году, в названном городе было всего трое ссыльных: Николай Васильевич Шелгунов, Василий Васильевич Берви (Флеровский) и, наконец, третьим ссыльным был я. Шелгунов до Вологды в 1864 году был сначала в Великом Устюге. Здесь вместе с ним находился еще Автократов, близкий товарищ Помяловского и переводчик Гоббса. Пребывание Шелгунова в Устюге закончилось скандалом, так как он дал исправнику пощечину. За это его сослали в захолустный городок Никольск и лишь в 1867 году разрешили переехать в Вологду.

Администрация в то время в Вологодской губернии была довольно сносная. Губернатором был Станислав Фадеевич Хоминский[2]. До этого он занимал какой-то видный пост в Польше, но затем попал на подозрение и был, в виде наказания, назначен губернатором в Вологду, при чем на целых 5 лет его лишили права являться ко двору. К ссыльным он относился в общем хорошо. Он сам перечитывал большую часть статей, которые отправлял в журнал «Дело» Шелгунов, а также статьи, пересылаемые Лавровым. Однажды даже, встретившись с Шелгуновым в частном доме, он затеял с ним подробный разговор о его статьях.

Правителем канцелярии губернатора состоял тогда Тишин. Это был тоже либеральный человек, который относился к ссыльным вполне прилично. Но самой интересной фигурой из вологодской администрации был Николай Васильевич Кедровский, занимавший пост помощника правителя канцелярии и заведующий столом ссыльно-политических. Это был самый ярый последователь Чернышевского. Надо заметить, что влияние Чернышевского вообще было в те времена очень сильно. Отразилось оно, конечно, и на Вологде. Кедровский незадолго до своей службы был воспитанником вологодской духовной семинарии. Здесь он совместно с семинаристами Одинцовым, Соловьевым и Добросисцевым основал кружок «чернышевцев», который пользовался большим влиянием среди вологодской молодежи. Даже некоторые лица из вологодского духовенства увлекались тогда Чернышевским. Один иеромонах, принадлежавший к администрации вологодской семинарии, наряду с Чернышевским увлекался страшно Людвигом Фейербахом. Родственники этого монаха, состоявшие также учениками семинарии, предоставили своим товарищам полную возможность пользоваться как его библиотекой, так в частности и Фейербахом. Последний пришелся семинаристам особенно по вкусу, и они, «ничтоже сумняшеся», похитили его у монаха для своих нужд. В результате, с этим Фейербахом в Вологде приключилась довольно комичная история.

[2] О Хоминском смотреть Л. Пантелеев «Из воспоминаний прошлого», Спб., 1905 г., и П. Засодимский «Страничка из литературных воспоминаний», «Ист. Вест.», 1904 г., №5.

Надо сказать, что вологодские семинаристы, по окончании занятий, в те времена отправлялись домой довольно оригинальным образом. Они приобрели большой карбас, плыли вниз по реке Вологде и постепенно высаживались и отправлялись в родные палестины. О Фейербахе узнали вологодские жандармы и донесли губернатору. Вологодский губернатор отдал приказ обыскать уехавших семинаристов и отобрать у них злосчастного Фейербаха. Где-то около Тотьмы семинаристы были задержаны становым приставом и подвергнуты строгому опросу, при чем названный пристав донес начальству, что среди опрошенных им семинаристов никакого «Фейербаха не оказалось». Становой пристав слишком прямо понял свое назначение и искал не сочинения Фейербаха, а живое лицо.

Не только семинаристы, но и вологодские гимназисты были также подвержены влиянию Чернышевского. В бытность мою в Вологде среди гимназистов был кружок «чернышевцев». Из них особенно выделялись гимназисты: Лермонтов, Кудрявцев и Левашев. Наиболее развитым был Лермонтов. Впоследствии я его вызвал за границу, и он был сторонником Бакунина. Он участвовал в кружке «чайковцев», был судим по знаменитому процессу 193-х и после суда умер. Левашев, насколько помню, был из среды вологодских помещиков. Он также впоследствии поддерживал связи с «чайковцами» и во время побега Петра Кропоткина был кучером той лошади, которая увезла беглеца. Все они во время моей ссылки довольно часто встречались со мной, видя во мне старшего товарища, могущего помочь им в деле развития.

Названный Кедровский был самым преданным другом ссыльных. Он оказывал им целый ряд услуг, сообщал о всех бумагах и распоряжениях, какие получались в канцелярии губернатора относительно ссыльных. Как только я прибыл в ссылку, Кедровский явился ко мне, познакомился со мной и очень много содействовал моему оставлению в Вологде. Он же познакомил меня с Шелгуновым и Берви. Необходимо заметить, что Кедровский был желанным и частым гостем ссыльных, и я за всё время своей ссылки чуть ли не каждый вечер проводил у него.

Шелгунов сначала вел в Вологде довольно широкую жизнь. С ним жила и его жена, Людмила Петровна. Это была светская женщина, и в скором времени Шелгуновы приобрели большие знакомства в Вологде. У них бывало много чиновников, помещиков и вообще местных жителей. Первое время Шелгунов жил в районе бульвара, недалеко от Большой Дворянской улицы. После отъезда жены, Шелгунов снял небольшую квартиру на Архангельской улице. Здесь, на этой же улице, недалеко от него жил и Берви.

В ссылке мое материальное положение было крайне плохо. В силу этого мне из студента пришлось сделаться сначала обойщиком, а затем переплетчиком. Шелгунов, видя мое положение, предложил мне быть у него секретарем. Я делал вырезки из газет для его статей, подбирал ему материал, переписывал его статьи и так далее.

Осенью 1868 года Берви получил разрешение переехать в Тверь и покинул Вологду, где остались только я и Шелгунов. Вскоре после этого к нам явился Кедровский и сообщил, что в Вологду из Тотьмы едет Лавров. Кроме того он передал Шелгунову письмо от Лаврова, в котором последний просил подыскать ему квартиру… Шелгунов горячо взялся за это дело, и мы вместе с ним сняли для Лаврова квартиру в 5 комнат на Архангельской улице, наискось от Шелгунова.

До приезда в Вологду Лавров в 1867 году находился в городе Тотьме, где вместе с ним разделяли изгнание в числе других Линёв, Гернет и Чаплицкая. Последняя была выслана за польское восстание. Ей грозило серьезное наказание, но, благодаря своим связям, она отделалась только ссылкой. Лавров очень близко сошелся с Чаплицкой, горячо полюбил ее и жил с ней гражданским браком за всё время своей ссылки в Тотьме. В Тотьме Лавров был центром тамошней ссылки. На его квартире очень часто собиралась вся ссылка, приходили кроме того учителя и некоторые из местных жителей. Когда Лавров получил разрешение жить в Вологде, его провожала за город довольно шумная и большая компания из ссыльных и местных знакомых. На радостях вся компания подвыпила, и отъезжающего Лаврова проводили различными приветствиями со всяческими хорошими пожеланиями. Как увидим ниже, эти проводы обошлись Лаврову довольно дорого.

Лавров приехал в Вологду со своей матерью и поселился на найденной ему квартире. Вскоре по приезде он заявил Шелгунову и мне, что намерен приобрести знакомства с местным населением, хочет вести широкую жизнь и устраивать у себя литературные вечера, приглашая на них местную интеллигенцию.

Поэтому он считал необходимым сделать визиты кое-кому из членов вологодской администрации, а также некоторым помещикам. Шелгунов и я сделали попытку отговорить Лаврова от этих визитов, но он с нами не согласился и даже несколько нахмурился на наши советы. Впрочем, надо сказать, что эта история с визитами ничуть не удивила меня и Кедровского. Мы считали Лаврова попросту «либералом» и потому не видели в этом ничего предосудительного. Да и вообще надо сказать, что наша компания, состоявшая из меня, Кедровского, Одинцова и Соловьева (оба последних служили в Вологде в местном земстве) резко противопоставляла себя Шелгунову и Берви. Мы их считали представителями устаревшего поколения. На этой почве иной раз на квартире Берви происходили страстные споры. Берви выступал с яростной критикой Чернышевского, которого, между прочим, знал очень плохо. Так, на одном из вечеров обнаружилось, что он не читал совсем статей Чернышевского об общине. Один раз он заявил, что «Чернышевский в подметки не годится… Кельсиеву, который-де головой выше всех в России».

Во время наших споров Берви особенно беспощадной критике подвергал роман «Что делать». Одну из главных героинь этого романа, Веру Павловну, Берви называл столь нелестными именами, что их нельзя даже повторить. Я, конечно, со свойственной юности запальчивостью принимал его вызов и, считая себя нигилистом и в то же время «чернышевцем», закатывал такие речи с такими резкостями, что все дамы, бывавшие у Берви в гостях, и некоторые из местных жителей только «охали и ахали» от удивления. Скоро слава о моих спорах распространилась в Вологде, и мной заинтересовался правитель канцелярии губернатора Тишин. Он неоднократно заезжал к Лаврову и пытался меня там вызвать на разговоры, но я упорно отмалчивался. Однажды как-то после вечера у Лаврова Тишин настойчиво посадил меня к себе в сани и начал упорно меня расспрашивать. Делал он это, конечно, ради простого любопытства, так как вообще интересовался ссыльными, но я, чтобы избавить себя от этой «пытки», выскочил на полном ходу из саней и сбежал от удивленного Тишина. Впоследствии Тишин жаловался на меня Кедровскому, считая меня «невоспитанным человеком», каким-то «дикарем».

Что касается отношений к Лаврову, то мы его считали «барином-либералом». В этом отношении Шелгунов был для нас более демократичным и близким человеком, хотя и его мы считали не «своим»… Впрочем, все это не мешало Кедровскому глубоко уважать Лаврова, как умного и ученого человека, и по-своему ценить его.

История с визитами окончилась для Лаврова очень неудачно и комично. Никто из местных жителей не отдал ему визита. Это страшно смутило Лаврова, и он постарался в один из вечеров объяснить мне и Кедровскому мотивы своего поступка. Как оказывается, Лавров считал себя невинно пострадавшим, жертвой Муравьева. Ему хотелось связаться с местным обществом и показать фактически своей жизнью в Вологде администрации, что он вовсе не опасный человек, которого надо было держать в ссылке. Лавров был тогда еще уверен, что русское правительство поймет свою ошибку и «вернет его в Петербург», так как он собственно ученый человек обыкновенных либеральных взглядов, которого довольно странно карать ссылкой. Характерно, что на предложение мое и Кедровского напомнить о себе прошением, хотя бы о переводе в другое место или о прекращении ссылки, Лавров ответил самым резким отказом. Между тем подача таких прошений отнюдь не считалась тогда предосудительной и практиковалась очень многими ссыльными, и мы с Кедровским были удивлены отказом Лаврова. По его мнению, во всем виновато само правительство. Раз так, то оно и должно само о нем вспомнить и загладить перед ним свою ошибку. Сам же он никаких прошений писать не желает.

Раз в неделю, чуть ли не по четвергам, Лавров устраивал у себя вечера, на которых почти никто из местных жителей не бывал. Иногда только приезжал Тишин. Зато я, Кедровский, Шелгунов никогда не пропускали этих вечеров. Обыкновенно собирались в столовой Лаврова. Мать его усаживалась за самоваром и играла роль радушной хозяйки. В эти вечера Лавров был очень разговорчив. Как-то он подсел ко мне и начал расспрашивать, чем я интересуюсь и что читаю. Я, между прочим, указал ему на «*Исторические письма*», первые главы которых, напечатанные в журнале «Неделя», мне очень понравились. «Ну, – возразил с гримасой Лавров, – нашли на что указывать. Ведь это не серьезная работа, а фельетоны, которые я пишу во время отдыха. По-моему, они не имеют никакого значения, чтобы на них останавливаться или обращать внимание». Характерно еще здесь заметить, что даже при первой моей встрече с Лавровым в Париже в 1870 году, на выраженную мою радость по поводу отдельного издания им «*Исторических писем*» при посредстве Черкесова, Лавров с недовольным выражением лица ответил: «Знаете, это не совсем хорошо. «*Исторические письма*» могут подорвать мою репутацию, как ученого».

Однажды Лавров, желая дать мне заработок, предложил переписать его статью по поводу книги о логических исследованиях Адольфа Тренделенбурга, которая появилась, кажется, в «Отечественных Записках». Боже мой! Какой ужас и какая мука была для меня эта работа. Почерк у Лаврова вообще был мало разборчивый. Помимо этого, к каждому листу была приклеена масса вставок, а к этим вставкам еще вставки и бесконечные переделки. Процесс работы у Лаврова был особый. Он, по его словам, напишет что-либо и отложит в сторону и займется другой работой. Затем, когда пройдет несколько недель и написанное забудется, он снова перечитывает статью и делает добавления и затем опять откладывает в сторону. Эта процедура повторялась еще несколько раз, и только после всего этого он отдавал статью в переписку. По

признанию Лаврова, он всегда так поступал с серьезными статьями и крайне редко писал что-либо сразу набело, не делая впоследствии добавлений и изменений.

В октябре 1868 года ко мне однажды прибежал взволнованный Кедровский и рассказал, что в канцелярии губернатора имеется распоряжение о высылке Лаврова из Вологды в Кадников. Оказалось, что из проводов Лаврова из Тотьмы начальник вологодского жандармского управления полковник Мерклин создал целое дело. Он написал в Петербург донос о выражении сочувствия государственному преступнику Лаврову со стороны местного населения и ссыльных, о преступных речах, которые, якобы, при этом произносились, чего в действительности не было. В общем, из доноса Мерклин делал вывод, что Лавров – опасный человек для Вологды, так как может воздействовать вредно на местное население. Здесь надо вообще сказать, что Мерклин страшно придирался к ссыльным и все время заботился, чтобы очистить от них Вологду или довести число их там до минимума. В ответ на донесение Мерклина из Петербурга от III отделения пришло на имя вологодского губернатора распоряжение: «Согласно представлению начальника вологодского жандармского управления выслать Лаврова в город Кадников». Всё это сообщил мне Кедровский, к которому поступила эта бумага. Этим доносом Мерклина, по всей вероятности, и было вызвано то обстоятельство, что вместе с Лавровым в Кадников было отправлено для наблюдения специально за ним два жандарма. А, быть может, это был личный «каприз» самого Мерклина. В Кадникове Лавров был единственным ссыльным.

После двухмесячного пребывания в Вологде Лавров отправился в октябре с матерью в Кадников. Мы с Кедровским и Шелгуновым пособили ему ликвидировать его дела, упаковать вещи и распрощались с ним. Вскоре после отъезда Лаврова в Вологду приехала из Тотьмы Чаплицкая. Ей удалось добиться перевода из Вологодской губернии в один из городов Царства Польского. В Вологде она начала хлопоты перед вологодским губернатором Хоминским о выдаче ей проходного свидетельства для свободного проезда в назначенный ей город. Ей было необходимо избавиться от всякого конвоя, ибо она решила бежать за границу в Париж, что было, между прочим, прекрасно известно Кедровскому. Получить свидетельство было крайне трудно, и хлопоты Чаплицкой затянулись. В силу этого ей пришлось прожить в Вологде несколько месяцев. В конце концов ей все-таки удалось какими-то путями убедить Хоминского, и он ей выдал просимое свидетельство. По всей вероятности здесь сказались польские симпатии самого Хоминского.

Однажды вечером я по обыкновению отправился в гости к Кедровскому, который жил на Архангельской улице в последнем доме на окраине города. Дом этот принадлежал священнику, который сам жил в нижнем этаже. Войдя во двор, я увидел сани и лошадей, от которых валил сильный пар. «Вероятно, приехали к попу за требами», решил я и направился в квартиру Кедровского. Но едва я вошел в сени, как натолкнулся на какую-то громадную фигуру, закутанную в шубу, которая беспомощно ощупывала двери, ища звонок. Я открыл незнакомцу дверь и заявил Кедровскому, что к нему приехал какой-то господин. «Да, да, ответил Кедровский, я знаю. Это, действительно ко мне». Каково же было мое удивление, когда под шубой оказался Петр Лаврович. В довершение всего у Кедровского оказалась Чаплицкая, поджидавшая Лаврова. Оказывается, что Лавров приехал к ней тайком из Кадникова

на свидание. Кедровский же в данном случае предоставлял им свою квартиру и, по-видимому, через него и организовывались эти встречи.

В Кадникове в то время был знаменитый ямщик, которого, кажется, звали Кузьмой. Он неоднократно привозил тайком из Кадникова в Вологду чиновников, желавших здесь покутить. Приезжать в те времена без разрешения чиновники не могли, и их-то и выручал Кузьма. Он выезжал обыкновенно из Кадникова вечером, когда стемнеет. Пока чиновники кутили, его лошади отдыхали. Затем он обратно из Вологды выезжал с таким расчетом, чтобы попасть в Кадников с рассветом, когда весь город спит. Услугами Кузьмы и воспользовался Лавров, чтобы самовольно приехать в Вологду. И необходимо добавить, что за время пребывания Чаплицкой в Вологде Лавров раза четыре приезжал из Кадникова к Кедровскому в гости.

Впоследствии Чаплицкая действительно бежала за границу, в Париж. При моем свидании с Лавровым в 1870 году я встретил у него Чаплицкую, хотя надо добавить – они жили на разных квартирах. Чаплицкая в Париже выделывала замечательные искусственные цветы, которые даже отправлялись для продажи в Англию. На этом деле она имела довольно солидный заработок. В 71 или 72 году Чаплицкая сильно заболела и умерла в Брюсселе. Лавров еще во время болезни был вызван туда телеграммой. Уезжая из Парижа, он для чего-то захватил с собой рукопись первого тома «*Опыта истории мысли*», над которым он работал в течение трехлетней ссылки и затем за границей. Том этот был почти готов к печати. Смерть близкого и любимого человека, каковой была для Лаврова Чаплицкая, страшно его потрясла. Ему, как он тогда рассказывал, была противна и вся жизнь, и вся его научная работа и деятельность. В результате Лавров во время поездки в Брюссель потерял где-то свой труд. Это, в свою очередь, причинило ему страшное горе. Он делал публикации о потере, обещал нашедшему премию, но рукопись так и не нашлась. Восстановить же ее, по словам Лаврова, было почти невозможно, так как это был результат многолетней работы. Только в 1874 году Лаврову удалось кое-как написать лишь первый выпуск утерянного тома. Кто знает, если бы Лавров не утерял рукописи, ему, может, и удалось бы окончить свой грандиозный труд, известный под заглавием «*Опыт истории мысли нового времени*».

В 1869 году в Вологде из ссыльных остался я один. Шелгунов перевелся весной этого года в Калугу. Я решил бежать за границу. Обстоятельства мне благоприятствовали. Дело в том, что Мерклин страдал манией доносов. Выдворив из Вологды Лаврова, он занялся местными чиновниками. В Петербург посыпались от него бесконечные донесения о том, что одни чиновники непочтительно относятся к начальству, другие курят в присутствии и тому подобное. В результате многие из чиновников были уволены со службы и вообще пострадали. Покончив с чиновниками, неугомонный Мерклин со всеми своими помощниками помчался в Тотьму, где в это время среди лесничих было обнаружено хищничество в деле продажи казенного леса. Мерклин спешил и на этом деле выдвинуться путем доносов. Между тем я вполне резонно решил воспользоваться отсутствием в Вологде как самого Мерклина, так и жандармов вообще, так как почти все они уехали в Тотьму. Побег мой удался легко, и я отправился в Америку. Бежал я в июне месяце 1869 года.

Между прочим, при посещении мной Лаврова в 1870 году в Париже Петр Лаврович с Чаплицкой начали, шутя, упрекать меня, что я своим побегом подложил им

«свинью». «Как так?» – вырвалось у меня. «Очень просто, – разъяснил Лавров, – я также собирался в это время бежать, и у меня было всё к этому приготовлено. Вы же своим побегом вытянули Мерклина из Тотьмы. Вернувшись в Вологду, он прежде всего окружил меня своим благосклонным вниманием. Во-первых, Кадников ближе всего к Вологде, а во-вторых, Мерклин вообще, как вам известно, имел со мной счеты, донося обо мне в Петербург всякие небылицы. В силу этого мне пришлось отказаться от побега, который затянулся на целый год». «Как же вам все-таки удалось бежать?» – спросил я Лаврова. – «Да все тот же Кузьма и вывез», – ответил Петр Лаврович.

В заключение я должен добавить, что за границей неоднократно называли в качестве участника бегства Лаврова артиллерийского офицера Лобова. Это был ученик Лаврова по артиллерийской академии, до мозга костей преданный своему учителю. В чем выразилось его участие и какую роль он играл в этом деле, мне совершенно неизвестно.

В Америке я пробыл недолго, и в мае 1870 года меня вызвал в Женеву Сергей Нечаев. Сойтись с ним надолго для совместной работы я не мог. Меня оттолкнули от него и способы, к которым он прибегал в своей деятельности, и характер его работы, в которой было больше бутафории, нежели действительности.

Гораздо больший след на всю мою жизнь наложило знакомство с Бакуниным, с которым я встретился по приезде в Женеву. Здесь я увидел не бутафорию, а действительные организации, которые были у Бакунина среди различных наций. Встреча с ним была для меня решающей в смысле окончательного определения моих взглядов, так как я стал самым ревностным последователем его мировоззрения. Между прочим, при встречах с Бакуниным у меня родилась идея издать за границей нелегальный журнал, которому предполагалось придать серьезный характер. Предполагалось при посредстве этого журнала связаться с русским обществом и интеллигенцией. Так как у Лаврова могли быть связи с русскими литераторами и вообще прогрессивными деятелями, то было решено и его пригласить для сотрудничества.

Бакунин горячо отозвался на мою идею и решил, что Лаврову надо отдать отдел философии. «Пускай он воюет с самим господом богом, – смеясь говорил Бакунин, – с этой задачей он прекрасно справится, а в другие отделы мы его не пустим». Бакунин написал Лаврову письмо, и я повез его к Лаврову в Париж, куда и приехал в самый канун франко-прусской войны.

Лавров в это время познакомился с членом Интернационала Варленом. Насколько я помню, он тогда предложил французским социалистам написать для рабочих целый ряд научно-популярных брошюр по естествознанию. В принципе это предложение было принято, но почему оно не осуществилось практически, мне неизвестно.

Ознакомившись с письмом Бакунина, Лавров категорически отказался принять участие в предполагаемом журнале. «Принять участие я ни в каком случае не могу, – говорит Петр Лаврович, – Во-первых, я не сжег окончательно всех кораблей, и у меня есть надежда вернуться в Россию. Русское правительство рано или поздно убедится в моей невиновности и вернет меня на родину. Во-вторых, мои взгляды совершенно расходятся с Бакуниным. За ним уже установилась вполне определенная репутация, и сотрудничество с ним может вызвать подозрение, что и я разделяю его взгляды. Впрочем, – закончил Лавров, – я обо всем подробно напишу самому Михаилу Александровичу». Надо заметить, что идея журнала не осуществилась практически.

Начавшаяся вскоре франко-прусская война отвлекла Бакунина, и он забыл об этом предложении.

Из Парижа я уехал в Англию, в Ливерпуль, где надеялся, как техник, найти заработок на фабриках. Здесь я пробыл недолго и в конце лета 70 года переехал в Цюрих, где мне пришлось явиться первым организатором, если не основателем, русской колонии. Русских в то время было в Цюрихе мало – несколько мужчин и женщин. Все поголовно были погружены в науку, главным образом в медицину. Никаких организаций не было, «нечаевщина» тогда так запугала молодежь, что все как-то отошли от кружков и организаций. Я сделал попытку созвать несколько общих собраний, на которых внес предложение об организации библиотеки. Предложение было принято. Мы, сколько нас тогда было, соединили воедино имеющиеся книги и деятельно принялись за ее организацию. Благодаря имевшимся у меня связям с Интернационалом, удалось организовать получение бельгийских и французских социалистических газет, прокламаций и брошюр. Словом, каждый из нас старался использовать имеющиеся у него связи. К концу 1870 года прибыло много новых русских, и колония наша расширилась.

Между тем франко-прусская война окончилась, и началась коммуна. События захватили меня, и я решил ехать в Париж, чтобы принять участие во всем происходившем. В Женеве ко мне присоединились с то же целью Ланкевич и французский революционер Парратон. Последнего недалеко от Парижа арестовали и расстреляли в городе Тоннере, как участника Лионской коммуны.

В Париже, куда я прибыл в марте или апреле 71 года, я прежде всего посетил Лаврова. Он собирался уезжать. Как Петр Лаврович, так и Чаплицкая заявили, что они уже достаточно натерпелись всяких лишений во время осады Парижа и последующих событий и больше здесь оставаться не желают. «Помощи оказать коммунарам я вообще не могу, – говорил Лавров, – так как я человек науки. Гораздо больше я могу сделать пером для них в Лондоне». На мой вопрос, как он относится к коммуне, Лавров ответил: «Что-ж, это крайне интересно. Впервые пролетариату представляется возможность самостоятельно проявить организационное творчество в самых широких рамках общественности. Это очень важный опыт, и посмотрим, сможет ли он справиться с выпавшей на его долю задачей». Вообще надо заметить, что Лавров особой восторженности перед происходившими событиями отнюдь не проявлял. Быть может, здесь сказались переживания и испытания, связанные с осадой.

Когда я явился к Лаврову, он был крайне удивлен моему приезду в Париж. Моего энтузиазма и желания пережить происходящее он не понял. «Зачем вы приехали? – спрашивал он меня. – Вы можете здесь очень сильно пострадать. Вас даже могут убить. Ведь здесь и стрельба, и бомбы, и всё, что хотите… Я сам твердо решил выехать в Лондон, ибо всё, здесь происходящее, не является моим делом в тесном смысле слова». Но у меня были переживания несколько иные, чем у Петра Лавровича, и я заявил ему, что всё-таки останусь в Париже. Тогда Лавров предложил мне поселиться в его квартире, которая состояла из двух комнат и кухни. Я с радостью принял это предложение. Лавров же совершенно свободно покинул Париж, так как в то время в въезд и выезд были беспрепятственны. По крайней мере я сам приехал туда без всяких затруднений. Мне даже и сейчас вспоминаются мои проводы Лаврова и Чаплицкой на вокзал Северной железной дороги.

Уезжая, Лавров обратил мое внимание на консьержа, который являлся своим человеком. Кроме того, Лавров предложил мне, в случае надобности укрыться, идти к Григорию Николаевичу Вырубову и дал мне его адрес. Этими указаниями мне потом пришлось воспользоваться. Дело в том, что после подавления коммуны в Париже начали производить повальные обыски целых кварталов. В связи с этим производились массовые аресты. Консьерж вовремя предупредил меня об обыске, и я укрылся у Вырубова, который тогда заведовал каким-то лазаретом. Впоследствии бедного консьержа самого расстреляли. 1 июня я вдруг получил из Лондона от Лаврова телеграмму с вопросом, жив ли я. Я послал Петру Лавровичу успокоительное письмо.

Из Парижа, не дожидаясь возвращения Лаврова, я опять уехал в Цюрих и здесь с головой ушел в дела русской колонии, являясь организатором сторонников Бакунина. С Сергеем Нечаевым, несмотря на наши встречи, отношения мои не налаживались. Между прочим, в 1872 году Нечаев был арестован для выдачи русскому правительству. Перед самой выдачей Нечаев умудрился передать из своего заключения через студентку Южакову небольшую записочку на мое имя. В ней он поручал мне весь свой архив, который находился в Париже у некоей госпожи Клеман[3].

Интересно здесь отметить, что, покидая Париж после розысков архива Нечаева, я обратился к Лаврову с вопросом о предполагавшемся издании журнала «Вперед», о котором ходили тогда темные слухи в Цюрихе среди русской колонии, при чем упоминалось имя Лаврова. Известно было, что организаторами явились Смирнов и Подолинский, при чем последний давал на это необходимые средства. «Дело с журналом, – ответил Лавров, – находится еще в стадии переговоров. Впрочем, вас едва ли может интересовать, ибо мы с вами расходимся во взглядах. Я прекрасно знаю вашу программу. Вы хотите в России устроить «пугачевщину». Вы, кроме того, отрицаете государство. Мы будем с вами воевать. Я еду специально в Цюрих для издания журнала. Я считаю необходимым спасти русскую молодежь от вашего губительного влияния. Вы проповедуете ей революцию в то время, когда она должна еще работать научно и учиться. С вами война будет не на живот, а на смерть». Говоря всё это, Лавров взволнованно ходил по комнате.

Признаться, я был крайне удивлен Лавровым. Два года назад он отклонил мое предложение о журнале, считая, что еще «не сжег все корабли», и мечтал вернуться в Россию, а тут вдруг сам становится во главе подобного предприятия. Было ясно, что Лавров эволюционировал в своих взглядах и сообразно с этим стал иначе смотреть и на свое личное положение. Раньше я привык видеть у Петра Лавровича чисто пассивное, если не безразличное, отношение к революционному движению. Теперь же он решался даже играть активную роль среди русской молодежи. Возражать Лаврову я не стал, а только ответил ему: «война, так война», и уехал в Цюрих.

К 1872 году русская колония в Цюрихе очень расширилась, чуть ли не до 150 человек. Центром «русского Цюриха» был знаменитый дом, известный под названием «Бремершлюссель». Это было трехэтажное здание. Средний этаж занимал сам хозяин, а верхний и нижний были заселены исключительно русскими. Тут же в нижнем этаже находилась и библиотека колонии. Весь дом почти целиком был заселен

[3] О поисках этого архива смотреть ниже в «Воспоминаниях о Сергее Геннадьевиче Нечаеве».

«россовцами». Дело в том, что я носил кличку Росса и являлся правой рукой Михаила Бакунина среди русской молодежи того времени. Мои приверженцы, шутки ради, и назывались «россовцами». Так как я был основателем цюрихской колонии, то, вполне естественно, стоял тогда во главе русской молодежи, являясь одним из центров всей организации русской колонии.

Однажды, в конце 1872 года, ко мне вдруг приходит посыльный от Лаврова и приносит от него мешки с нечаевскими вещами. «Значит Петр Лаврович приехал», решил я. Через несколько дней совершенно неожиданно ко мне в «Бремершлюссель» явился с визитом Лавров в цилиндре, сюртуке и перчатках.

Просидел у меня всего несколько минут и затем оставил программу журнала «Вперед» для ознакомления. К программе Лаврова я и мои товарищи отнеслись иронически и просмотрели ее крайне поверхностно. Слишком она расходилась с нашими тогдашними настроениями и убеждениями. Она была крайне суха, теоретична и совершенно оторвана от жизни. Что же касается основных взглядов Лаврова, то тут между ним и нами была целая пропасть. В общем и у меня, и у товарищей осталось впечатление от программы, что журнал Лаврова есть совершенно чуждое нам по духу предприятие. Особенно много иронических замечаний и насмешек вызвал один пункт программы, где говорилось о соединенных штатах Европы. Между прочим, мне припоминается один из отзывов об этой программе, исходящий из среды «чайковцев», который характеризует отношение к журналу Лаврова в России: «Зачем нам иметь «Вестник Европы» за границей, когда он уже есть в Петербурге», – говорили деятели на местах.

Через два или три дня после первого посещения Лавров опять явился ко мне и спросил мое мнение о журнале. «Знаете, Петр Лаврович, – ответил я ему, – нам вообще говорить не о чем. Мы друг друга не поймем, и у нас нет общих точек для разговора». – «Почему?» – заволновался Лавров. – Ведь мы можем даже сойтись для совместной работы. Я не настаиваю обязательно на всех пунктах программы и многое могу изменить согласно вашим желаниям. Мы можем найти пункты соглашения». Я был поражен этим заявлением Лаврова и в удивлении пожал плечами. Еще недавно в Париже, перед отъездом в Цюрих, Петр Лаврович заявил, что едет воевать с нами, а тут вдруг предлагает совместную работу.

> «Но позвольте, Петр Лаврович, – заметил ему я, – ведь вы приглашаете не меня лично. Вам, вероятно, известно, что я самым тесным образом связан с Михаилом Бакуниным и с той группой лиц, которая считает себя его последователями. Вступая в сотрудничество со мной, вы самым тесным образом связываетесь с Бакуниным, от которого я всецело завишу. А ведь вы сами раньше не считали для себя возможным работать с ним совместно, боясь, что на вас падет подозрение, что вы разделяете его взгляды».
>
> – «Я прекрасно знаю и учитываю вашу зависимость от Бакунина, – ответил мне Лавров. – Именно поэтому-то я и предлагаю вам сотрудничество, зная, что вы тесно связаны с Бакуниным. Ведя с вами переговоры, я, конечно, разумею не вас лично, а связь с тем направлением, которое вы

представляете. Что же касается Бакунина, то я ничего не имею против совместной работы с ним. Раньше на этот вопрос я смотрел иначе, но теперь обстоятельства заставили меня изменить свои взгляды, и я надеюсь на совместную работу в журнале».

К предложению Лаврова я отнесся всё-таки холодно и, несмотря на его просьбы дать подробный отзыв о программе, ограничился лишь некоторыми отдельными замечаниями. Что же касается совместного сотрудничества, то я заявил, что это ни в каком случае невозможно, а посему даже не стоит подробно разбирать программу, дабы найти точки соглашения.

Спустя несколько дней после этой беседы Лавров опять пришел ко мне и вручил мне новую программу, которую, по его словам, он изменил согласно моим замечаниям с целью достигнуть соглашение. Новая программа опять не удовлетворила ни меня, ни моих товарищей, и Лаврову пришлось снова выслушивать целый ряд замечаний. Таким образом, насколько припоминаю, Лавров изменял свою программу раза два-три, всякий раз встречая с нашей стороны критику. Видя, что на почве одной программы трудно добиться каких-нибудь реальных результатов в смысле соглашения, Лавров пошел на другие уступки. Во время одного из своих посещений он заявил, что предлагает мне взять на себя всю технику журнала, его пересылку, заведывание всеми адресами, связями и тому подобное. Надо заметить, что в Цюрихе я слыл за человека практического, умеющего налаживать всякое организационное дело. Лавров это, конечно, учитывал и поэтому старался привлечь меня к журналу. Мало того, Петр Лаврович даже предложил мне совместное редактирование журнала. «Мы будем вдвоем, –говорил он, – просматривать спорные статьи и стараться по взаимному соглашению найти точки соглашения». На этот раз предложение Лаврова заставило меня серьезно призадуматься.

Дело в том, что у меня и у всех моих товарищей, поклонников Бакунина, почти не было никаких связей с Россией. Мы жили своей жизнью и интересами, будучи оторванными от родины с ее переживаниями и думами. Между тем у Лаврова, как он и сам говорил, были кое-какие связи с Россией и с некоторыми литераторами легальных изданий. Помимо того, в мои руки перешли бы все адреса и связи с Россией при распространении самого журнала. В силу этих соображений я и решил принять предложение Лаврова. К этому присоединилось еще совместное редактирование, что опять-таки давало возможность не следовать строго программе, выработанной Лавровым. Я заявил Лаврову, что согласен на его предложение сам лично, но мне все-таки для этого шага необходимо согласие Бакунина, так как я являюсь одним из членов кружка его последователей. Лавров не думал протестовать против этого, а наоборот заявил даже, что, по его мнению, оно «так и должно быть». Большинство же моих товарищей, узнав о моем согласии, отнеслось к нему крайне отрицательно. «Какой Лавров революционер! – говорили они. – Ведь это «философ» и ничего больше».

С целью выяснить дело с журналом, я отправился к Бакунину, который в это время жил в Локарно. Мой приезд как раз совпал с тайным съездом сторонников Бакунина.

Я застал у него совещание с французами, швейцарцами и итальянцами. К моему предложению о нашем участии в журнале Лаврова Бакунин отнесся крайне отрицательно.

> «Да знаешь ли ты, какое письмо я получил от Лаврова? – говорил мне Бакунин. – Помнишь мое предложение ему об участии в журнале, которое ты отвозил ему в Париж? Ведь Петр Лаврович мне ответил. Отказываясь от участия в журнале, он, между прочим, высказывает поразительные вещи. По его мнению, государственность вообще начало прогрессивное, и всё зависит от того, в какие руки попадет. Даже III отделение, если и худо, то только потому, что находится в плохих руках».

Я отказывался этому верить, но Бакунин показал мне письмо Лаврова, и факт оказался неоспоримым.

Несмотря на это, я все-таки не хотел отказаться от своего предложения в сотрудничестве с Лавровым издавать журнал. «Мало ли что мог думать и писать Лавров два года назад. Важно, что он теперь не высказывает подобных мыслей!» – В результате, вопрос о нашем участии в журнале был отдан на решение всего совещания членов Альянса, при чем некоторые из иностранцев поддержали мое предложение. Защищая свою точку зрения, я, главным образом, подчеркнул возможность получить связи с Россией, а во-вторых, указал, что, в случае неуступчивости со стороны Лаврова или крайней непримиримости его взглядов с нашими, никто не помешает покинуть нам журнал. Сделать же попытку вообще не мешает. В конечном счете Бакунин, хотя с неудовольствием, всё-таки согласился со мной. На совещании и была вынесена по этому поводу резолюция, в которой мое участие в журнале Лаврова обусловливалось, во-первых, редактированием его совместно с Петром Лавровичем, а во-вторых, заведыванием всей перепиской и рассылкой журнала. С этой резолюцией я и вернулся в Цюрих.

Явившись к Лаврову, я предложил ему выяснить окончательно вопрос о нашем участии в журнале. В ответ на это Петр Лаврович заявил мне, что необходимо устроить собрание, на которое он должен пригласить главных организаторов журнала, сам же этот вопрос он не может решить. В свою очередь я предложил Лаврову пригласить на предстоящее собрание своих близких товарищей, с чем он охотно согласился. Собрание это состоялось на квартире Лаврова. На нем со стороны Лаврова присутствовали Смирнов и Подолинский, а с моей – Эльсниц и Ралли. Здесь меня ожидал сюрприз. Лавров категорически отказался разделить с кем-либо редактирование журнала. Он отнюдь не отрицал своего собственного предложения, но заявил, что теперь смотрит на дело иначе.

> «Я не могу и не имею права делить с кем-либо редактирование журнала, – говорил Лавров. – Из России предложение быть редактором было сделано исключительно мне. Следовательно, только я и должен быть руководителем этого дела, неся ответственность перед теми, кто поручил мне этот журнал».

После этого мы заявили, что наше присутствие на собрании излишне, и мы удаляемся, при чем я ознакомил всех с имеющейся у меня резолюцией, где вопрос о

совместном редактировании стоял на первом месте. Петр Лаврович страшно заволновался.

> «Во всяком случае, – убеждал он нас, – я надеюсь, вы не откажитесь сотрудничать в журнале. Вопрос о редактировании не такой уж важный, чтобы из этого расходиться и делаться врагами. Я думаю, что мы расстанемся друзьями».

На это мы ответили категорическим отказом, а я не утерпел и напомнил Лаврову наш парижский разговор, где он обещал повести с нами «войну не на живот, а на смерть». Петр Лаврович несколько смутился и заявил, что сказанное им тогда не имеет значения, ибо он в то время не был знаком с действительным положением вещей. В общем, собрание закончилось нашим уходом, и с этого момента и началась борьба между «лавристами» и «бакунистами».

Первое проявление этой борьбы сказалось вокруг цюрихской библиотеки. Начало этой библиотеки, как я уже упоминал, было положено мной в 1870 году. Все члены нашего кружка отдали сюда все свои книги. Немало книг отдал и я сам. Сюда же были присоединены и все книги, оставшиеся после Нечаева. Впоследствии, когда цюрихская колония русских разрослась, был выработан особый устав, сущность которого сводилась к следующему. Каждый вновь вступающий подписчик или читатель вносил сначала единовременный взнос, что-то около 10-15 франков. Затем ежемесячно взнос определялся, кажется, 3 франками в месяц. Что же касается до действительных членов библиотеки, то таковые выбирались по голосованию основателями библиотеки, которых к 1872 году было 30-35[4]. Таким образом, не всякий подписчик был членом библиотеки. Надо сказать откровенно, что библиотека попросту была ширмой, под которой здесь группировались исключительно сторонники Бакунина. Поэтому иногда случалось, что некоторых выбирали, не принимая в члены библиотеки. Конечно, подобная история случалась только с лицами, которые по убеждениям были противниками Бакунина, являясь в наших глазах «государственниками».

Библиотека, разумеется, была главным центром всей колонии. Вокруг нее главным образом и происходило объединение всех русских в нечто целое. Было ясно, что хозяева библиотеки, в сущности, и являются хозяевами всей колонии. Лавров, конечно, прекрасно понимал это обстоятельство. Стараясь привлечь молодежь в Цюрихе на свою сторону и завязать с ней прочные связи, Лавров должен был прийти к выводу, что для этого прежде всего надо найти доступ к библиотеке, которая помещалась в «Бремершлюсселе», в этой главной цитадели «бакунистов»… Здесь молодежь пропадала по вечерам за чтением, собиралась для всяких бесед и так далее. Словом, библиотека была главным нервом русской молодежи, и вокруг нее вращалась вся ее жизнь. И не было ничего удивительного, что вокруг нее и возгорелась ожесточенная борьба. Лавров начал вести среди молодежи агитацию, в которой развивал мысли о том, что библиотека – явление прежде всего общественное, которым должна ведать вся колония в целом, а не небольшая кучка «россовцев» в 35 человек. Указывал он также на то, что вся библиотека развивается и существует на средства

[4] Позднее Сажин напишет, что ему изменила память, и что реально членами библиотеки были около 44 человека. (прим. 2026)

всех подписчиков, а не одних только «россовцев», что помимо них сюда поступает немало пожертвований книгами. Раз так, то необходимо изменить устав библиотеки и сделать хозяином ее всю колонию целиком. Агитация Лаврова приобрела многочисленных сторонников, и вскоре между нами и ими возгорелись бесконечные дебаты, пререкания и недоразумения о правах на библиотеку.

В ответ на нападения сторонников Лаврова, упрекавших нас в «узурпации», мы указывали, что фактически библиотека организована нашими усилиями и средствами, что самые ценные книги приобретены нами, а что остальные пожертвования выражаются, главным образом, в учебниках, которых имеются десятки и сотни. «Вам не нравятся наши порядки, вы указываете на тенденциозный подбор книг, которого мы не отрицаем, вы недовольны членами библиотеки, – так заводите свою собственную библиотеку. А мы от своих прав отказываться не желаем», – отвечали мы лавристам. Здесь необходимо заметить, что мы решили не увеличивать кружка, считая 35 человек цифрой вполне достаточной. Поэтому прием новых членов библиотеки прекратился совсем. Вся эта напряженная атмосфера и разрядилась в скором времени.

В начале 1873 года в «Бремершлосселе» состоялось годичное собрание членов библиотеки, где читался отчет и обсуждались все текущие дела этого учреждения. На этом собрании правом голоса пользовались только члены библиотеки, но высказываться, вносить предложения могли все члены колонии. На этот раз собрание было многолюдно. Лавров и его сторонники тоже явились на него. Обе партии уселись вокруг длинного стола по разным его сторонам – на одной лавристы, на другой бакунисты. Председательствовал Эльсниц. Докладчиком от библиотеки выступил Смирнов, который был секретарем ее. Надо сказать, что Смирнов сначала был «бакунистом», а потом с приездом Лаврова перешел на его сторону. Библиотекарем и кассиршей была жена Смирнова, госпожа Идельсон. Дебаты на собрании возгорелись самые страстные. Со стороны лавристов говорили, главным образом, Смирнов и Подолинский. Что же касается бакунистов, то от них главным оратором, как и всегда, был я. Лавров совершенно не вмешивался в эти бурные споры и пререкания и за все собрание не проронил ни единого слова. Лавристы внесли предложение: отменить пункт устава библиотеки, по которому новые члены ее принимаются голосованием только членов-основателей, а не всех подписчиков. При голосовании этого предложения наш кружок, разумеется, отклонил его. Тогда Лавров со всеми своими приверженцами встал и покинул собрание. С этого момента произошел полный разрыв между нами. Нас осталось на собрании не больше одной трети, то есть одни бакунисты.

Вскоре после этого случая я стал замечать, что некоторые подписчики набирают с собой очень много книг. Я сделал об этом заявление в комитет, заведующий библиотекой, и решено было закрыть ее для ревизии, о чем было вывешено объявление. Начиная ревизию, мы пригласили секретаря библиотеки Смирнова и кассира Идельсон. Но они не явились, и даже деньги, что-то около 300 франков, находившиеся у Идельсон, нам не были возвращены. Ревизия обнаружила исчезновение очень многих и притом довольно ценных книг. Оказалось, что лавристы решили забрать у нас книги захватным правом. Для этой цели по заранее составленному списку они являлись каждый вечер в библиотеку и набирали наибольшее количество

книг. Этим путем им удалось экспроприировать около 100 сочинений. После этого случая мы решили окончательно отрезать от себя лавристов и порвать с ними всякие сношения. Мы перестали встречаться, раскланиваться между собой, библиотеку же закрыли для лавристов и окончательно обособились в замкнутую группу, занявшись исключительно своими партийными задачами. В это время наш кружок был поглощен исключительно изданием двух книжек – «*Историческое развитие Интернационала*», представляющей собой сборник различных статей, и книги Бакунина – «*Государственность и Анархия*».

Что же касается лавристов, то они тоже окончательно отмежевались от нас. Они купили дом, устроили столовую и библиотеку, при чем Лавров отдал туда все свои книги, но с правом в случае надобности взять их обратно. Словом, между нами и лавристами образовалась непроходимая пропасть. Кроме инцидента с библиотекой, поводом для окончательного разрыва послужил еще один очень прискорбный случай. В числе эмигрантов в Цюрихе находился бывший полковник генерального штаба Соколов, сотрудник «Русского Слова» и автор знаменитой в то время книги «Отщепенцы», за которую он судился и был сослан в одну из северных губерний, откуда и бежал за границу. По своим взглядам он был сторонником Бакунина и жил в нашем кружке. В 1871 году по подписке, на средства желающих членов русской колонии, была издана книга Соколова «Отщепенцы», которая почти вся была отправлена в Россию. Лишь только небольшое количество ее осталось у Смирнова. Дело в том, что Смирнов внес на ее издание известную сумму денег, за что и получил определенное количество экземпляров. Вскоре после истории с библиотекой из России приехал один из членов кружка «чайковцев», прося дать ему нелегальных книжек для их работы. Так как у нас таковых не оказалось, то мы указали ему на Смирнова. Являлся вопрос, как достать эти книжки. Идти кому-либо из членов нашего кружка неудобно, так как из этого ничего бы не вышло. Между тем Соколов заявил, что он желает идти к Смирнову во что бы то ни стало. Никакие наши уговоры на него не действовали. Для нас не было никакого сомнения, что разыграется скандал, тем более, что Соколов любил выпивать, а Смирнов был человек язвительный и очень злой на язык. Чтобы как-нибудь предупредить возможное столкновение, было решено отправить вместе с Соколовым доктора Святловского, его закадычного приятеля. Этот последний не принадлежал ни к бакунистам, ни к лавристам, а жил в Цюрихе только потому, что здесь училась его жена.

Опасения наши оправдались. Разговор между Смирновым и Соколовым принял сразу крайне острый характер. В результате Смирнов плюнул в лицо Соколова, а этот последний схватил его за горло, повалил на пол и начал тузить. Надо заметить, что Смирнов был вообще человек слабый, а Соколов обладал большой силой. Святловский, увидав происшедшее, страшно растерялся. Сначала побежал с криками на улицу, но, видя, что помощи ждать неоткуда, схватил в охапку Соколова и вытащил его из комнаты. Сделать ему это было легко, так как он слыл за силача… Всё происшедшее вызвало небывалое возмущение среди лавристов. Смирнов, сильно помятый, слег в постель. Лавров созвал собрание и произнес громовую речь против нашего кружка. В этой речи особенно досталось мне, хотя я был совершенно не виноват во всем происшедшем. По мнению Лаврова, ответственность за все лежала исключительно на Россе, который является главным вдохновителем и руководите-

лем всех действий «бакунистов». Поэтому, на него нужно обратить особое внимание и предать чуть ли не «анафеме», ибо он занимается всё время разными интригами и отравляет жизнь всей русской колонии в Цюрихе. Избиение Смирнова было устроено несомненно по наущению Росса, который для этой цели и послал двух силачей Соколова и Святловского. Помимо этого собрания, группа лавристов послала к министру полиции Пфеннингеру (тот самый, который выдал Нечаева) депутацию во главе с Маурером, которая просила его принять меры против Росса и Соколова и избавить от них русскую колонию в Цюрихе, другими словами, выслать их из кантона. Эта депутация не имела для нас никаких реальных последствий, так как Пфеннингер заявил ей, что удалить кого-либо из Цюриха он не имеет права, а если Росс и Соколов в чем-нибудь виновны, то для этого существуют швейцарские законы, к защите которых и следует прибегнуть.

Вся эта история создала крайне нервную, напряженную атмосферу в Цюрихе. Молодежь бросила свои научные занятия и была только занята бесконечными пересудами и обсуждениями отношений лавристов и бакунистов. Мое же положение стало прямо невозможным. Меня преследовали со всех сторон, и несколько раз дело доходило чуть ли не до попыток открытого избиения. Помню, меня раз поймали на окраине города на квартире одного столяра, где я делал кассы для нашей типографии. Сюда явилась громадная компания лавристов и заняла выход из квартиры, поджидая моего появления. Здесь были Подолинский, Чернышев, Гихтер, Линев, Кулябко-Корецкий, Филиппов (муж Веры Николаевны Фигнер) и целый ряд других лиц. Избиение мое было неминуемо. К счастью, я успел послать через девочку записку в «Бремершлюссель» к товарищам с просьбой выручить меня из беды. Оттуда прибежали чуть ли не все бакунисты и сняли осаду с квартиры столяра. Лавристы поспешили ретироваться. Подобных попыток было несколько, но все они окончились неудачей. Помню, была сделана попытка примирить враждующие стороны на почве моего добровольного отъезда из Цюриха. Она исходила от небольшой группы лиц, которая не принадлежала ни к лавристам, ни к бакунистам. Эта группа отправила ко мне депутацию, состоявшую из студента-медика Васильева и Александра Алексеевича Кропоткина (брат известного анархиста). Эти лица усиленно просили меня уехать добровольно из Цюриха и этим прекратить всякие инциденты и успокоить молодежь, но я категорически отказался.

Попытка как-нибудь наладить отношения между враждующими партиями и влить их в нормальное русло была сделана со стороны Михаила Бакунина. Только на этот раз воздействию подвергся Петр Лавров. Бакунин приехал в Цюрих и остановился у меня в «Бремершлюсселе». По его мнению, всю историю между двумя группами страшно раздули из-за всяких пустяков, при чем его особенно интересовало, какую роль здесь играл Лавров. Если молодежь и могла увлекаться и в этом порыве доходить до крайностей, то отнюдь не пристало совершать их такому человеку, как Лавров. Он отказывался верить, чтобы Лавров был способен заниматься подобными пустяками, которые совершенно напрасно волнуют молодежь, отвлекая ее от серьезной работы. Здесь надо еще отметить, что Бакунин был очень доволен, что не состоялось наше сотрудничество с Лавровым в его журнале. На другой день после своего приезда Бакунин отправился к Лаврову с целью убедить его ликвидировать весь разлад, выяснить взаимные отношения и постараться не волновать молодежь проявлениями

вражды с обеих сторон. Передать в точности их беседу не представляется возможным. Известно только, что на замечания Бакунина о том, что борьба враждующих сторон приняла невозможные формы и что это недопустимо, Лавров указывал, что не он этому причина.

> «Я не хотел вражды и борьбы, – говорил Лавров Бакунину, – Я даже предлагал вашим сторонникам соглашение и сотрудничество в журнале. Если это не случилось, то причиной всего является Арман Росс. Благодаря ему не осуществилась идея сотрудничества двух групп».
>
> «Но помилуйте, Петр Лаврович, – возражал Бакунин, – разве возможно работать в одном журнале при тех расхождениях во взглядах, какие имеются у вас и моих последователей?»
>
> – «Почему же? – горячился Лавров. – Ведь я предлагал Россу сделать известные уступки и вовсе не проявлял непримиримости».
>
> – «О, да, – отвечал Михаил Александрович, – мне слишком хорошо известна эластичность вашей мысли. Именно это обстоятельство в вашем прошлом и не давало уверенности моим представителям в вашей дальнейшей устойчивости».

Этот намек на неопределенность взглядов Лаврова, на его либерализм в прошлом, на непрерывную эволюцию в настоящем страшно раздражил Лаврова. Надо сказать, что при этой встрече Бакунин вообще не скупился на целый ряд едких и ядовитых замечаний, подчеркивающих бесформенность общественных воззрений Петра Лавровича. Свидание это никаких реальных результатов не дало. Раздраженный и задетый, что называется, за живое, Лавров отказался взять на себя инициативу ликвидирования происходящей распри между враждующими партиями, заявив, что его последователям не в чем делать уступок в происходящей борьбе и что виновной стороной в данном случае являются исключительно сторонники Бакунина. Посещением Бакунина Лавров остался, по-видимому, очень недоволен. Во всяком случае, он не ответил на визит Бакунина, который некоторое время жил в Цюрихе, и не сделал ни одной попытки еще раз повидаться с Михаилом Александровичем.

Вскоре после этого свидания Лавров на одном из собраний цюрихской молодежи произнес речь, в которой коснулся своей беседы с Бакуниным. Отдавая дань уважения уму, таланту и громадным заслугам Михаила Александровича перед революционным движением, Лавров заявил, что, к сожалению, Бакунин слишком доверяет окружающим его лицам и смотрит на многие события их глазами, не зная действительного положения вещей. С другой стороны, вследствие своего преклонного возраста, Бакунин очень часто в практических вопросах подпадает под влияние своих близких помощников. Всё это и случилось с Бакуниным при его посещении Цюриха. Стараясь узнать сущность и причины враждебных отношений двух борющихся групп в среде русской молодежи, он на всё взглянул исключительно глазами Росса, а потому и не смог в данном случае составить о происшедшем правильного мнения. В частной же беседе Петр Лаврович заявил, что Бакунин был неправ, бросая ему упреки в том, что

он беспрестанно меняет свои убеждения… Свидание Бакунина с Лавровым было последней попыткой примирить враждующие стороны. После этого обе стороны резко обособились и замкнулись в свои отдельные колонии, не имея между собой никакой связи или сношений.

Впоследствии, когда властное время вытравило партийное пристрастие, Петр Лаврович в значительной степени изменил свой взгляд на меня, и здесь уже не было прежней непримиримости, а была более объективная оценка всего происшедшего в Цюрихе. Уже в Сибири Афанасий Андреевич Зубковский, один из участников процесса 16 террористов, передавал мне по этому поводу свою беседу с Лавровым. Оценивая историческое значение «бакунистов» и признавая за ними громадную роль, которую они сыграли в революционном движении, Петр Лаврович коснулся в частности и меня. Он заявил, что вполне допускает, что не во всем был виноват Росс и что лавристы сами во многом были неправы. В частности свою непримиримость ко мне Лавров объяснял исключительно тогдашней исторической атмосферой и средой, окружавшей его, которая сама была не чужда крайностей и этим до известной степени накладывала отпечаток на его поведение. В заключение своей беседы с Зубковским Петр Лаврович проявил самое теплое участие к моей дальнейшей судьбе.

Крайне интересно здесь вспомнить о первых шагах Лаврова приобрести влияние на молодежь и связать себя с нею. Это было еще до нашего окончательного раскола и разрыва. В то время в «Бремершлюсселе» раз в неделю происходили регулярные собрания всех русских, находившихся в Цюрихе. Здесь происходили беседы и обмен мнений по волнующим нас вопросам. В то время собрания происходили иначе, чем сейчас. Тогда не было никаких докладчиков или референтов с рядом различных оппонентов. Беседовали попросту, по-семейному, сидя за столом или отдельными группами, или какой-нибудь одной большой группой. Петр Лаврович не пропускал ни одного такого собрания. Но здесь была одна особенность: он всегда являлся с заранее продуманной темой, которая была крайне отвлеченна. Лавров совершенно не хотел понять и не учитывал тех вопросов, которые волновали тогда молодежь. Его речь сводилась к различным историко-философским вопросам, при чем, если молодежь была занята другим, Лавров незаметно сводил беседу на намеченную им тему. Несмотря на это, Лавров всегда был окружен на этих собраниях молодежью, которая прислушивалась к его словам. Говорил он довольно плавно и, если не был оратором в современном смысле слова, то, во всяком случае, умел изложить слушателям свои мысли.

Случалось иногда, что Лавров приходил тогда, когда всё собрание горячо дебатировало уже готовую тему. В большинстве случаев это был один из насущных вопросов тогдашнего Интернационала или какая-нибудь революционная проблема. Лавров в данном случае упорно молчал и никогда не высказывался по этим вопросам. Я и мои товарищи прекрасно знали, что в то время Лавров отнюдь не был революционером. Но об этом сам предпочитал не делать никаких признаний на собраниях и отделывался молчанием. Большинство же русской молодежи не знало правды о Лаврове. Поэтому я сам, да и некоторые из членов моего кружка делали всевозможные попытки, чтобы заставить Лаврова высказаться на революционные темы и, в частности, по вопросу об Интернационале. Неоднократно мы задавали ему целый

ряд вопросов и, что называется, «припирали его к стенке», но он всякий раз отвечал: «об этом вопросе вполне и обстоятельно я постараюсь поговорить когда-нибудь в другой раз, а теперь я хотел бы обратить внимание на другую интересную тему». Здесь он начинал беседу, которую заранее составил, идя на собрание. Разумеется, что не только мы, но даже многие из среды русской молодежи, не принадлежавшие к бакунистам, часто разочаровывались в Лаврове. Для нас же было ясно, что Петр Лаврович сознательно избегает щекотливых для него вопросов.

Помню еще довольно комичный случай, происшедший с Лавровым на почве его отвлеченности от жизни. Однажды, вскоре после своего приезда в Цюрих, Лавров заявил мне, что будет читать в «Бремершлюсселе» ряд лекций по… математике. Я ушам своим не верил.

– «Что вы, Петр Лаврович! – воскликнул я. – Да ведь никто же вас слушать не будет. Разве совсем о другом!»

– «О чем же?» – раздраженно ответил Лавров. – «Вам нужна вся революция».

– «Да хотя бы революция, – возражал я. – Отчего бы вам, например, не прочесть ряд лекций о великой французской революции… Это было бы действительно интересно для молодежи».

– «Ну нет, – отвечал Лавров, – таких лекций я читать не буду. Молодежи нужны только положительные знания».

– «Воля ваша, Петр Лаврович, но со своей математикой вы, несомненно, провалитесь», – заключил я нашу беседу.

Мое предсказание исполнилось. На первой лекции Лаврова по математике было человек пятнадцать, а на следующую никто уже не явился, и ему пришлось отказаться от своей идеи.

Вообще Лавров был человек чисто отвлеченной мысли, совершенно беспомощный в вопросах практических или жизненных. Припоминается мне, например, написанная Лавровым «Инструкция для революционеров», ходившая за границей по рукам в рукописи, кажется, в 1875 году. Более комичную вещь трудно себе представить. Здесь рекомендовалось будущему революционеру ходить на охоту с ружьем-дробовиком, начинать стрелять с птиц и тому подобное. В свое время с этой инструкцией было немало смеха за границей. Эта беспомощность Лаврова в практической жизни иногда принимала крайне курьезный характер. Вечно занятый логическим развитием своих чисто отвлеченных мыслей, Лавров иногда совершал в жизни такие поступки, которым сам потом удивлялся. На моих глазах, например, произошел следующий факт. Как-то Лавров отправился купить себе карандашей. Придя затем домой, он вспомнил о карандашах и полез за ними в карман своего пальто. Каково же было его удивление, когда вместо карандашей он вытащил оттуда какую-то безделушку. Его изумлению не было конца… Лавров прежде всего был мыслитель и чисто «книжный человек». Абстракция о каких-либо предметах его интересовала больше, нежели

сам предмет в его живой действительности. Вот, например, характерный случай. Однажды я предложил Петру Лавровичу съездить на Цюрихское озеро и осмотреть остатки свайных построек.

> «Вы прочли массу книг по истории цивилизации, – говорил я Лаврову, – изучали этот предмет специально, и вам, наверное, интересно увидеть самому эти постройки».
>
> – «Знаете, – ответил он, – мне не интересно их видеть в действительности. Гораздо важнее вопрос об образовании этого явления, об условиях, породивших его, о значении открытия свайных построек для науки, об истории первичной культуры человечества и тому подобное. Всё это я узнаю из книг. С этим вопросом я прекрасно знаком теоретически по разным трудам, и это меня вполне удовлетворяет. Осматривать же самые постройки я совершенно не ощущаю ни охоты, ни желания, ни потребности».

Не менее интересен для характеристики Лаврова еще и следующий разговор, происшедший у меня с ним в Париже, накануне его отъезда в Лондон.

> «Вот Петр Лаврович, – говорил я ему, – вы заявляете, что не можете принести никакой пользы коммунарам, но вы артиллерист, и ведь вы могли бы им оказать громадные услуги».

В ответ на это Лавров громко расхохотался.

> «Да ведь я в жизнь свою не стрелял из пушек, – объяснил он мне. – Я знаю, конечно, прекрасно теоретические основы артиллерийского дела. Но это – голая теория, взятая из книг, основанная на чистой математике. Что же касается прикладной части артиллерийского дела или ее практики, то этот вопрос меня никогда не интересовал, и я им не занимался. Чем же я могу быть полезен? Ведь коммунарам нужны не математические теории, а только практика. Я же всего раз в жизни был близок к пушкам. Это было в Нарве, да и то я больше наблюдал, чем сам действовал».

Вспоминая все свои встречи с Лавровым и наши беседы с ним, начиная с Вологодской губернии и кончая Цюрихом, я должен подчеркнуть одно обстоятельство – неустойчивость и неопределенность его общественных взглядов в тот период. Не подлежит никакому сомнению, что он всё время эволюционировал. Этим и определялись его личные взгляды и его поступки. В 60-х годах Петр Лаврович был типичным либералом. Арест и ссылка хотя и толкнули его в сторону социализма, но всё-таки в нем еще долго жила либеральная закваска. Это сильно чувствовалось и в вологодской ссылке, и в первые годы его пребывания за границей. Этим и объясняются его тогдашние надежды, что русское правительство сознает свою вину или ошибку и вернет его из ссылки или даже из-за границы. Вот почему он и заявил мне в Париже, что «не сжег окончательно своих кораблей». Бедный Петр Лаврович и не подозревал в то время, что он наделал своими «Историческими письмами», и какими глазами

смотрят в России на него и русская молодежь и русское правительство. Этим же надо объяснить и довольно сдержанное отношение Лаврова к Парижской коммуне.

По-видимому, в первые годы пребывания Лаврова за границей он не сразу отдался социализму, а приобщался к нему постепенно. Характерен в этом отношении следующий факт. В 1872 году в Гааге должен был состояться интернациональный конгресс социалистов. На нем Маркс готовился дать Бакунину и его сторонникам генеральный бой. В то время предстоящий конгресс страшно волновал всех социалистов. Я написал Лаврову в Париж письмо, прося его поддержать в печати сторонников Бакунина и вообще принять какое-нибудь участие в этом деле, указывая на предстоящий раскол Интернационала. Вскоре после отправки письма в Цюрих проездом приехал Бакунин. Я сообщил ему о моем письме к Лаврову.

> «Неужели ты думаешь, – заявил мне Бакунин, – что Лавров примет участие в этом деле? Он ничего тебе не ответит или уклонится от активных действий, заявив, что это не его дело».

Впоследствии мне пришлось убедиться, что Бакунин замечательно верно оценивал тогдашнее положение Лаврова. Его слова о Петре Лавровиче вполне оправдались. В ответ на мое письмо Лавров писал мне, что никакого прямого отношения к предстоящему конгрессу он не имеет, что это дело его мало касается, что он стоит в стороне от Интернационала. В письме он выражал, между прочим, сожаление по поводу неурядиц и междоусобия в Интернационале, но категорически отказался принять какое-либо участие в связи с предстоящим конгрессом, подчеркивая, что это дело не является для него близким. В общем, всё письмо Лаврова прямо указывало, что вопросы социализма и в частности Интернационала отнюдь не волновали тогда Петра Лавровича. Чувствовалась какая-то сдержанность и отнюдь не было увлечения.

В Цюрихе в Лаврове уже ясно ощущалось сильное влияние социализма, который почти целиком вытеснил из него либерала, но он все-таки еще не исчез бесследно. Очень характерно, например, для психологии Лаврова то обстоятельство, что, получив предложение организовать и редактировать за границей журнал «Вперед» и не зная, откуда оно исходит, он вообразил сначала, что оно шло от «радикальных литературных кругов». Переживания либерала здесь несомненно сказались. Но хотя в цюрихский период у Лаврова уже преобладал социализм, но он отнюдь не был тогда революционером. По-видимому, исчезнувший под давлением социализма либерализм еще оставил кое-какие следы. Зачатки революционного мировоззрения у него появились уже значительно позже. Отказываясь в начале 1872 года говорить на революционные темы и, в частности, о французской революции, он уже в 1879 году произносит речь о коммуне, которую издает потом отдельной брошюрой. Почему же он не хотел говорить о коммуне в Цюрихе? Ведь впечатления виденного и пережитого им, несомненно, были тогда более свежи и непосредственны. Но Лавров предпочел хранить молчание. Эта эволюция Лаврова в сторону революционных воззрений завершилась окончательно лишь в период «Народной Воли».

Есть еще одна черта в личности Лаврова, которую мне также хочется подчеркнуть и выделить. Петр Лаврович был прежде всего теоретик-философ, привыкший жить в

заоблачной выси теорий. Когда ему приходилось спускаться на землю, он проявлял полную беспомощность. Отсюда проистекало другое обстоятельство: он не имел самостоятельности в практических вопросах жизни. И это всегда сказывалось, как в поступках его частной и личной жизни, так и при решении практических задач тогдашней общественности. В силу этого он легко поддавался влиянию других лиц и был способен быстро соглашаться с ними. Этим и объясняется целый ряд противоречий в его поступках. Он легко изменял принятые уже решения. Примеров для подтверждения этого положения можно привести сколько угодно. Надеясь, что русское правительство вернет его из ссылки, он то собирается своей жизнью показать свою лояльность, то вдруг бежит за границу. Не теряя даже здесь надежды вернуться в Россию, он вступает в то же время в Интернационал, издает «Исторические письма» и этим отрезывает себе путь к возвращению. По отношению бакунистов он собирается объявить войну «не на живот, а на смерть», а затем вдруг сам же предлагает соглашение, идя на уступки. Дает согласие на совместное редактирование журнала, впоследствии же изменяет свое решение. Думаю, что в последнем случае сказалось уже влияние Смирнова и Подолинского. По-видимому, Лавров сознавал свою слабость в области практической общественности. Вот почему он охотно прислушивался к окружающим его людям. Этой несамостоятельностью Лаврова и его способностью поддаваться влиянию окружающей среды и объясняется та легкость, с которою он воспринял учение Маркса, объявив себя его учеником, и его вступление в «Народную Волю». Как известно, вступая в эту партию, Лавров не был согласен с ее тактикой и в частности с террором, а кончил тем, что сам же дал наиболее обстоятельное оправдание террора.

Отмечая в Лаврове все указанные черты, я должен оговориться. Всё сказанное мной относится исключительно к общественным взглядам Лаврова и к поступкам личной жизни. Что же касается его, как мыслителя и философа, то с этой стороной деятельности Петра Лавровича я знаком крайне мало и охотно готов допустить, что здесь он проявил и самостоятельность, и оригинальность, и не страдал противоречиями.

После Цюриха судьба меня не сталкивала больше с Лавровым. Впрочем, была еще одна мимолетная встреча при довольно курьезных обстоятельствах. Это было уже в Лондоне, куда я перевез свою типографию и где я печатал «*Анархию*» Прудона. В 1874 году сюда же перекочевал и Лавров со своим журналом «Вперед». В том же году в Лондон прибыл Петр Никитич Ткачев[5], который поселился у Лаврова и числился сотрудником «Вперед». На деле же он только больше обещал писать, нежели сотрудничал в действительности. Но так как в то время число сотрудников было крайне ограничено, то Лавров все-таки старался не упускать из рук Ткачева.

Этот последний вел в Лондоне двойную игру. Считаясь другом Лаврова и живя в компании с его сотрудниками, Ткачев в то же время писал свою знаменитую брошюру «*Задачи революционной пропаганды в России*», где резко критиковал Лаврова. Мало того, Ткачев очень часто втихомолку посещал меня, и наконец стал просить разрешения отпечатать свою брошюру в моей типографии. Так как последняя была в это время свободна, ибо «*Анархия*» Прудона была закончена, то я дал свое согласие.

[5] Основатель «заговорщического» направления в народничестве. (прим. 2026)

Закончив издание, Ткачев решил уехать в Париж. Я пришел на вокзал проводить его. Тут же на перроне я увидал Лаврова в сопровождении Смирнова, Подолинского, Германа Лопатина и других, которые также явились провожать Ткачева. Мы, конечно, сделали вид, что не узнаем друг друга. Один только Ткачев чувствовал себя непринужденно и оживленно беседовал со всеми провожающими. Между тем, мне было прекрасно известно, что Ткачев втихомолку уже отослал Лаврову и его сотрудникам свою брошюру. Это обстоятельство придавало проводам Ткачева несколько комический характер. В последнюю минуту мы расцеловались с Ткачевым, и он уехал. Каково же было удивление и изумление Лаврова, когда он, возвратившись с вокзала, нашел у себя на столе брошюру Ткачева. Его негодованию и возмущению не было конца.

Эта встреча с Лавровым была для меня последней, и после этого наши пути больше не встречались. Я вскоре отправился в Россию, был судим и попал на каторгу, после которой последовала долголетняя ссылка в Сибирь. И когда я вернулся оттуда то и личность Лаврова, и моя борьба с ним сделались чем-то слишком далеким. Все страсти, которые кипели во мне, всё мое былое пристрастие и непримиримая вражда к Лаврову потухли и исчезли без следа. Наступило время истории, время спокойной оценки и беспристрастных воспоминаний, которыми я рад поделиться.

Записаны со слов Сажина П. Витязевым в 1912 году. «Голос Минувшего» №10, 1915 год. Статья вызвала ответную статью Германа Лопатина (№4 того же журнала), которая приводится ниже.

Статья Германа Лопатина «К рассказам о Петре Лавровиче Лаврове»

Все воспоминания о собственном прошлом, о приходивших в столкновение с нами людях и тому подобном – неизбежно субъективны. Вот ведь, кажется, и состарится человек; и посмотрит иным, более спокойным и бесстрастным взглядом на минувшие события; и переменит многое в своих оценках бывших врагов и друзей и их деятельности; а как начнет рассказывать о пережитом, так снова впадает в настроение прежнего времени, снова враждует и любит, снова не в силах быть объективно справедливым и отдавать должное даже врагам и соперникам, снова слышится во всем тоне его рассказов о них враждебно-пренебрежительные или насмешливо-иронические нотки… Вот мысли, то и дело приходившие мне в голову при чтении рассказов Сажина о Лаврове в передаче их Витязевым. Говорю это только мимоходом, к слову, так как для того, чтобы парализовать впечатление, производимое тоном рассказов Сажина, его оценкой Лаврова, как человека, и его освещением рассказываемых событий, нужно было бы противопоставить им собственную оценку личности Лаврова, собственное освещение этих событий, собственный рассказ о том же, но в ином, собственном тоне, – на что я не имею ни досуга, ни нужных материалов, а потому ограничусь лишь кратким исправлением только некоторых, чисто фактических неточностей в том порядке, в каком они читаются в статье Витязева.

Не знаю: писал ли что-нибудь Лавров в ссылке, кроме «*Исторических писем*», которые он подписывал псевдонимом (Миртов) и отсылал в Петербург переписанные чужим почерком (я сам выручал последнее из них у одного вологодского семинариста-переписчика), и притом отсылал всегда со знакомыми людьми, а не по почте. Но если и писал, то, наверное, поступал и с этими рукописями таким же манером, а потому губернатор Хоминский не мог самолично просматривать его статьи, как значится у Сажина[1].

Рассказывая о тайных поездках Лаврова из Кадникова в Вологду с местным ямщиком Кузьмой, Сажин говорит, что на его вопрос: «а как же удалось Лаврову вырваться окончательно из Кадникова?», тот отвечал: «да тот же Кузьма и вывез». Я ничуть не сомневаюсь, что Сажин верно передает ответ Лаврова, но только утверждаю, что этот ответ нисколько не соответствовал действительности. Лавров был джентльмен, не допускавший возможности располагать чужими тайнами, да еще и опасными. А не нужно забывать, что я был в то время просто скрывшимся из-под ареста молодым человеком, за которым не числилось никакого определенного преступления, а потому рассказывать о моей роли в исчезновении Лаврова из Кадникова значило давать в руки правительству данные для обвинения меня в очень определенном

[1] «Он [Хоминский] сам перечитывал большую часть статьей, которые отправлял в журнал «Дело» Шелгунов, а также статьи, пересылаемые Лавровым».

преступлении и притом как раз в тот момент, когда я сидел в Иркутском остроге по подозрению в намерении похитить Чернышевского. Вот почему Лавров, отвечая на нескромный вопрос, дал такое показание, которое послало вопрошателя по ложному следу; и вот почему моя роль в побеге Лаврова долгие годы оставалась неизвестной никому решительно, кроме немногих непосредственных участников в этом деле. Кстати: Лобов не имел никакого касательства к моей поездке за Лавровым[2]; но когда я привез Лаврова в Петербург, то Лобов предоставил свою квартиру для свиданий Лаврова с его друзьями.

Перескакивая через несколько страниц, скажу, что той же скрытностью Лаврова и щепетильным отношением его к своим и чужим тайнам – личным и общественным – объясняется еще одно ошибочное показание Сажина. Сообщая ему о своем намерении уехать из Парижа, Лавров, по словам Сажина, объяснил его так: «Мы с Анной Павловной достаточно натерпелись всяких лишений во время осады Парижа и последующих событий, и больше оставаться здесь не желаем». Я опять-таки не сомневаюсь, что Сажин верно передал слова Лаврова, но опять-таки убежден, что Лавров просто не нашел нужным открыть Сажину истинную причину своего отъезда. Мне он говорил позже в самых определенных выражениях, что Коммуна поручила ему отправиться в Лондон, чтобы всячески уговорить там Генеральный Совет Интернационала поднять серьезную агитацию среди английского рабочего сословия и радикалов в пользу Коммуны. Не следует забывать, что Интернационал в то время еще не распался и даже не колебался, продолжая вызывать надежды одних и опасения других. Помню, как несколько ранее, при самом начале осады Парижа, я сам был избран одним из депутатов Генерального Совета к Гладстону с целью побудить его министерство к вмешательству в пользу скорейшего заключения мира в виду того, что виновница войны – Бонапартовская империя – уже пала, а новорожденная республика охотно шла на все разумные уступки. Правда, Гладстон вежливо отклонил домогательства Совета, но все же с Интернационалом тогда еще разговаривали… В связи с командировкой Лаврова я прекрасно помню его рассказы о разных курьезных обстоятельствах этой поездки. Выехал он с паспортом от Коммуны, который произвел великий соблазн на передовой линии версальцев между полицейскими и таможенными досмотрщиками.

«Это что за паспорт? К кому обращаются выдавшие его люди? Как смеют они рассчитывать на принятие их бумажонки всерьез и на признание их как бы за какое-то правительство?» – спрашивали Лаврова.

> «Чего вы хотите от меня? – отвечал он, – я иностранец, эмигрант без национальных бумаг. Я жил в Париже. Мне понадобилось отправиться в Лондон. Для этого требуется нынче паспорт. Понятно, что я обратился за ним к правительству de facto, не интересуюсь тем, чего оно стоит de jure в глазах остальной, внепарижской Франции и иностранных держав. Не нравится вам мой паспорт, так дайте мне другой, настоящий».

[2] «… за границей неоднократно называли в качестве участника бегства Лаврова артиллерийского офицера Лобова».

Так и сделали. Кстати: в этот именно раз Лавров познакомился впервые с Марксом, к которому он обратился прежде всего со своим поручением, прося представить его Генеральному Совету.

К числу фактических ошибок Сажина я позволяю себе отнести и его рассказ о какой-то «инструкции революционерам», составленной Лавровым и ходившей в рукописи за границей в 1875 году, возбудившей общий смех своей наивной непрактичностью, доходившей поистине «до комизма». Скажу прежде всего, что Лавров, признавая свою некомпетентность в житейской практике, всегда самым решительным образом уклонялся даже от словесного обсуждения практических вопросов, в роде транспортировки изданий через границу, их распространения в России, организации на родине своих сторонников и тому подобное, а тем более от публичных выступлений по таким вопросам. Представляется далее непонятным, почему Лавров, располагая бесконтрольно типографией «Вперед», распространял эту «инструкцию» в рукописи, а не в печатных экземплярах, хотя бы и предназначенных только для близких единомышленников. Но всего непонятнее для меня то, что я слышу теперь впервые об этой «инструкции». Ведь как раз в это время я проживал за границей, будучи связан с Лавровым узами самой тесной дружбы. Когда мы жили в одном городе, то виделись каждый день, а когда в разных – я в Париже, а он – в Лондоне, – то переписывались буквально ежедневно. Лавров не выпускал ни одной вещи, не отсылал ни одного важного письма по общественно-политическому делу, не ознакомив сначала с ним меня, в видах совместного обсуждения. И вот, в Швейцарии, где проживал Сажин, это «смехотворное» произведение Лаврова ходило по рукам, а я, его задушевный друг, никогда не видал его в глаза. Ничего не знали о нем и другие, проживавшие в Париже и ежедневно общавшиеся со мной друзья Лаврова. Не ведали о нем и сотрудники Лаврова в Лондоне. Ничего не слыхал впоследствии о нем и Лавров и тесно друживший с ним Русанов, равно как и проживавшая последние годы с Лавровым, – так высоко чтившая и так горячо любившая своего отца – его дочь, Мария Петровна Негрескул, остававшаяся при нем, в ежедневном тесном общении с ним, до самой его смерти. Я знаю, конечно, что в юриспруденции и в общей логике, при одинаковой добросовестности и компетентности свидетелей, даже одно положительное показание перевешивает любое число отрицательных. Но, признаюсь откровенно, что, в виду всего вышесказанного, мне требуется нечто большее, чем простое показание Сажина на основании слухов того времени, чтобы поверить авторству Лаврова относительно такого произведения, про которое сам Сажин говорит, что «более комичной вещи трудно себе представить».

Рассказывая о своих встречах и столкновениях с Лавровым в Вологде, Париже и Цюрихе, Сажин многократно упоминает о «неустойчивости и несамостоятельности политических взглядов» Лаврова, об отсутствии «революционности» в его темпераменте, о большой «эластичности его мысли», об «изменчивости его решений по общественно-политическим делам под влиянием окружающих», о «разнообразии его программ» и его многочисленных «эволюциях». Что сказать на это? Конечно, Лавров, как и всякий другой великий или ординарный человек, эволюционировал в своем духовном росте. По началу он был просто либерал-конституционалист и великий почитатель Герцена, у которого он поместил (в «Полярной Звезде») свои стихотворения, сыгравшие такую роковую роль в его судьбе. По своей профессии

– ученого философа и историка – он не мог питать слишком крайних мнений и верить в близость стремительных переворотов de fond en comble (полных). Но, наряду с передовыми людьми своего времени, он уверенно ожидал вскоре крупных прогрессивных реформ во всем строе русской жизни, как естественных последствий освобождения крестьян и прочего. Поэтому он без основания смотрел на свою ссылку, как на чересчур строгую кару за свои стихотворения, как на временное ожесточение правительства против всякого либерализма, вызванное выстрелом Каракозова. Вот почему он надеялся на скорое возвращение в Петербург и не хотел затруднять его какими-либо «неосторожностями». Но вместе с тем и в своем временном опальном положении он желал приносить посильную общественную пользу в свойственной ему сфере, то есть в форме литературных чтений, живых бесед с публикой и так далее. Отсюда его желание сблизиться с местным обществом и, конечно, с теми его кругами, к которым он принадлежал по своему рождению, воспитанию, прежнему общественному положению и привычкам. Не забудем, что Лавров не был лишен прав или опорочен по суду и что ссылка его была вызвана лишь подозрительным отношением правительства к его политическим взглядам, а не какими-либо постыдными для него мотивами, вследствие чего в намерении его сблизиться с обществом, сделав нужные визиты, не было ровно ничего претенциозного или искательного, так что ирония Сажина по этому поводу удивляет читателя и объясняется просто тем, что Сажин снова перенесся в свое тогдашнее настроение «нигилиста» 60-х годов. Сажин немножко злорадно замечает, что Лавров потерпел при этом афронт, так как никто не отдал ему визита. Но ведь это свидетельствует лишь о трусости провинциального общества и ничуть не роняет Лаврова в его благородном стремлении делать посильное благое дело. Да и так ли это было? То есть в такой ли полной мере? По крайней мере, я в первый же проведенный у Лаврова вечер встретился у него с двумя земцами из наиболее уважаемых в своем уезде, а после слыхал, что некоторые из видных вологжан, на подобие Иосифа Аримафейского, поддерживали сношение с ним, но «по тайности», в чужих домах, «страха ради иудейского».

Что Лавров не был тогда социалистом, а тем паче социалистом-революционером, это верно. Конечно, как историк, он был знаком с социалистическими учениями, но знал также всю ничтожность их роли в прагматической истории, а как теории, они представлялись ему скорее, как этические системы, как нечто в роде религии, чуждых научной подкладки, чем они и были до Маркса. Экономическая подкладка истории не выступала тогда еще на передний план, вследствие чего Лавров мало интересовался и занимался политической экономией. Сдается мне даже, что этот редактор «Логики» Милля не читал «Политической Экономии» того же автора. Заключаю это из отсутствия у нас с ним в то время всяких разговоров на экономические и социалистические темы. И только очутившись за границей, он увидел, до какой степени экономика и социализм вторгаются понемногу в прагматическую историю, начинают «делать историю», становятся ее заметными факторами. Только там, ознакомившись с Марксом, он познал социализм, как научную систему, и стал ее приверженцем. К слову сказать, так было и со мной: я – натуралист по образованию и приверженец строго-научного мышления – заинтересовался впервые экономикой и социализмом только во время первой моей ссылки, прочитав там Лассаля и Маркса, почему мне так и понятна эволюция Лаврова. Но она произошла не сра-

зу, а в особенности не сразу изменился характер деятельности Лаврова. По началу Лавров и в Париже продолжал надеяться на скорое наступление в России лучших времен и на возможность возвращения на родину полноправным гражданином, вследствие чего избегал вдаваться в крайности. По началу он рассчитывал служить делу прогресса в наиболее свойственной ему сфере, путем литературной пропаганды в легальной русской прессе, наиболее прогрессивных идей из области философии, религии, науки, искусства и политических учений. Практическое учение в политике он считал несвойственным себе делом и всячески отстранялся от него. И только когда жизнь выяснила всю тщетность его ожиданий, и когда внезапная смерть Анны Петровны Чаплицкой опустошила его личную жизнь и побудила его искать забвения в какой-либо более захватывающей деятельности, чем подцензурная литература, только тогда он обратился к заграничной антиправительственной агитации и вступил для этого в сношения с кружком молодых застрельщиков революции, наиболее приблизившихся к нему по своим взглядам. Это и есть цюрихский период его жизни, период основания «Вперед» и резких столкновений по этому поводу с Бакуниным и Россом (Сажиным), – столкновений, составляющих главное содержание воспоминаний Сажина и главный материал его обвинений Лаврова в непостоянстве его взглядов, в перемене программ и так далее. Я провел весь этот период в секретной камере Иркутского острога, а потому не могу свидетельствовать о нем, как очевидец. Замечу только мимоходом, что история пресловутых «трех программ» кажется мне достаточно выясненной самим Лавровым в одном позднейшем заграничном издании[3]. Что же касается до его «уступчивости» взглядам своих сотрудников, в ущерб своим собственным, в редактировавшихся им журналах, то я припоминаю сейчас некоторые из моих бесед с ним по этому поводу.

> «Я считаю своим долгом, – говорил он, – помогать той партии действия, которая имеется в данный момент налицо, хотя бы я далеко не во всем соглашался с ней. Что до того, что я не мог разделять наивной веры «впередовцев» в возможность скорого, внезапного и полного социального переворота? Что до того, что я не могу верить вместе с «народовольцами» в осуществимость путем заговора и так называемого «террора» тоже внезапного, коренного политического переустройства России? Но ведь их конечные идеалы и цели тоже и мои. Ведь их средства действия не противоречат моим моральным принципам, хотя бы они и казались мне иной раз непрактичными и нецелесообразными. Ведь я знал и знаю, что, стремясь к неосуществимому в близком будущем, они все же содействуют попутному достижению хотя бы более скромных, но все-таки прогрессивных, задач более умеренных партий, по известному ироническому закону истории: «Sic – vos, sed – non vobis»[4]? Так что мне до их иллюзий или до наших чисто *тактических* разногласий, которые я старался и стараюсь обходить? Повторяю: я всегда был и буду с теми, которые *действуют*, борются, а не с теми, что сидят у моря и ждут погоды».

[3] Петр Лавров, «Народники-пропагандисты 1873-1878 годов».

[4] «Так для вас, но не ради вас».

Так он и действовал, работая совместно с крайними революционерами-утопистами, хотя по собственным взглядам и был, может быть, ближе к некоторым из нынешних левых кадетов, как я представляю их себе, то есть к людям, признающим в теории социалистический строй за конечный, неизбежный финал развития современных обществ, но считающих, что сейчас нужно сосредоточить все силы на борьбе за ряд более скромных, но более осуществимых политических, экономических и социальных перемен общественного уклада. Кстати: иллюстрируя «уступчивость» Лаврова, Сажин говорит, что благодаря ей он «сам же дал наиболее настоятельное моральное оправдание террора». Где это? Не разумеет ли Сажин ту статью на эту тему в №1 «Вестника Народной Воли», которая, как я достоверно знаю, принадлежала перу Лесевича? Впрочем, мое знакомство с этим журналом было остановлено судьбой как раз на №1. Во всяком случае, мне кажется, что всё вышеизложенное показывает ясно, что «эволюция» Лаврова совершалась все время в одном направлении, а именно – влево, а отнюдь не обнаруживала каких-то постоянных колебаний политической мысли.

Сажин говорит о «сдержанном» отношении Лаврова к Парижской Коммуне, чуждом всякой «восторженности», всякого «увлечения». Но чем же было «восторгаться» и «увлекаться» здравомысленному человеку в этом безнадежном движении с его неслыханной анархической программой? Можно было восхищаться героизмом бойцов Коммуны и скорбеть об их неизбежной гибели, но «увлекаться» их благородным безумием не всякому было под силу. Столь же «сдержанно» относился Лавров, по словам Сажина, и к Интернационалу, а потому уклонился от выступления в печати в защиту Бакунина и его приверженцев. Но именно сочувствие Интернационалу не дозволяло ни одному разумному человеку симпатизировать Бакунину, вся деятельность которого в этом случае явно грозила распадением и гибелью Интернационала. Да и каким образом моральный человек мог сочувствовать и помогать людям, которые публично гремели против централизации, деспотизма, генеральства и самовластия Генерального Совета, а негласно составляли заговор не против правительства, а против своих же товарищей-единомышленников: учреждали тайный союз (L'Alliance), имевший целью секретно, неведомо для массы рядовых членов Интернационала, управлять его деятельностью? Как мог дорожащий своей моральной репутацией человек добровольно вмешиваться в печальную историю шантажирования Любавина Нечаевым ради освобождения Бакунина от обязательства выполнить взятый им на себя и отчасти уже оплаченный литературный труд? Положим, что Бакунин был повинен тут больше попустительством и недостаточно энергичным протестом, но всё же никому не могло быть сладко впутаться в эту скандальную историю. Несмотря на мою тесную дружбу с Марксом, я отказался от дать ему находящиеся у меня в руках документы по этому делу[5], сказав ему: «я не оправдываю вполне Бакунина, но никогда не соглашусь помогать позорить на всю Европу человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении». Так же отнесся к этому делу и Лавров, знавший от меня все подробности любавинской истории и не находивший поэтому возможным для себя ни обвинять, ни защищать Бакунина.

[5] Это сделал после, перед Гаагским конгрессом, Николай Утин.

Немало говорит Сажин о перипетиях русской библиотеки в Цюрихе. Повторяю: свидетелем этих перипетий я не был. Но из добросовестного изложения Сажиным аргументов Лаврова мне кажется, что справедливость была на стороне последнего. В самом деле, кем бы ни была основана библиотека, но поддерживалась она на средства всех русских студентов. На каком же основании небольшая группа инициаторов утверждала за собой исключительное право распоряжаться выбором вновь приобретаемых книг, суживая широту этого выбора и ограничивая его лишь книгами сочувственного ей направления? Обычное русское самоуправство и деспотизм если не правительства, то самозванной, тесно сплоченной, активной группы!.. Конечно, нельзя сочувствовать борьбе с этим самоуправством путем тайного расхищения книг. Но мы знаем из исторического и собственного опыта, что в людских группах, ставших на путь борьбы с законом в какой-либо области, скоро развивается наклонность к отступлению от общепризнанных правил морали и в других областях. Воскресает старое правило: «хорошая цель оправдывает и плохие средства», вследствие чего появляются на сцену всякие хитрости, уловки, мелкий иезуитизм и тому подобное (не говоря уже о крайних примерах, как пресловутые, позднейшие «экспроприации» или акты в товарищеской среде, в роде кулачной расправы со Смирновым). Сам Сажин преспокойно рассказывает, что целью его пробного, временного вступления в редакцию будущего лавровского журнала было, между прочим, и желание получить доступ ко всем связям и адресам редакции в России, конечно, в расчете пользоваться ими после вероятного разрыва. Тот же Сажин с улыбкой рассказывает о ловкой проделке Ткачева, который, поселившись у «впередовцев» в качестве единомышленника и сотрудника, строчил всё это время брошюру против Лаврова, тайно печатая ее во враждебной Лаврову типографии Росса… Ловко, мол, и чертовски забавно[6]. Но, конечно, Лавров, благовоспитанный человек из хорошего общества, 50-ти лет от роду, с твердо установившимися правилами морали и порядочности, не мог быть прикосновенен к пиратским подвигам некоторых из своих приверженцев; и я никогда не вздумал бы заводить речь об этом обстоятельстве, если бы тон рассказа Сажина и отсутствие всяких отговорок не давали повода некоторым наивным читателям вообразить себе, будто бы эти вещи могли совершаться с ведома и попустительства Лаврова (к слову сказать, владельца обширной библиотеки, которую он всегда охотно предоставлял в пользование всякого желающего). Но так как такое предположение насчет Лаврова оказалось, по-видимому, возможным и так как одна мысль о нем приводила в сильное негодование и крепко огорчала его еще и поныне здравствующую дочь, Негрескул, то я счел небесполезным коснуться здесь и этого пункта.

Из моей тесной многолетней близости с Лавровым я вынес о нем понятие, как о человеке железной воли, твердого непреклонного характера, упорного до упрямства в своих взглядах, неуклонного в своих замыслах, любезного и уступчивого только с виду, в мелочах, но ни на минуту не забывавшего своей главной цели и настой-

[6] Не могу не вспомнить по этому случаю восклицания Ткачева по поводу моих слов о том, что я не мог бежать из тюрьмы при одном чрезвычайно удобном случае, будучи связан данным караульному офицеру честным словом. «Что за архаические предрассудки? – взвизгнул Ткачев. – По-моему, честное слово только и годно для того, чтобы добиться какой-нибудь крупной выгоды путем его нарушения». Правда, Ткачев кончил жизнь в сумасшедшем доме, начав с морального помешательства.

чиво пробивавшегося к ней через все препятствия, скрытного с посторонними и неоткровенного беззаветно даже с друзьями, медленно, обдуманно принявшего свои решения и затем не отступавшего от них не на шаг, и при этом – неутомимого работника, умевшего заставить себя трудиться с успехом даже в несвойственной ему области. «Мягкого» в этом человеке было только его светская внешность, благовоспитанные манеры да старомодная «любезность».

На Сажина он производил, очевидно, другое впечатление. Это был, по его словам, «человек чисто отвлеченной мысли, книжник, интересовавшийся гораздо больше абстракциями, чем живой действительностью», притом человек эластичной мысли, «бесформенных общественных воззрений», «совершенно беспомощный в практических и жизненных вопросах», а потому «лишенный самостоятельности как в поступках своей частной и личной жизни, так и при решении практических задач тогдашней общественности», поэтому «он легко поддавался влиянию других лиц», «быстро соглашался с ними», «чем и объясняется ряд противоречий в его поступках» и то, что он «легко изменял принятые решения». Его жизненная непрактичность доходила до того, что «*бедный* Петр Лаврович и не подозревал в то время, что он наделал своими «*Историческими письмами*» и какими глазами смотрят в России на него и русская молодежь и русское правительство». Неудивительно поэтому, что Сажин «с товарищами» могли относиться к программам такого человека только «иронически» и «просматривали» их «только поверхностно», что, впрочем, отнюдь не стесняло строгости их суждений об этих программах.

Оспаривать чужие *впечатления* и построенные на них суждения, понятно, мудрено. Но вот что я хотел бы спросить беспристрастного читателя: не странно ли, что человек такого ума и характера, каким является Лавров в воспоминаниях Сажина, так долго стоял во главе движения, называвшегося по его имени, что он целые годы издавал журнал, а потом газету, выходившую с аккуратностью пыпинского «Вестника Европы»? Что его приверженцы в России были настолько сильны авторитетом его имени, чтобы собирать из мелких крох многочисленных сочувственников достаточные средства для поддержки этих изданий, для их транспортировки через границу и для распространения их на родине? А когда он вынужден был отойти от этого дела, то созданная под его эгидой храмина быстро распалась мелкой пылью. Кстати: обстоятельства того времени очень походили на нынешние. Шла война и тоже «освободительная». Рядовые «впередовцы» («лавристы» тож) находили, что, в виду живого военного одушевления и сравнительного равнодушия публики ко всему другому, следует приостановить на время партийные издания. Напрасно Лавров горячо уговаривал их не делать этого, говоря, что военные успехи и неудачи не исчерпывают еще всех интересов страны; что, освобождая другие народы, не худо помнить и о собственном отечестве; что нужно думать не только о войне, но и о будущем, послевоенном времени; что не следует опускать старого, заслуженного знамени и покидать хорошо налаженное дело; что надо «постараться перештурмовать» как-нибудь трудное время, так как продолжать легче, чем начинать или возобновлять упадшее сызнова.

Всё было напрасно. Приостановка издательства была решена. И Лавров резко разорвал с бывшими товарищами с гневом и отчаянием в душе. Кончилась война. Но «Вперед» не восстал из мертвых. И самое имя «впередовцев» – alias «лавристов» –

изгладилось мало-помалу из памяти людей… Мне скажут, может быть, что «Вперед» был создан и поддерживался молодыми, энергичными и практичными сотрудниками Лаврова в роде Смирнова, игравшего при Лаврове приблизительно ту же роль, что Росс при Бакунине. Но где эти люди? Что стало с ними без Лаврова? Покойный Смирнов был умный, деятельный, неутомимый, энергичный помощник. Покойная Идельсон тоже была ценная сила, так же, как и покойный Подолинский. Но почему же, разорвав с Лавровым, они отошли понемногу от общественных дел и погрузились в полную неизвестность, оставаясь однако всё время хорошими, честными, просвещенными передовыми людьми? Почему все умные, энергичные, дельные сотрудники Лаврова внутри России, в том числе и здравствующий поныне автор пресловутой «Хитрой Механики», тоже потонули после разрыва с Лавровым в полной неизвестности? Все они тоже остались хорошими, честными, деятельными людьми, по крайней мере те пять или шесть главных «лавристов», о которых я имею сведения, но все они успокоились на лоне обывательщины: служат в банках, в страховых обществах, в госпиталях и тому подобном, иные работают в таких почтенных учреждениях, как Вольное Экономическое Общество и новейшие кооперативы, но все они давно перестали быть членами «воинствующей церкви» и не принадлежат к «действующей армии» друзей и приверженцев нового строя. А Лавров остался на бреши, в ожидании нового поднятия революционной волны. И когда «Народная Воля», расстроенная и потрясенная вследствие сцепления множества причин и, между прочим, центральных предательств, сочла нужным реорганизовать свои силы за границей вокруг солидного журнала, она обратилась за помощью к старому ветерану Лаврову, и он немедленно отозвался на призыв и долго, усердно и успешно поддерживал новое издание, новую действенную партию, новое знамя, пока они не пали под ударами таких факторов, с которыми нельзя было бороться из-за границы.

А Лавров снова остался на страже революционных заветов в ожидании подхода новых молодых сил… И так стоял он, как могучий кряжистый дуб, как «светоч, возженный наверху горы», до самой своей смерти, окруженный почтением и симпатиями русских и иностранных социалистов, шедших к нему за участием, советом и посильной помощью и никогда не встречавших отказа в этом со стороны этого несокрушимого человека долга и идеала… Спрашиваю опять: не странно ли все это для человека такого ума и характера, каким является Лавров у Сажина? По-моему – очень странно. Но, конечно, возможно и то, что Сажин просто ошибся в своей оценке личности и деятельности Лаврова.

Ответ Герману Лопатину

Появление моих воспоминаний о Петре Лаврове вызвало бурю негодования среди его поклонников. Особенно много пришлось перенести упреков Василию Ивановичу Семевскому, как редактору журнала «Голос Минувшего», где они были напечатаны. Возражения на них, написанные Германом Лопатиным, появились спустя полгода под названием «К рассказам о Петре Лавровиче Лаврове». Я тогда же написал ответ Герману Лопатину и передал его Семевскому, но последний, взяв его, в то же время сказал, что напечатать его он не может, потому что это снова вызовет нарекания, да, наконец, товарищи его по редакции не согласятся печатать. Это было в 1916 году и статья эта где-то затерялась, так что теперь я восстанавливаю ее по памяти.

Герман Лопатин недоволен *тоном* моих рассказов о Лаврове и желал бы сам написать в своем *собственном* тоне, с *собственным* освещением и так далее, словом в *собственном*, а, так сказать, не объективно *по возможности*, но, к сожалению, у него нет времени для этого и «нет материалов нужных под руками», а я думаю, что и вообще-то их нет и не было у него.

Перехожу к разбору его возражений в том порядке, как они написаны у него.

1. Статьи, написанные Лавровым за его подписью и помещенные в «Вологодских Губернских Ведомостях», конечно, не могли быть напечатаны без санкции губернатора; мало этого, некоторые его статьи философского содержания тоже шли через канцелярию губернатора, о чем Шелгунов и я знали от Н. В. Кедровского, заведовавшего нашими делами в канцелярии губернатора. В ссылке Лавров много писал и печатал в тогдашних «Отечественных Записках» Некрасова и в «Деле» Благосветлова.

2. Не сомневался и не сомневаюсь, что Лопатин сопровождал Лаврова в его побеге. Последний решительно неспособен был выехать один. В своем вопросе, «как он вырвался из Кадникова», я подразумевал, как он именно выехал, на каких лошадях, и получил ответ: «да тот же Кузьма вывез». Мне и теперь кажется, что это был лучший способ выбраться из города. Всякий другой способ, как наемка лошадей в Вологде или покупка лошадей, скорее всего дадут возможность жандармам напасть на след бежавших.

3. Среди членов Коммуны интернационалисты составляли ничтожное меньшинство, в котором Серрайе и Франкель были приверженцами Маркса и вели с ним переписку; кроме этого Елизавета Дмитриевна (еврейка) была специально прислана из Лондона, между прочим, для информации. Из всех членов Коммуны Лавров знал только одного Варлена и знакомство это не носило какого-либо близкого характера. Сам Лавров в то время был по своим политическим и социальным верованиям не больше не меньше, как либерал, и к Коммуне относился очень сдержанно.

«Но чем же было, как говорит сам Лопатин, восторгаться и увлекаться *здравомысленному* (курсив мой) человеку в этом *безнадежном* движении с его неслыханной анархической программой?..., но увлекаться их благородным безумием не всякому

было под силу»… И мне Лавров на мой вопрос об отношении его к Коммуне отвечал: «что же, посмотрим, как рабочие будут справляться с управлением государственной машины, – это интересно!! Пускай попробуют». И это всё. И вот вдруг такому человеку будто бы Коммуна поручает ехать в Лондон и хлопотать там у Генерального Совета… Своих-то людей у ней никого не нашлось, и поэтому она просит постороннего человека похлопотать за нее, тем более сам-то Генеральный Совет или гражданин Маркс этого не понимают и в толк взять не могут, что Коммуну нужно поддержать. Я встречал многих членов интернационалистов-коммунаров в Швейцарии и в Лондоне после Коммуны в эмиграции, но я никогда не слыхал от них об этом поручении, да и о самом Лаврове времени осады Парижа и Коммуны. Членом Интернационала до Коммуны Лавров не был, он не принадлежал ни к какой секции его, а после Коммуны Интернационал во Франции был безусловно запрещен. Про Лаврова его почитатели рассказывали тоже такую басню, что будто бы он во время осады командовал батареей!! Это тот Лавров, который, по его словам, во всю жизнь даже ни разу не стрельнул из пушки!!

Мы просто страдаем таким недостатком: уж если среди нас нашелся человек сколько-нибудь выдавшийся в какой-нибудь части, то мы готовы изобразить его, да и изображаем, способным делать всё, что угодно. Без всякого сомнения, Лавров в *известной* сфере был крупный человек: в философии, в истории мысли, в научной области, но и только. Словом, я вполне уверен, что Лавров сказал мне, а Чаплицкая подтвердила, что они едут в Лондон по причинам личного характера и между прочим, как он говорил: «я могу там что-либо писать о Коммуне». Но писать о Коммуне тогда он не стал, и прошло чуть не десять лет, как он написал свою книжку о ней, но в эти десять лет Лавров проделал колоссальную эволюцию в своем политическом и социальном мировоззрении.

4. Все-таки я утверждаю, что я видел и читал «Инструкцию революционерам», составленную Лавровым. Мне давал ее читать Кравчинский, которому со своей стороны передал Гольденберг, который имел постоянные сношения с Лавровым. По данному случаю Лопатин говорит, что Лавров, «признавая свою некомпетентность в житейской практике, всегда самым решительным образом уклонялся от практических вопросов»… «будучи связан с Лавровым узами самой тесной дружбы, когда мы жили в одном городе, то виделись каждый день, а когда в разных: я – в Париже, а он – в Лондоне, то переписывались буквально ежедневно (очень интересно, где эта переписка теперь хранится?)[1]. Лавров не выпускал в печать ни одной вещи, не отсылал ни одного важного письма по общественно-политическому делу, не ознакомив сначала с ним меня в видах совместного обсуждения». Словом, Лавров шагу не делал без того, чтобы не посоветоваться с Лопатиным. И вдруг он ничего не знает об инструкции; ну очевидно, что ее не было и что Сажин всё это выдумал. А в то же время Лопатин говорит, что Лавров был «скрытен с посторонними, неоткровенен безаветно даже с друзьями». Возможно, что промахнулся человек, ну и молчит о своем промахе, а может и нечто другое. Известный ревизионист немец Бернштейн

[1] Кстати, Лопатин уже после Шлиссельбурга говорил моему приятелю, известному Гильому, что у него сохранился весь его архив и что там, между прочим, имеются документы, касающиеся Бакунина. Но когда Гильом попросил их осмотреть, то Лопатин отказался показать их, потому что архив не нашелся.

написал статью, в которой говорит о Бакунине, Нечаеве. Статья была написана по-немецки, а ее перевел Лопатин, по словам Богучарского, для «Былого», где она и была помещена. Так вот в этой статье Бернштейн говорит: «один из близких друзей Карла Маркса, Герман Лопатин, сообщал ему» то-то и то-то. – А Герман Лопатин переводит так: «один из *самых* (курсив мой) близких друзей Карла Маркса» и так далее. Немецкий-то язык Лопатин все-таки должен был знать, ведь он переводил «Капитал» Маркса и даже, кажется, «исправлял его».

5. Весь этот пункт наполнен объяснением, оправданием той эволюции, которую проделал Лавров от либерала-конституционалиста до почти анархизма. Лопатин не опровергает моего рассказа и приводимых мной фактов, так что это избавляет меня от возражений. Замечу только, что эволюция Лаврова была уже чересчур скоропалительна. Посмотрите: еще в сентябре 1872 года Лавров упорно и с жаром защищает свою первую («либерально-конституционную»), земскую программу, лично мне говорил, что он решил издавать журнал, что едет в Цюрих защищать и спасать учащуюся молодежь от моей развращающей революционной пропаганды, что он прекрасно знает и понимает, что мы, бакунисты, стремимся вызвать «новую пугачевщину» и уничтожить весь существующий социальный строй и так далее; а через два месяца, то есть в ноябре, по приезде в Цюрих предлагает мне, а вместе со мной и моим товарищам и даже Бакунину, издавать вместе журнал. Да, вот какая «эволюция»!

Еще несколько слов по этому пункту. Кедровский, как умный человек, прекрасно знавший всё вологодское общество, прекрасно знал, что оно не пожелает иметь знакомство со ссыльным, хотя бы и полковником, ученым и прочим, и поэтому предупреждал Лаврова о том, что может произойти. А я поддерживал Кедровского. Лопатин, между прочим, говорит, что он встретил у Лаврова двух видных земских деятелей. Да в Вологодской губернии тогда и земства еще не было, а введено оно было чуть ли не через год после бегства Лаврова. Это выходит, что господин Лопатин «переборщил» из усердия защитить приятеля!

Кстати: Лопатин говорит, что он прекрасно понимает всю эволюцию, пережитую Лавровым, что он сам, «натуралист по образованию и приверженец строгого научного мышления, заинтересовался впервые экономикой и социализмом только во время моей первой ссылки, прочитав там Лассаля и Маркса, почему мне так и понятна эта эволюция». Не могу не рассказать к характеристике Лопатина следующего факта: как-то после Шлиссельбурга Лопатин приезжал в Нижний Новгород, был у Веры Николаевны Фигнер, которая тогда жила вместе с нами, с моим семейством. В это время к нам пришел известный социалист-революционер Лев Павлович Никифоров. И вот между ним и Лопатиным завязался спор по аграрному вопросу. Конечно, Никифоров говорил о том, что вся земля должна принадлежать трудящимся, крестьянству. Лопатин решительно восстал против отобрания земли у помещиков и передачи ее крестьянам. Тут была и несправедливость и грабеж и так далее. Выходит, что Лопатин и сам-то еще не вполне эволюционировал в сторону социализма, а ведь это было в 1904-1905 годах.

Я говорил о сдержанном отношении Лаврова к Парижской Коммуне, а Лопатин подтверждает мои слова с прибавлением разъяснения причины его сдержанности: «чем же было восторгаться, увлекаться *здравомысленному человеку в этом безнадеж-*

ном движении с его неслыханной анархической программой» (курсив мой). Со временем у Лаврова переменился взгляд на Коммуну и он стал к ней относиться более благосклонно, а тогда еще ему было «не под силу». К Интернационалу он относился тоже сдержанно, и Лопатин подтверждает это, но дает только свое собственное этому объяснение. Лавров в своем письме ко мне прямо говорит, что он стоит в стороне от Интернационала и поэтому всё это дело не является для него близким.

Говорить о деятельности Бакунина в Интернационале, о его распре с Марксом, конечно, здесь не место и невозможно по обширности темы. Также и о Нечаеве. Но при этом считаю нужным сделать два замечания: Во-первых, утверждаю решительно, что в мое время, то есть с 1870 до 1876 года, среди нас, самых близких лиц к Бакунину и работавших вместе с ним, *не существовало никакого* «заговора против своих же товарищей единомышленников», и *никакого* «тайного союза, имевшего целью секретно, неведомо для массы рядовых членов Интернационала управлять его деятельностью». Во-вторых, из переписки Маркса с Энгельсом ясно видно, что в деле Бакунина-Нечаева-Любавина главным информатором Маркса был Лопатин, который ныне пишет, что «несмотря на мою тесную дружбу с Марксом, я отказался наотрез дать ему находящиеся у меня в руках документы по этому делу, сказав ему: «я не оправдываю Бакунина, но никогда не соглашусь (!!!) помогать позорить на всю Европу человека, игравшего такую роль в нашем революционном движении». Вообще следует сказать, во всем этом эпизоде о переводе «Капитала» Маркса роль Лопатина была очень и очень некрасива.

7. О библиотеке скажу кратко: библиотека существовала на средства, главным образом, членов библиотеки, которых было 46 человек, а не 35, как я ошибочно говорил раньше (теперь я имею поименный список всех членов). Из не-членов библиотеки постоянных читателей было немного, а другие были читателями временно. Затем книги покупались не только по указанию членов, но и читателей, и не было случая, чтобы кому-либо отказали в приобретении указанной им книги.

Петр Лавров при свидании со мной в Париже перед своей поездкой в Цюрих, как я уже говорил, заявил мне, что он решил спасти молодежь от моего развращающего влияния; что он будет бороться со мной не на живот, а на смерть. И вот, приехав в Цюрих, после неудачной попытки издать вместе с нами журнал, он с «товарищи» очень скоро начал эту кампанию, иногда прямо открыто, а иногда ограничивался только благословением и молчаливым одобрением действий своих приближенных. Постараюсь указать ряд фактов, подтверждающих мои слова. Вот столкновение Соколова со Смирновым, короче говоря, драка между ними. Абсолютно не было никаких указаний на какую-либо прикосновенность мою к этому делу, и в действительности, как это теперь все знают, я был противником того, чтобы Соколов вел какие-либо переговоры со Смирновым. Но Лавров, не сделав никакой попытки исследовать дело, прямо на собрании заявил о своем согласии с господами Подолинским, Смирновым, Идельсон, что во всем этом деле виноват Росс, что Соколов – орудие в его руках. После этого Лавров писал даже в Россию Николаю Константиновичу Михайловскому о том, что делается здесь известная группа лиц, прибегает к кулачной расправе с противниками. Дальше, после покушения на меня молодых студенток, известных под именем «Фричей», с Завадской во главе, устроилось тотчас же собрание приверженцев Лаврова, на котором он приветствовал новую Шарлотту Корде. Затем

начинается травля и выслеживание меня друзьями Лаврова с тем, чтобы меня избить, изувечить; и действительно, им удалось захватить меня у столяра в мастерской, где я делал с ним кассы и реалы для нашей типографии. Но это им не удалось, хотя их было одиннадцать человек: Подолинский, Филиппов, Рихтер, Кулябко-Корецкий, Маурер, Мандельштам и так далее. Друзья мои выручили меня. Такая травля продолжалась месяца два, и я положительно не мог никуда ходить один без сопровождения кого-либо из своих товарищей. Наконец, финалом всего этого была командировка Подолинского, Маурера и Шульца к цюрихскому полицей-директору Пфеннингеру (он устроил арест и выдачу Нечаева за 35 тысяч франков) с ходатайством от имени русских о высылке меня из Цюриха. Сам же Лавров просил своего знакомого швейцарца, советника Винтертурского правительства повлиять на Пфеннингера. Попытка и эта окончилась неудачей. Еще одна и, сколько помнится, последняя попытка выкурить меня из Цюриха: студент-медик Васильев и Александр Кропоткин, брат Петра Кропоткина, явились ко мне тоже от русских с предложением добровольно уехать мне из Цюриха. Но ничего не помогло: я остался в Цюрихе. Во всех этих эпизодах главнейшую роль играли ближайшие друзья Лаврова, и, конечно, он прекрасно знал, что затевалось и что делалось; а всё это делалось на глазах 100-150 русских, живших тогда в Цюрихе около политехникума и университета.

Борьба за библиотеку тоже, очевидно, входила в общий план уничтожения всякого влияния бакунистов на молодежь, жившую тогда в Цюрихе. Лавров с товарищами прекрасно понимали и учитывали всё огромное значение библиотеки. Вырывая ее из рук бакунистов, они лишали их почвы для деятельности, и все рассуждения о свободе, деспотизме и других либеральных фразах служили только для привлечения к себе молодежи и других разных лиц.

Подтверждением этих моих соображений служит еще и факт обращения Бакунина с предложением Лаврову устроить суд для разбора всех столкновений, чтобы определить, кто прав, кто виноват; но Лавров решительно отказался от суда. Среди окружающих Лаврова лиц, принимавших деятельное участие в борьбе против меня, студентов почти не было и, кажется, только группа студенток под именем «Фричи» затесалась в эту компанию, по-видимому, по недоразумению и недомыслию; ведь группа эта считала себя бакунистками, но впрочем это нисколько ей не мешало работать у Лаврова и на Лаврова. Между остальными были: богатый помещик, судебный следователь, два инженера, земский статистик и так далее.

Все рассуждения Лопатина о насилии, иезуитизме и прочем и прочем целиком можно приложить к Петру Лаврову с «товарищи».

8. «Оспаривать чужие *впечатления* и построенные на них суждения, понятно, мудрено», – говорит Лопатин и говорит совершенно правильно, и поэтому всякий из нас остается при своем мнении. Одно только надо сказать, что приводимые мной факты из жизни Лаврова и о которых Лопатин умалчивает, далеко не подтверждают словесную характеристику его, делаемую Лопатиным.

Замечу еще одно: Лопатин говорит, что «Лавров так долго стоял во главе движения, называвшегося его именем», а с прекращением издания «Вперед» всё рассыпалось и все лавристы исчезли, «перешли на службу в банки, земства, кооперацию». Лавров стоял во главе журнала, но не во главе движения. Укажите, кто, где и сколько последователей Лаврова, «лавристов», находилось в центральных тюрьмах, каторге,

Сибири, поселении? Их там не было, а если и были, – то единицы. Все эти прекрасные заведения царской власти наполнялись не «лавристами».

Кончаю, мое возражение Лопатину очень затянулось, прошу извинения у читателя, что кое-где встречаются повторения одного и того же. Чувствую и вижу, что написано плохо, отрывисто, но восстановлять то, что было пятьдесят лет тому назад, и трудно и охоты нет, да и польза-то сомнительна.

Написано в 1916 году, опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

III. Революционные дела

Воспоминания о Сергее Геннадьевиче Нечаеве (1870-1872 года)

В мае 1870 года я приехал в Женеву из Америки по вызову Нечаева при посредничестве моего приятеля Семена Серебренникова, жившего тогда в Швейцарии и знавшего его еще в России, тогда как я совсем не знал Нечаева, да ничего и не слыхал о нем до этого времени, потому что в 1869-1870 годах я жил в Америке, куда бежал из ссылки, а его деятельность как-раз и происходила в это время. По приезде в Женеву я не нашел там Нечаева. Он скрывался в горах Сен-Мориса у итальянских революционеров. Швейцарские власти, по настоянию русского правительства, усиленно его разыскивали с целью арестовать и выдать русской полиции, как обвиняемого в уголовном преступлении, именно – в убийстве студента Иванова. Недели за три до моего приезда мой приятель Семен Серебренников был арестован по ошибке вместо Нечаева и просидел в тюрьме недели две.

Перед самым моим приездом произошла ликвидация всех связей и сношений между Бакуниным и его друзьями и Нечаевым, в результате чего Нечаев остался один со своим приближенным Владимиром Серебренниковым[1], а все остальные эмигранты (Огарев, Озеров, Жуковский, Элпидин и другие) во главе с Бакуниным отшатнулись от него и прервали с ним всякие сношения. Вся эта история в подробностях стала мне известна гораздо позже, а пока я только догадывался о происшедшем разрыве благодаря тем сведениям, которые имелись у Семена Серебренникова.

Нечаев, узнавши о моем приезде, стал торопить Семена Серебренникова о свидании с ним. Добраться же до него было трудновато в виду усиленной слежки за всеми русскими, жившими тогда в Женеве, наших отечественных шпиков. Итальянские революционеры-мадзинисты владели прекрасной организацией, имели всюду своих агентов, свои убежища, свою почту, свои средства сообщения почти всюду во французской и итальянской Швейцарии. Вот они и укрывали Нечаева, когда швейцарская полиция совокупно с русской разыскивала тогда его. Найти его возможно было только при посредстве их. Однажды вечером пришел к нам итальянец Цампиерини (Цампа, как его звали русские эмигранты) и предупредил нас быть на другой день рано утром на пароходной пристани, при чем дал нам пароль, сказав, чтобы мы следовали за теми лицами, которые будут предъявлять нам этот пароль. На поездку на пароходе и на лошадях в фаэтоне мы употребили часов двенадцать. Во время этого пути мы останавливались раза два в гостиницах, где нас обильно кормили и поили. Всё это время оба мы находились под покровительством мадзинистов-революционеров. После свидания с Нечаевым мы возвращались обратно тем же способом и путем.

[1] Серебренниковых было двое: один Семен Иванович, а другой Владимир, при чем Владимир остался до конца верен Нечаеву, а Семен с ним разошелся.

У Нечаева пробыли чуть не полтора суток, большая часть которых ушла на препирательства между ним и Семеном Серебренниковым. Последний предъявил целый ряд обвинений к первому за его недоверие к товарищам по работе, обманы, эксплуатацию их и вообще за «нечаевщину», как потом стали говорить всюду. Приводилось много фактов, на которые Нечаев ничего не отвечал. Мне же пришлось «слушать всё это и поучаться».

После ухода Семена Серебренникова мы остались одни. Нечаев старался ослабить впечатление от предыдущего разговора, говорил о преувеличении и ложном освещении фактов, уверял, что он относится к товарищам с доверием, что иначе нельзя и работать и что в наших сношениях никакой «нечаевщины» не может быть, что совместная наша работа очень скоро меня убедит в его правдивости. В виду этого между нами состоялось соглашение попробовать вместе работать. На первое время он предложил мне ведать и руководить русскими революционными делами исключительно за границей, где имеется якобы несколько групп в разных городах и, главным образом, среди учащейся молодежи. Прежде всего я должен был заняться женевскими делами, с которыми в подробностях меня познакомит Владимир Серебренников, самый близкий и преданный человек Нечаева, которому последний немедленно сообщит о наших решениях.

Вся русская эмиграция в Женеве в то время делилась на две группы: одна состояла из приверженцев Бакунина, который жил тогда в итальянской Швейцарии в городе Локарно, – это были Огарев, Жуковский, Озеров, Семен Серебренников, Элпидин и другие, а другая – Утин, Трусов, Бартенева, Левашева. Обе эти группы входили в Интернационал. Первая группа входила в секцию «Альянса», а вторая образовывала «Славянскую секцию»; эта последняя страшно враждовала с Бакуниным и Нечаевым, которого они в особенности позорили, ругали и клеветали. И вот я узнал от Нечаева, что секретарем этой последней секции и самым близким лицом Утина, главаря секции, состоит некто иной, как Владимир Серебренников, самый близкий, интимный товарищ его, как я говорил выше, и которого Нечаев сумел провести во враждебный лагерь и сделать его там, так сказать, чуть не руководителем дела.

На другой же день по моем возвращении в Женеву ко мне пришел Владимир Серебренников, с которым я впервые тут познакомился. Из его подробного рассказа о «делах» в секции, секретарем которой он состоял, ясно было видно, что его главная обязанность была держать Нечаева в курсе всего, что говорилось и делалось в группе Утина, у которого была своя небольшая типография и печаталась небольшая газета «Народное Дело». Под прикрытием этих же дел Владимир Серебренников по возможности устраивал дела Нечаева. Так, например, он делал поездки по городам Швейцарии и Германии якобы по поручениям секции, а на самом деле он исполнял поручения Нечаева за счет капиталов Утина. Да, наконец, и самые «дела»-то представляли собой такую пустяковину, такую мелочь, что не только делать их, а и смотреть на них тошно. Поэтому я тогда предположил всю эту затею ликвидировать, о чем и сказал Владимиру Серебренникову, а когда увидел Утина, то и ему дал понять, что я хорошо знаю деятельность всей его группы; конечно, он был поражен и сильно взволнован.

Пребывание Нечаева в Швейцарии становилось день ото дня всё труднее и опаснее, и, наконец, он вынужден был оставить ее и переехать в Лондон, а разрыв с

Бакуниным и его друзьями окончательно отрезал его от всей живой революционно настроенной эмиграции. Через Бакунина же у него имелись кое-какие сношения и связи с Интернационалом, но и они порвались. Владимир Серебренников исчез вместе с ним, а я остался заведывать неизвестно какими заграничными делами; сношения с ними у меня тоже порвались. Вся эта историйка разыгралась в июне-июле месяце. Так окончилась моя первая попытка работать вместе с Нечаевым.

В Лондоне Нечаев приступил к продолжению издания газеты «Община», первый номер которой был им выпущен еще в бытность его в Женеве, но это продолжение (был выпущен второй номер) было настолько неудачно, что не только не получило никакого распространения, но самими авторами-издателями полностью уничтожено. С этого же времени он, кажется, остался совершенно один, потому что его товарищ Владимир Серебренников исчез, уехал в Россию.

Июль месяц 1870 года был бурным годом в Западной Европе: наступила франко-прусская война, сильно взволновавшая весь политический мир, а затем и весь остальной. Нечаев скоро очутился в Париже и прожил в нем во время его осады немецкими войсками, то есть до конца января 1871 года. Как только отчасти была снята осада города и восстановилось сообщение его с остальным миром, Нечаев тотчас воспользовался этим и вышел пешком из него вместе со многими другими разными лицами. Немецкие военные власти, контролировавшие выход жителей из Парижа, имели от своего начальства предписание немедленно задержать Бакунина, Нечаева и еще кое-кого из русских эмигрантов, если бы они оказались где-либо в пределах их досягаемости. Нечаев этого не знал, но тем не менее совершенно благополучно прошел через немецкий кордон и спокойно добрался до Швейцарии. В начале марта он был уже в Цюрихе, где я тогда жил, и частенько виделся со мной. На этот раз я имел полную возможность познакомиться с ним гораздо ближе, да и обстановка была более благоприятна для этого. Он много рассказывал, что и как делалось в Париже во время осады, какая борьба велась за власть революционной партией (главным образом, последователями Бланки с ним во главе) с правительством, состоявшим тогда из либералов и очень умеренных республиканцев. Как-то странно было слышать из уст революционера защиту таких деятелей, как Тьер, Гамбетта и других такого же типа, а он их не только защищал, но ставил в пример для других.

В течение двух недель мы по нескольку часов проводили вместе и постоянно в оживленных разговорах и спорах. Вот тут-то я увидел, что знания Нечаева довольно ограниченны и вообще его умственный багаж далеко отставал от его других громадных качеств и достоинств. Он обладал колоссальной энергией, фанатической преданностью революционному делу, стальным характером, неутомимой трудоспособностью и деятельностью. В своей продолжительной жизни я очень много знал разных революционеров, но среди них не встречал ни одного, кто бы обладал этими качествами в такой же степени, как Нечаев. С этой стороны он был чрезвычайно крупным, чрезвычайно выдающимся человеком. Такое мнение о нем у меня сложилось на основании всех тех довольно многочисленных рассказов лиц, имевших с ним непосредственные связи и дела, а также и на основании моих личных впечатлений и столкновений с ним.

В то время в Цюрихе был мной организован кружок, к которому принадлежали почти все учащиеся, как мужчины, так и женщины, была библиотека, хотя еще

небольшая, но хорошо подобранная в смысле революционной пропаганды и служившая притягательным центром для русских, приезжающих из России; завязывались сношения с Россией; оттуда приезжали люди только затем, чтобы познакомиться с нами и завязать сношения. Кроме того, у меня были приятели-студенты в Мюнхене и в Вене. Наконец, тогда я уже был в известных отношениях с Михаилом Александровичем Бакуниным, которого все мы звали или «стариком» или Мишель; это последнее имя его употреблялось также среди всех революционеров, близких к нему. Нечаев всё это очень хорошо знал и учитывал, поэтому он настоятельно предлагал мне соединиться с ним для дальнейшей деятельности. Я же хорошо знал со своей стороны, что он совершенно один и все его связи порваны, что за ним ни за границей, ни в России никого нет. Конечно, он пытался вначале отрицать это, но затем только отмалчивался; его, конечно, я также очень хорошо знал и понимал, что он сам лично представлял собой в некотором отношении огромную силу и в то же время в другом смысле огромную опасность, почему я к его предложению относился очень сдержанно. Я прекрасно знал, как отрицательно и недружелюбно относились к его приемам и способам деятельности среди молодежи в России; да и в Цюрихе если бы стало известно, что я сошелся с ним, то мой кредит был бы сильно подорван. Наконец я не знал еще, как к этому отнесется Бакунин, а без всякого сомнения и он и кружок были бы мной осведомлены прежде, чем я окончательно согласился бы на предложение Нечаева. – Революция 18-го марта[2] в Париже прервала наши переговоры: я решил ехать в Париж, а Нечаев остался здесь.

По возвращении моем из Парижа после подавления Коммуны я опять свиделся с Нечаевым в Цюрихе. Он в то время нашел себе здесь работу писать вывески для магазинов и разных торговых и промышленных заведений. Он был живописец и писал их очень хорошо. Жил он с паспортом серба, и кроме меня никто не знал его настоящей фамилии; квартира его была в предместье города. Он обыкновенно приходил ко мне утром очень рано, идя на работу, а работал он от 6 часов утра до 6 вечера. На этих свиданиях мы уславливались о месте встречи где-нибудь за городом, если у нас предполагались продолжительные разговоры.

Выше я уже упоминал, что всю осаду Парижа прусскими войсками в 1870-1871 годах он прожил в нем, а по выходе оттуда написал и послал в «Неделю», которая издавалась в Петербурге Гайдебуровым, несколько корреспонденций-писем. Так вот по поводу этих писем я по его просьбе провел переписку с Гайдебуровым через студенток. Гайдебуров напечатал, не помню теперь, сколько писем, а затем сообщил мне, что о политической и общественной жизни письма его по цензурным условиям печатать в журнале он не может и просит писать о театрах, концертах и прочем. Нечаев не стал писать, отказался. Конечно, Гайдебуров не знал и не подозревал в авторе писем Нечаева.

Этим же летом в Цюрихе появились Смирнов, Эльсниц и Гольштейн – студенты московского университета, которых пристегнули к нечаевскому делу. Они были исключены из университета по так-называемой Полунинской истории. Избегая судебного преследования, они решились бежать из России, чтобы докончить свое образование в каком-либо заграничном университете и остановились на Цюрихе.

[2] Парижская коммуна (прим. 2026)

Более выдающимся среди них был Смирнов и скорее склонился к политической и революционной деятельности. Я скоро с ним сошелся, он вошел в наш кружок, заинтересовался нашей библиотекой и принял на себя обязанности секретаря.

Нечаев лично никого из них не знал, но теперь с ними познакомился; в это же время он познакомился с Иваном Михайловичем Пономаревым, студентом-химиком, который впоследствии был профессором и деканом харьковского политехникума. Из этого знакомства Нечаеву не удалось извлечь никаких положительных результатов, так велика была боязнь и отвращение «нечаевщины». Все они отшатнулись от него, да и он сам в это время перестал интересоваться ими, исключая одного Пономарева, которого он привлек к себе и взял от него подписку в том, что он, Пономарев, обязуется служить и исполнять беспрекословно все распоряжения комитета «Народной Расправы» с угрозой подвергнуться жестокой каре за уклонение. Мы об этом эпизоде никто ничего не знали, и только впоследствии, во время ареста Нечаева, Пономарев рассказал мне это, опасаясь, чтобы этот документ не попал в руки III отделения в Петербурге.

Нечаев, неуклонно и настойчиво преследуя мысль связаться со мной, а через меня с нашим кружком и с Бакуниным для предполагаемой деятельности, снова предложил мне обсудить этот вопрос. Меня самого привлекала мысль связаться с ним, видя в нем огромную революционную силу; но в то же время я думал о том, как бы гарантировать себя и самое дело от убийственных приемов его, от так называемой «нечаевщины». В виду этого я счел нужным привлечь к нашим переговорам Смирнова, а из женщин рассчитывал привлечь студенток Надежду Николаевну Смецкую и Софью Лаврову, однофамилицу Петра Лаврова. Обе эти женщины были в нашем кружке и обе они были самыми выдающимися среди всех студенток в Цюрихе по своему уму, образованности, знаниям, энергии, преданности делу. В Цюрихе за все время того периода, то есть с 1868 по 1873 год, они всё время стояли впереди всех, а я ведь знал всех живших там. Бакунин тоже их знал и тоже высоко их ценил, даже Петр Лавров высоко их ставил, хотя он и говорил, что они относятся к нему отрицательно. На мои заговаривания с ними о Нечаеве я встретил у них решительный отпор и нежелание иметь с ним дело. Прямо вопрос о связи с Нечаевым я не решался ставить перед ними, но говорил предположительно. Со Смирновым очень скоро договорился; он вполне согласился на мое предложение войти в связь с Нечаевым и в дальнейшем во всё время переговоров горячо поддерживал меня.

Нечаев ничего не возражал против Смирнова, и таким образом переговоры наши велись втроем. На втором или третьем свидании мы договорились до того, что я поставил вопрос о том, что я, в виду моих близких отношений с Бакуниным, обязан ему сообщить всё то, к чему мы пришли, и в то же время всё дальнейшее поставил в зависимость от того, как он отнесется к нашей попытке объединиться. Я написал подробное письмо Бакунину, ответ на которое мог получиться не раньше недели. Отправив письмо, мы приступили к обсуждению предстоящей нашей деятельности. Нечаев выдвинул первым делом издание газеты или листка, конечно, анархического направления. Сейчас же явился вопрос о денежных средствах. У нас не было никаких денег для такого издания. Нечаев заявил нам, что средства имеются и что средства значительные, и их хватит не только на издание, но и на другие потребности дела. При этом он вынул из кармана небольшую тетрадку листа в 3-4 обыкновенной писчей

бумаги, озаглавленную «меморандум», передал ее мне, прибавив: «познакомьтесь основательно с ней». Следующее наше собрание отложили на несколько дней в ожидании письма Бакунина и для ознакомления с «меморандумом».

Содержание «меморандума» было так называемый «Бахметьевский фонд», о котором Александр Герцен рассказывает в своей статье «Общий Фонд»[3] следующее:

> «… следует рассказать об этом странном случае, бывшем в 1858 году. Одним утром я получил записку, очень короткую, от какого-то незнакомого, русского; он писал мне, что имеет «необходимость видеть меня» и просил назначить время.
>
> Я в это время шел в Лондон, а потому, вместо всякого ответа, зашел сам в Саблоньер-отель и спросил его. Он был дома. Молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью, довольно топорно отделанной, седьмых-восьмых сыновей степных помещиков. Очень неразговорчивый, он почти все время молчал; видно было, что у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать – что.
>
> Я ушел, пригласивши его дня через два-три обедать.
>
> Прежде этого я его встретил на улице.
>
> — Можно с вами идти, спросил он?
>
> — Конечно, не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик.
>
> — Я не боюсь, и тут вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: – я никогда не возвращусь в Россию, нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию…
>
> — Помилуйте, вы так молоды?
>
> — Я Россию люблю, очень люблю; но там люди… там мне не жить. Я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях, это все я обдумал и теперь еду прямо туда.
>
> — То есть куда?
>
> — На Маркизские острова.
>
> Я смотрел на него с немым удивлением.
>
> — Да, да, это дело решенное. Я плыву с первым пароходом и потому очень рад, что встретил вас сегодня. Могу я вам сделать нескромный вопрос?
>
> — Сколько хотите…

[3] Собрание сочинений А. И. Герцена Т. III, стр. 473. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1905 г.

— Имеете вы выгоду от ваших публикаций?

— Какая же выгода, хорошо, что теперь печать окупается.

— Ну, а если не будет окупаться?

— Буду приплачивать.

— Стало, в вашу пропаганду не входят никакие торговые цели?

Я расхохотался.

— Ну, да как же вы одни будете приплачивать? А пропаганда ваша необходима. Вы меня простите, я не из любопытства спрашиваю: у меня была мысль, оставляя Россию навсегда, сделать что-нибудь полезное для нее, и я решился оставить у вас немного денег. На случай, если вашей типографии нужно или для русской пропаганды вообще, так вы бы и распорядились.

Мне опять пришлось посмотреть на него с удивлением.

— Ни типография, ни пропаганда, ни я в деньгах мы не нуждаемся; напротив, дело идет в гору, зачем же я возьму ваши деньги? Но отказываясь от них, позвольте мне от души поблагодарить за доброе намерение.

— Нет-с, это дело решенное. У меня пятьдесят тысяч франков, тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

— Куда же я их дену?

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет через десять, или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, – добавил он, подумавши, – делайте, что хотите, но… но не отдавайте ничего моим наследникам. Вы завтра утром свободны?

— Пожалуй.

— Сводите меня, сделайте одолжение, в банк и к Ротшильду; я ничего не знаю и говорить не умею по-английски, и по-французски очень плохо. Я хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и уехать.

— Извольте, я деньги принимаю и вот на каких условиях: я вам даю расписку.

— Никакой расписки мне не нужно.

— Да, но мне нужно дать, я без этого ваших денег не возьму. Слушайте же. Во-первых, в расписке будет сказано, что деньги ваши вверяются не мне одному, а мне и Огареву. Во-вторых, так как вы, может, соскучитесь на Маркизских островах и у вас явится тоска по родине (он покачал головой) – почем знаешь, чего не знаешь – то писать о цели, с которой вы даете капитал, не следует, а мы скажем, что деньги эти отдаете в полное распоряжение мое и Огарева; буде же мы другого распоряжения не сделаем, мы купим для вас на всю сумму каких-нибудь бумаг, гарантированных английским правительством, в 5% или около того. Затем даю вам слово, что без явной крайности для пропаганды мы денег ваших не тронем, вы на них можете считать во всех случаях кроме банкротства в Англии.

— Коли хотите непременно делать столько затруднений, делайте их. А завтра едем за деньгами!».

На другой день они оба были в банке, получили деньги и обменялись расписками. Герцен дал ему расписку, а он (некто Бехметьев, фонд стали называть Бехметьевским) Герцену в таком роде, что отдает в полное распоряжение его и Огарева восемьсот фунтов. После этого на следующий день Герцен проводил его на пароход.

«С тех пор, говорит Герцен, о нем не было ни духу, ни слуху… Деньги его я положил в фонды, с твердым намерением не касаться их без крайней нужды типографии или пропаганды».

Итак у Герцена имелось двадцать тысяч франков. Всю эту сумму Нечаев получил в два приема по десять тысяч: в первый раз от Герцена лично, а во второй раз после смерти его от его наследницы – дочери Натальи Александровны Герцен. Далее, следуя «меморандуму», по словам Нечаева, эти деньги лежали в банке из 5% в продолжение десяти лет и проценты шли не только на капитал, но и на проценты, и таким образом к 1868 году капитал чуть не удвоился. В «меморандуме» приведена составленная Нечаевым таблица, из которой было видно из года в год, как увеличивался капитал, присчитывая проценты к капиталу в конце каждого года, а затем в следующем году насчитывались проценты на эти проценты и на капитал. Словом, у семьи наследников Герцена таким путем, по мнению Нечаева, находится еще чуть не двадцать тысяч франков и вот эти-то деньги следует получить и употребить их на революционные дела. Но как их получить? Добровольно они не отдадут, в чем Нечаев не сомневался, и поэтому он предположил употребить такое, по его мнению, действительное и простое средство.

В руках Нечаева очутилась частная переписка разных лиц между собой, но не с ним, например, целый ряд писем Герцена к Огареву или ряд писем к Герцену от разных лиц, как Ивана Сергеевича Тургенева, Григория Николаевича Вырубова и других, письма к самому Нечаеву интимного характера от одной особы; затем документы, доказывающие компрометирующее отношение данного лица к комитету «Народной Расправы»; «революционный катехизис» Бакунина и его же расписка в получении ста пятидесяти рублей от комитета «Народной Расправы». В «меморандуме» были приведены в отрывках особенно компрометирующие места не только

в политическом отношении, но и в общественном и даже в обычном житейском отношении переписывающихся лиц.

Так вот, Нечаев и предполагал привлечь всех этих лиц помочь получить деньги от семьи Герцена в том случае, если она не согласится отдать их ему добровольно. В случае отказа кого либо принять участие в этом деле, он угрожал напечатать, предать гласности компрометирующие его документы или письма. Семье Герцена должно быть заявлено в первую голову на случай отказа отдать деньги о напечатании всех писем, сильно компрометировавших Александра Ивановича Герцена, а таковых писем было изрядное количество.

Знакомясь с «меморандумом», мы оба удивлялись, не говоря уже о шантажности и гнусности его, о нелепости, непрактичности, наивности и просто глупости… После последнего свидания довольно долго не видались с Нечаевым – он куда-то уезжал – а в это время уже получилось мной письмо Бакунина, и письмо очень большое, на нескольких листах большого формата почтовой бумаги. В письме вначале он рассказывал о своих отношениях с Нечаевым с самой первой встречи с ним, затем о причинах разрыва с ним, делает его убийственную характеристику и в конце концов признает, что с ним абсолютно невозможна никакая общая деятельность. В заключении письма, обращаясь ко мне, говорит, что, «связываясь с Нечаевым, тем самым прерываешь связь со мной, и твоя честность и порядочность революционера обязывают тебя прямо и откровенно написать мне об этом».

Конечно, после «меморандума» и после письма Бакунина мы оба решили единодушно и без всяких колебаний прекратить все дальнейшие разговоры с Нечаевым. При следующем свидании с ним прежде всего читалось письмо Бакунина, читалось не всё подряд, но с пропусками. Мне не хотелось его особенно огорчать, и поэтому все чересчур резкие места письма я пропускал. Он всё время молчал, молчал и тогда, когда мы откровенно говорили ему о «меморандуме» его. Итак, и на этот раз из наших переговоров не получилось никаких положительных результатов. Мы разошлись. После этого я до осени не видался с ним. Когда в Петербурге начал разбираться так называемый «нечаевский процесс», то он снова явился в Цюрих и был у меня. Процесс сильно его обескуражил, хотя и старался он сохранить хладнокровие и спокойствие, но при разговорах время от времени срывался и иногда негодовал. Это были последние наши личные встречи.

В конце этого года я серьезно заболел и меня увезли на юг Франции в Монпелье, где я прожил семь месяцев и за все это время не знал, что делается в Цюрихе, потому что мне была всякая переписка запрещена; иногда я получал только коротенькие записочки от Бакунина с вопросом о моем здоровье. А когда вернулся в Цюрих, то скоро узнал, что Нечаев в Цюрихе, что он пытался кое с кем сойтись из молодежи, но попытки ограничивались только знакомством и не давали никаких практических результатов. В это же время он познакомился с Елизаветой Николаевной Южаковой и с поляком Турским, дружившим с русскими. Знакомство его с последним привело его к гибели, потому что Турский свел Нечаева с Стемпковским, тоже поляком, жандармом-вешателем во время польского восстания; он-то и выдал его русской полиции.

Прожив в Цюрихе на этот раз с месяц, я опять, благодаря нездоровью, вынужден был уехать во французскую Швейцарию почти на три месяца, а в мое отсутствие

прожил в Цюрихе месяца два Бакунин и перезнакомился там со всей учащеюся русской колонией.

При нем совершился арест Нечаева, недели за две до которого Бакунин имел сведение из Берна от его личных друзей, что русская полиция напала на след Нечаева и что она через свое посольство усиленно хлопочет в Берне о его аресте и выдаче. Конечно, Нечаеву это немедленно всё было передано, но он отнесся к этому критически, сказав, что бакунисты хотят его выжить из Цюриха и поэтому стращают его. «У меня тоже есть связи в Берне и меня тоже предупредили бы об опасности».

Бакунин вместе с эмигрантами, жившими тогда в Цюрихе, предпринял агитацию против ареста Нечаева, но, к сожалению, рабочее и остальное население города отнеслось пассивно. Федеральное правительство предоставило решить дело местному кантональному цюрихскому правительству, которое постановило выдать Нечаева. Делалось всё это очень поспешно: на другой день решения его уже увезли скованного под конвоем местной полиции и русских сыщиков.

Я вернулся в Цюрих за неделю до его выдачи и отправки в Россию и через несколько дней Южакова, которая имела с ним свидание, принесла мне от Нечаева маленькую записочку, переданную им конспиративно для меня. Содержание записочки приблизительно было таково:

> «Архив мой находится у мадам Клеман в том городе, из которого я писал Вам тогда-то, возьмите его. Я уверен, что Вы поступите с ним наилучшим образом. Я погиб».

Получивши записку, я тотчас же сообразил, что архив находится в Париже, куда нужно как можно скорее ехать, разыскать госпожу Клеман, выручить архив и привезти сюда.

Вооружившись американским паспортом, я отправился в Париж, где из адресной книги города узнал, что фамилия Клеман также распространена, как у нас Иванов, словом, их оказалось не одна сотня, потому пришлось привлечь к розыскам несколько человек. Петр Лавров взял на себя обойти Батиньоль, где он жил, а я еще двое студентов поделили между собой левый берег Сены. Первый день обхода не дал никакого положительного результата и только на другой день утром, в одном из переулков около Одеона, я натолкнулся на небольшую книжную лавочку с вывеской Librairie m-me Brissac. Я вспомнил, что Нечаев мне говорил о своем приятеле Henri Brissac, который был командиром одного из батальонов национальной гвардии Бельвилля и который ушел на каторгу после подавления Коммуны. Взойдя в лавочку, купив газету, я спросил продавщицу, не родня ли она Henri Brissac. Из дальнейшего разговора я узнал, что она его жена, что она хорошо знает господина Стефана (под этим именем скрывался Нечаев в Париже) и что он живет у мадам Клеман в этом же переулке, в доме под таким-то номером. Узнав всё это, я тотчас же отправился по этому адресу, нашел госпожу Клеман, заявил ей, что я брат серба Стефана, который серьезно заболел в Цюрихе и которого нужно увезти на родину. Я же приехал ликвидировать его квартиру, заплатить ей его долг и забрать его вещи. Француженка, выразив сожаление и соболезнование, ввела меня в комнату Нечаева, сказала мне, что я могу хоть сейчас забрать всё его имущество. Предложив ей со своей стороны

написать счет, я тотчас же приступил к осмотру письменного стола, в котором нашел прежде всего очень большой пакет с надписью «меморандум с документами». Заплатив хозяйке по ее счету около трехсот франков и уложивши все бумаги, письма и кое-какие рукописи в небольшой чемодан, я поторопился его унести в квартиру, занимаемую Пономаревым, а потом вместе с ним забрали всё остальное, то есть книги, газеты, журналы и уложили всё в два мешка, которые привез мне Петр Лавров в Цюрих месяца через два.

В тот же день вечером я уехал домой, взяв билет прямого сообщения до Цюриха и сдав в багаж чемодан с бумагами Нечаева, а квитанцию на багаж при переезде границы держал наготове, чтобы ее в случае ареста немедля уничтожить; но проехал благополучно.

В Цюрихе вместе с своими товарищами Гольштейном, Ралли, Эльсницом разобрали бумаги. Я взял на себя пакет «меморандума», в котором оказались все те бумаги и письма, о которых говорилось в нем. Много было писем Герцена; в одном из которых Герцен писал Огареву так: «я ставлю черный крест на всей своей прошлой деятельности». Многие письма были наполнены отрицательным критическим отношением его к своей деятельности, были неблагоприятные сообщения о своей домашней жизни… Было несколько писем дочери Герцена к Нечаеву, которые были ей возвращены. В особом пакете находился известный «революционный катехизис», писанный весь рукой Бакунина, и его же расписка в получении ста пятидесяти рублей от «Народной Расправы». Кроме этих двух документов, писанных Бакуниным, ничего не нашлось ему принадлежащего. Там же оказались три подписки-обязательства Комитету Народной Расправы, данные Пономаревым и еще двумя лицами, мне неизвестными. Затем еще несколько писем, как-то Ивана Сергеевича Тургенева, Григория Николаевича Вырубова и других. Всё это было тогда же сожжено. Потом при личном свидании с Бакуниным я ему сообщил, что «катехизис», писанный его рукой и найденный в бумагах Нечаева, был нами сожжен. Он отнесся к этому совершенно пассивно, не придавая никакого значения и не разговаривая об этом.

Таким образом всё содержимое «пакета с меморандумом» и самый «меморандум» было сожжено тогда же; а исключение сделано было единственно только для писем дочери Герцена, Натальи Александровны Герцен. Кроме этого пакета было много писем разных частных лиц семейного или делового характера, не имеющих решительно никакого общественного, политического или революционного значения. Для чего они хранились и как они попали к Нечаеву? Их тоже сожгли. Черновики его корреспонденций в «Неделю» тоже сожгли. Других рукописей никаких не было. Затем оказалось еще около сотни карточек в роде тех, которые употребляются в библиотеках для регистрации книг. На одной стороне карточки были написаны биографические сведения или шифром или обыкновенным письмом, а на другой – шифром имя отчество и фамилия, а иногда и кличка. Пересматривая и прочитывая биографические сведения, легко было натолкнуться на знакомых лиц и таким путем расшифровать все имена лиц и все зашифрованные места. Оказалось, в конце концов, что это были списки почти всех известных тогдашних русских революционеров. Сожгли все их. Таким образом, весь этот архив был вполне уничтожен, и следовательно можно было быть вполне спокойным, что из него ничего не попадет в руки какой бы то ни было полиции.

Остальную часть архива, то есть газеты, книги, оставленную мной в Париже у Петра Лаврова, получил значительно позже, как сказано выше. Газеты, книги, которых было десятка полтора-два, я передал в общую нашу библиотеку. Книги были все французские разнообразного характера и главным образом, исторические, но среди них не было ни одного большого крупного сочинения. Газеты были времени осады Парижа германскими войсками 1870-1871 годов.

Написано и опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

Первое знакомство с Михаилом Бакуниным.

С половины мая до июля 1870 года я жил в Женеве и за это время ознакомился с революционными делами – как русскими, так и иностранными; главным образом, конечно, с Интернационалом (Международное Товарищество Рабочих). В то время Женева была центром такого рода деятельности. Раньше у меня были очень смутные и неопределенные представления как об Интернационале, так и о Бакунине, игравшем тогда огромную роль в европейском рабочем движении.

Вся русская эмиграция, за ничтожными исключениями, сосредоточивалась тогда в Женеве или около нее. Количественно она была очень незначительна – десять-двенадцать человек, но зато в нее входили тогда Бакунин, Огарев (Герцен умер в январе 1870 года). Бакунин жил в Локарно, – тогда маленьком захолустном городишке, а ныне приобретшем мировую известность, благодаря недавно бывшему там съезду заправил европейской политики. Эмиграция делилась на две части: большая из них, имея во главе Бакунина, состояла из Огарева, Жуковского, Озерова, Жеманова, Элпидина, Мрочковского, Мечникова, а другая – из Уткина[1] и Трусова и женщин: Левашевой и еще одной, фамилию которой я забыл. К первой же группе принадлежал и Нечаев.

Выше я сказал, что Бакунина и его деятельности я почти не знал; в мое время, действительно, о нем среди молодежи сведения были очень и очень ограниченные. Впервые более определенно я узнал о нем при следующих обстоятельствах. До моего появления в Женеве я около года жил в Америке, – сначала в Нью-Йорке, а потом в других городах, работая на заводах в качестве рабочего. Однажды в газете «Arbeiter Union», издававшейся в Нью-Йорке социал-демократом доктором Майером, появилась заметка, в которой говорилось, что он только-что получил из Лондона от известного немецкого революционера сообщение, что небезызвестный русский Михаил Бакунин состоит агентом русской тайной полиции. Мой приятель, Семен Серебренников[2], сибиряк, хорошо осведомленный о Бакунине, который (Бакунин) жил в Томске, Иркутске, как политический ссыльный, рассказал мне о нем очень многое. Он крайне возбужден был газетной заметкой и настаивал, чтобы мы протестовали против такой клеветы. Он по-немецки написал протест и предложил мне

[1] Возможно, имелся ввиду Утин (Левашова – подруга Утина), таким образом разделение оформляется по идеологическим основам, первая группа – анархисты, вторая – близкие к марксизму (прим. 2026).

[2] Семен Иванович Серебренников – уроженец Иркутской губернии, в конце 1860-х годов учился в питерском технологическом институте, в 1869 году эмигрировал, оказался в конце концов в Женеве, сблизился с Нечаевым, но порвал с ним, в 1870 году его задерживала швейцарская полиция, спутав его с Нечаевым. Оставил в 1934 году «Записку о Нечаеве» в журнале «Каторга и ссылка».

идти вместе с ним к Зорге[3], которого он знал, благодаря рекомендательному письму от Бебеля. Зорге – немец, учитель музыки, эмигрировал из Германии после революции 1849 года, в которой он принимал значительное участие. Из разговора с ним оказалось, что он сам очень хорошо знал Бакунина-революционера, его большое участие в германской революции, главным образом, в восстании в Дрездене, был возмущен этой клеветой, вполне одобрил наше заявление; несколько переделал его, исправив наши грамматические ошибки. Он хорошо знал Майера, сказал нам, что, очевидно, последний введен в заблуждение или же сообщение о Бакунине было напечатано без его ведома; дал нам рекомендательное письмо к Майеру, с которым мы отправились к последнему.

По приходе в редакцию, нас тотчас же принял Майер, очень любезно с нами разговаривал и расспрашивал о России и о том, как и почему мы приехали в Америку. Когда мы объяснили ему причину нашего посещения и передали письмо Зорге и протест, он пообещал рассмотреть его и напечатать в одном из ближайших номеров. После этого мы распростились. К сожалению, ни в ближайших, ни в дальнейших номерах нашего протеста не появлялось, и поэтому мы оба недели через 2-3 снова отправились к Майеру. На этот раз он нас не принял, и его секретарь передал нам, что редактор очень занят. Через некоторое время мы снова пришли в редакцию и получили ответ, что редактор снова очень занят – принять нас не может, и что заметка наша не может быть напечатана, потому что сообщение получено из Лондона от одного известного и видного немецкого революционера[4].

Из редакции мы прямо отправились к Зорге, который на этот раз принял нас далеко не так любезно, как прежде, и подтвердил слова редактора, переданные нам его секретарем. После этого знакомство с Зорге прервалось, а протест наш так и остался ненапечатанным.

Весь этот эпизод у меня как-то скоро выпал из памяти, и я вспомнил его значительно позже, так года через полтора, когда уже жил в Цюрихе.

***

О встрече и знакомстве с Сергеем Геннадьевичем Нечаевым, по инициативе которого я был вызван в Женеву, о неудачной попытке сближения с ним на почве революционной деятельности – я писал в другом месте и поэтому повторять здесь нахожу излишним[5]. Ни с Нечаевым, ни с кружком Утина я не сошелся, и меня потянуло к группе лиц, возглавляемых Бакуниным. Мой приятель Семен Серебренников тоже симпатизировал Бакунину, а к остальным относился отрицательно. Должен сказать, что он на меня не производил никакого давления, напротив – способствовал тому, чтобы я лично ознакомился со всеми.

---

[3] Это тот самый Зорге, который принимал горячее участие на Гаагском конгрессе со стороны Маркса и который, по настоянию последнего, был избран генеральным секретарем Интернационала, когда последний был переведен в Нью-Йорк.

[4] Очевидно, от Маркса или круга людей, близкий к Марксу.

[5] Смотреть Михаил Петрович Сажин (Арман Росс). «*Воспоминания 1860-1880 гг.*», изд. Всесоюзного Общества Политических каторжан и ссыльнопоселенцев, Москва 1925 год, стр. 62-75, «Воспоминания о Сергее Геннадьевиче Нечаеве».

Меня и раньше постоянно занимал вопрос, как устроить жизнь человека, людей вообще, чтобы они пользовались полной свободой, чтобы вполне были гарантированы от всяких насилий социальных, экономических и политических. Живя в Петербурге, я входил в кружок артиллерийских офицеров, где этот вопрос иногда поднимался, но решался он в смысле, для меня неудовлетворительном. И вот здесь в Женеве я снова натолкнулся на этот вопрос и узнал, что Бакунин страстный поклонник свободы человека. Это меня сразу к нему повлекло. В то время в Интернационале было две партии или, вернее, два направления, два течения: во главе одной стоял Михаил Бакунин, во главе другой – Карл Маркс. Оба они вполне признавали программу и статуты его. Бакунин был основателем анархизма, антигосударственником, и на знамени его партии было начертано:

> «*Разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов – разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира*»[6].

Он был страстным поклонником полной свободы человека; он потребовал умственного, социально-экономического и политического освобождения человека и всякое государство считал великим злом, как источник всевозможных насилий. Осуществление этой цели предполагалось провести путем революционным, путем вооруженного восстания. Маркс был главой социал-демократов, считал безусловно необходимым усиление и удержание государства во что бы то ни стало; для чего требовал, чтобы пролетариат принимал активное участие в политической жизни своей страны и, главным образом, в выборе депутатов в парламенты, где, достигнув большинства, нужно захватить власть в свои руки и таким путем перестроить существующее общество, не прибегая к революционным мерам.

Прошу читателей помнить и не упускать из виду, что я говорю о людях, делах и событиях, которые происходили пятьдесят лет тому назад; оценивать их, прилагать к ним современную мерку, современный масштаб нельзя, это извращает всю историческую перспективу, дает превратное понятие о том, что тогда было. Я стараюсь передать только факты, не входя в их оценку, как они представлялись мне и моим современникам.

Приятель мой изредка переписывался с Бакуниным и, конечно, о приезде моем ему сообщал, а он в ответ на это предложил нам отправиться к нему. Пока мы обсуждали и собирали сведения, как идти (конечно, значительную часть пешком, особенно через горы Сент-Готард или Симплон), получилось от него известие, что он не надеется приехать в Женеву сам по своим делам. И вот я стал ожидать его приезда. Через некоторое время, действительно, он приехал и остановился в комнате своего тогдашнего друга, эмигранта Озерова. На другой день приезда я явился к нему со своим приятелем и увидел перед собой мощную, колоссальную фигуру, буквально головой выше всех нас, окружавших его. Он был несколько сутуловат, что сокращало, хотя и немного, его рост. Голова его была большая, покрытая густой курчавой седоватой шевелюрой. Одет он был очень бедно, всё платье его было довольно старое,

[6] «Государственность и Анархия». (прим. 2026)

потертое, изношенное. Он встретил меня, как своего старого знакомого, так что всё мое смущение и неловкость, охватившие меня, как-то быстро исчезли, и я стал себя чувствовать совершенно свободно. Он сказал мне, что ведь он меня хорошо знает, благодаря Семену Серебренникову, а я его тоже должен, конечно, знать, благодаря тому же источнику. В то время у него было несколько человек, и он разговаривал то с одним, то с другими, время от времени бросал на меня испытующие взоры и старался втянуть в общий разговор, я же предпочитал слушать и наблюдать. Обыкновенно только по вечерам у него собирались для общих бесед, а днем он постоянно имел разные совещания с отдельными лицами, так что и мне он как-то сказал, чтобы я зашел к нему в назначенный им час для беседы. Таким образом, он беседовал со мной несколько раз. Во время этих переговоров он рассказал мне, что с Нечаевым он порвал решительно всякие отношения, что это – человек совершенно свихнувшийся, отожествлявший себя с революцией и так далее, что у него теперь нет никаких связей с Россией и что нечаевская организация вся вполне разбита, что нам надо начинать сначала, что у него (Бакунина) тоже нет никаких связей с Россией. С самого начала наших разговоров Бакунин сказал мне, что всякие теоретические рассуждения об идеале, о программе, об анархии он считает совершенно излишними, – во-первых потому, что обо всем этом я могу узнать из его речей и писаний, а во-вторых – он считает меня человеком дела (l'homme d'action), и поэтому лучше всего будет, если мы будем говорить о том, что нам предпринимать и с чего начать нашу деятельность.

Знакомство с людьми, изъявившими желание работать на пользу революции, у Бакунина было довольно своеобразное. Обыкновенно он не вступал ни в какие сношения, отталкивал от себя таких людей, из которых нельзя было извлечь какой-либо пользы для революции[7]. Словом, рассказам, теоретическим рассуждениям, программам всякого нового человека он придавал значение второстепенное и старался реально, практически определить его способности, его пригодность для какой-либо стороны деятельности. Поэтому он тотчас же давал какое-либо поручение, которое соответствовало способностям новичка: если лицо выражало желание и заявляло о своей способности быть полезным в качестве писателя, Бакунин поручал ему или предлагал что-либо написать и так далее. Этим путем он постепенно узнавал человека, и, бывало, что он прекращал с ним всякое деловое сношение в виду его неспособности. Особенно частенько получался такой финал с иностранцами: через несколько месяцев человек выходил, так сказать, в тираж. Я помню один такой случай с русскими, в котором я принимал косвенное участие. В Цюрихском университете в

[7] Однажды, живя в Петербурге уже после каторги и Сибири, я встретился в одном доме с профессором уголовного права Фойницким. Он рассказал о своей попытке познакомиться с Бакуниным следующее: Фойницкий вместе с другим профессором уголовного права Киевского университета, Кистяковским, были где-то в Швейцарии и решили съездить в Локарно, чтобы познакомиться с Бакуниным. Приехали в Локарно, узнали, что Бакунин ежедневно около 12 часов дня бывает в таком-то кафе, где читает итальянские и французские газеты, получаемые здесь. Пришли в кафе и тотчас же увидели лицо, читающее газету, в котором узнали Бакунина; подошли к нему, отрекомендовались, как профессора уголовного права. Бакунин довольно неприветливо спросил их, что им нужно. «Нам очень интересно познакомиться с вами и побеседовать». «А мне это совершенно неинтересно; что же может быть общего между вами, юристами, защитниками государства, а следовательно, всяческого насилия, и мной – решительным противником его? Решительно ничего». После этого Бакунин отвернулся от них и стал продолжать чтение газет. А они вынуждены были удалиться.

мое время находилась группа русских студентов из трех человек[8], тесно связанных друг с другом. Это были хорошие люди, с прекрасными намерениями и желаниями, все – будущие врачи; однако, к сожалению, как мне казалось, это были будущие культурные люди, но по натуре не революционеры. Я поддерживал с ними дружеские товарищеские отношения, но не втягивал их в революционные дела. Бакунин знал их заочно с моих слов. В каникулярное время они отправились походить по Швейцарии, посетили Бакунина, познакомились с ним и выразили свое горячее желание работать с ним. Бакунин пошел им навстречу, заключив с ними союз с программой старого бывшего «альянса», дал им небольшой шифр для переписки, словом, всё, как он когда-то делал прежде. И вот дело тянулось чуть не год, а когда представилось настоящее дело, то скоро обнаружились дефекты. Бакунин скоро почувствовал, что из союза проку не выйдет, и поэтому ждал только случая, чтобы прекратить безобидно все отношения. Случай представился, и он им воспользовался.

Вернусь к продолжению рассказа о переговорах Бакунина со мной. Постепенно выяснился вопрос, прежде всего, о необходимости по возможности периодического издания, листа в три-четыре (сообразно средствам) и выходящего в два-три месяца один раз. Он, конечно, брал на себя всю редакторскую часть, а я принимал организацию печатания, распространение и транспорт в Россию. В качестве сотрудников он называл своих друзей-эмигрантов из русских, а также и иностранцев. Я предложил Лаврова, как философа, который только что бежал из ссылки и поселился в Париже. Бакунин согласился его пригласить, но с тем, что он будет писать только статьи философского содержания. «Он (Лавров), не признает господа бога, а потому пусть с ним и воюет. В другие отделы пустить его нельзя», – Лавров тогда был по вопросам социальным, политическим не более не менее, как кадет, чуть ли не правый.

Издание это предполагалось начать не ранее поздней осени, потому что Бакунин был завален работой по интернациональным делам, а я за это время взялся за подготовительные работы и, главное, за добычу средств и за организацию сношений с Россией.

Бакунин недолго оставался в Женеве и очень торопился домой, в Локарно. Он приезжал сюда, главным образом, затем, чтобы вполне и окончательно ликвидировать свои отношения с Нечаевым. На последнем нашем совещании он предложил мне в нашей будущей переписке установить шифр на фамилии, а затем дал мне адрес для писем на имя швейцарца, жившего вблизи Локарно. Вот это и всё; никакого тайного союза между нами заключено не было. Пользуясь случаем, нахожу нужным здесь сказать, что за всё время моей дружбы и совместной деятельности с ним и с другими общими нашими друзьями, как Гильом, Швицгебель, Кафьеро и другие, никогда не бывало никакого тайного общества, заговора. Пресловутый «альянс» давным-давно, еще до моего знакомства с Бакуниным, прекратил свое существование, был распущен, если не ошибаюсь, в 1869 году. В сущности – была группа лиц, одинаково мыслящих и работающих в одном и том же деле. Мы сами

[8] Александр Леонтьевич (Людвигович) Эльсниц (1849-1907), Владимир Августович Гольштейн (1849-1917) и Замфир Константинович Арборе-Ралли (1848-1933). Эльсниц и Гольштейн, спустя примерно десятилетие, отошли от революционных дел, став врачами во Франции. Ралли переехал в Румынию и участвовал в социалистических кружках, писал воспоминания. Перешел от анархизма к более умеренному социализму.

иногда называли себя «союзом», а Бакунин иногда употреблял выражение – «святая святых». Гильом совершенно прав, когда в своей 4-томной книге об Интернационале говорит, что все рассказы и даже обвинения в существовании «альянса» – чистейшая фантазия. Повторяю еще раз, что за все шесть-семь лет моей самой интимной дружбы с Бакуниным, Гильомом и другими, никогда ничего не было, что бы указывало, что есть какой-то между нами заговор, тайный союз. Последние почти четыре года я безусловно всё знал, что делалось и что предполагалось делать, и делалось всё обыкновенно с ведома по возможности всех близко стоящих около Бакунина, который никогда не изображал собою «папы» или диктатора.

Ко всем нам он относился и держал себя безусловно по-товарищески и, в случаях несогласия с кем-либо из нас, он обычно старался убедить словом, доказать противнику свою правоту.

Накануне его отъезда, у Бакунина вечером собрались несколько человек, и он много говорил об общем политическом и социальном положении дел в Европе. Тогда только что получились известия о кандидатуре гогенцоллернского принца на испанский престол. Он высказывал мысль о том, что, в виду страстного желания Наполеона и Бисмарка подраться из-за гегемонии над Европой, очень вероятно, что они воспользуются этим случаем. Конечно, Франция бонапартовская будет побита, потому что вся эта империя прогнила и разлагается, тогда как Пруссия – могучее военное государство. Поражение Франции вызовет социальную революцию, и революционеры, главным образом, Интернационал должен быть готовым, чтобы принять самое активное участие в надвигающихся событиях. В дальнейшем, когда стали развертываться военные и другие события в Европе, я очень часто вспоминал об этом вечере и удивлялся, как он ясно предвидел события и как правилен был его диагноз.

Бакунин уехал, оставив мне письмо для передачи его Лаврову – с предложением участвовать в предполагаемом издании. Я тоже собирался отправиться в Англию, потому что имел возможность поступить там на механический завод, чем я очень дорожил. В Женеве у меня не было никакого дела, и я рассчитывал прожить в Англии, по крайней мере, до глубокой осени, а затем вернуться в Швейцарию. Поехал я через Париж, где виделся с Лавровым, передал ему письмо Бакунина и, со своей стороны, тоже предлагал ему сотрудничать в предполагаемом издании. На это предложение он сначала отвечал довольно уклончиво, говоря, что он не совсем порвал с Россией, что он рассчитывает, что правительство само предложит ему вернуться, что предоставит ему возможность свободно читать лекции (он читал по высшей математике и теоретической механике в артиллерийской академии); прежде, чем ответить на письмо Бакунина, он подумает и скоро напишет об этом. Действительно, он написал письмо, в котором ответил решительным отказом.

Дело с изданием не осуществилось, благодаря франко-прусской войне, вызвавшей такие огромные, закрутившие всех нас события, что русские дела пришлось отложить надолго.

Я уехал в Англию, поступил на завод и первый месяц работал очень усердно. Но военные события стали всё больше и больше поглощать мое внимание, а затем падение империи во Франции, разгром французских армий и всеобщее волнение так меня захватили, что я бросил работу на заводе и помчался в Швейцарию, в Цюрих, где тогда среди студентов у меня оказалось несколько знакомых.

Живя в Англии, я изредка получал письма от Бакунина, которые тоже наэлектризовывали меня и из которых видно было, что там назревают крупные дела, а здесь у меня, собственно говоря, нет никакого дела. Когда я уезжал из Женевы, Бакунин ставил мне задачей найти среди английских рабочих только одного такого человека, который вполне «уверовал бы в нашу программу, в наш способ действий, словом, чтобы был человеком вполне солидарным и во всём с нами». Он говорил, что достаточно найти такого человека и связаться с ним, чтобы через него вести дальнейшую революционную работу, но в то же время прибавлял, что это очень трудно, потому что английские рабочие верят исключительно в мирный путь решения социального вопроса, они не революционеры в нашем смысле.

Приехав в Цюрих, я скоро узнал из писем Бакунина, что он собирается ехать в Лион с целью организовать там восстание рабочих и провозгласить Коммуну. Обстоятельства вполне благоприятствовали этому: империя пала, провозглашена республика, было всеобщее возбуждение, среди рабочих настроение революционное. Весь тогдашний Интернационал юга Франции, хотя по размерам не особенно значительный, находился тогда под влиянием Бакунина, и поэтому к его приезду в Лион собрались несколько видных интернационалистов из Марселя, Сент-Этьена и других южных городов, образовали Центральный революционный Комитет действия.

В конце сентября Бакунин прислал мне нижеследующую прокламацию, напечатанную на красной бумаге с приложением небольшого письма, в котором сообщал, что «эта прокламация завтра с утра будет распространена, а в ночь предложено арестовать главнейших врагов. Это – последняя борьба, и мы надеемся на победу».

Вот содержание прокламации:

«**Французская Республика.**

Революционная Федерация Коммун.

Отчаянное положение, в которое ввергнута страна; полное бессилие официальных властей, индифферентность привилегированных классов поставили нацию на край пропасти.

Если народ, революционно организованный, не поторопится действовать, его будущее погибнет, революция погибнет, всё погибнет. В виду громадной опасности и, имея в виду, что решительные действия народа не должны быть задержаны ни на один миг, делегаты федеральных комитетов Спасения Франции, соединенные в Центральный Комитет, предлагают немедленно принять следующие резолюции:

1. Административная и правительственная машина Государства отменяется в виду ее бессилия.

   Французский народ берет всю власть в свои руки.

2. Все суды уголовные и гражданские уничтожаются и заменяются народным судом.

3. Уплата налогов и ипотек прекращаются. Налог заменяется контрибуцией с богатых классов соответственно нуждам для спасения Франции.

4. Государство, как уничтоженное, не может вмешиваться в уплату частных долгов.

5. Все существующие муниципальные организации уничтожаются и заменяются во всех федеративных общинах Комитетами Спасения Франции, которые будут работать под непрестанным контролем народа.

6. Каждый Комитет главного города департамента выбирает двух делегатов для образования революционного Конвента Спасения Франции.

7. Этот Конвент немедленно соберется в городской Думе Лиона, как второго города Франции, и приступит к энергичной защите страны.

   Этот Конвент, поддержанный всем народом, спасет Францию.

   К оружию»[9].

Следует 26 подписей, в числе которых – и подпись Бакунина.

28 сентября 1870 года революционеры заняли Hôtel de ville и провозгласили Коммуну Лиона; но, к несчастью, удержаться им не удалось, движение было задавлено соединенными силами – буржуазной национальной гвардией и войском. Бакунина и некоторых других арестовали: впрочем, часа через два его освободили «вольные стрелки» (franc tireurs). Он вынужден был скрываться в квартире одного семейного рабочего[10]. Буржуа сильно его разыскивали, поэтому его переправили в Марсель, где он жил с месяц, надеясь, что здесь удастся вызвать восстание и организовать Коммуну, но, в конце концов, и отсюда пришлось убраться, и его ночью в лодке вывезли в открытое море, где дожидался пароход, на котором он доплыл до Генуи и отсюда безо всяких приключений уехал в Локарно.

В Цюрихе в 1870-1871 годах была секция Интернационала – «Дикая секция», в которую входило всего 4 человека: Грейлих, Распе (эмигрант из Австрии) и еще двое, имен которых не помню. Собрания секции усердно посещались русскими студентками и студентами; рабочие, – как немецкие, так и швейцарские, – бойкотировали ее, относились к ней безусловно отрицательно. На ближайшее собрание секции я принес «красную прокламацию» о провозглашении Коммуны в Лионе и предложил Грейлиху прочитать ее. Он внимательно про себя прочитал и возвратил ее мне, сказав, что он не может ее прочитать для всего собрания, потому что она неприемлема для социал-демократов. На собрании были Грейлих, Распе и один рабочий швейцарец, а остальные человек десять – русские. Затем в Tagwacht'е стали время от времени появляться статьи, дискредитирующие Лионское движение. Мы все, русские, прекратили посещать секцию, она скоро, очень скоро мирно скончалась.

[9] «L'Internationale. Documents et Souvenirs» par James Guillaume. Tome Second. Pages 94-95. Paris. Société Nouvelle de Librairie et d'édition. E. Cornély et C-ie 1907.

[10] Луи Паликс (прим. 2026).

В эту зиму Мишель (обыкновенно все мы называли Бакунина этим именем) в своих письмах ко мне звал меня приехать к нему, да я и сам очень хотел съездить и пожить с ним несколько дней, но всё как-то не удавалось, задерживало то то, то другое. И вот вдруг Озеров из Женевы сообщил, что Мишель очень бедствует и немного прихварывает. Это послужило сильным импульсом, и я дня через два-три поехал к нему, собрав среди молодежи франков, помнится, около полутораста, купив чаю и табаку фунта по два. Тогда еще не было железной дороги через Сент-Готард, и приходилось ехать и по железной дороге, и на пароходе по 4-х кантонному озеру, и в дилижансе, и, наконец, через самый Сент-Готард на санях, так как он был завален снегом. Все путешествие продолжалось полтора суток.

Приехав в Локарно и оставив свой саквояж в конторе дилижансов, я отправился к Бакунину и пришел как раз к обеду. Мишель не ожидал меня, но очень доволен был моим приездом. Обед состоял из супа и жареной картошки. Я до сих пор помню очень отчетливо и ясно всё, что я увидел и услышал, – так меня поразила беднота жизни его с семьей. Он занимал квартиру в две комнаты во втором этаже двухэтажного дома, очень маленького. Внизу жили хозяева. Между этими комнатами был коридор, который служил столовой и прихожей, потому что с лестницы ход был прямо в этот коридор. Одну комнату занимал Мишель, а другую – его жена с двумя маленькими детьми. Обстановка была самая убогая, мебелишка самая простая, так, в комнате его стояли: кровать, стол, три-четыре стула и сундук, в котором лежало белье, а единственная суконная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки с книгами. И стол, и кровать, и табуретки, и стулья были простые, белые. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель расцеловал меня и позвал жену, которая, увидав всё это на столе, громко сказала: «Ну, вот мы будем и с мясом. Надо сейчас же уплатить булочнику и мяснику, сколько можно, и тогда мы снова будем иметь у них кредит».

Бакунин обычно после обеда, от 7 до 9 часов спал, затем до 10-11 часов продолжалось чаепитие, после чего он работал до 3-х часов ночи, спал он от 3-4-х до 10 утра. В 12 часов ходил читать газеты, и затем до обеда я проводил с ним всё время в разговорах. Он интересовался моей жизнью в Англии, расспрашивал о моих тамошних знакомых, о разговорах с ними, а когда перешли к Цюриху, то тут он старался выведать от меня решительно всё, что я знал о каждом русском студенте или студентке. Через день-другой он снова возвращался к характеристике какого-либо лица, о котором уже говорилось раньше, и спрашивал о нем дополнительно. Когда он весной 1872 года приехал в Цюрих (он прожил здесь два-три месяца), он знал заочно от меня почти всех русских, учившихся в Университете и Политехникуме, и указывал мне мои ошибки в оценке их. Удивительная вещь – он обладал талантом скоро, близко и душевно сходиться с людьми, когда эти люди казались ему полезными в революционном отношении. Я помню, что уже на другой день чувствовал себя с ним совершенно свободно и легко, точно с таким же молодым и вполне равным себе. Ведь мне тогда было двадцать пять лет, а ему почти шестьдесят, да разве возможно сравнить его прошлую жизнь, богатую таким огромным опытом, его огромные знания и так далее соответственно с моими, и тем не менее я нисколько не чувствовал его безусловного превосходства. Когда он был в Цюрихе, то я то же самое наблюдал в отношениях его ко всей окружавшей его молодежи, а ведь тогда было несколько десятков лиц, и он со

всеми был одинаков. Я прожил с ним тогда неделю и это время до сих пор я помню очень хорошо, оно было для меня драгоценно. Он выведал от меня всю подноготную, да и я узнал многое, что меня интересовало в революционных делах Европы.

До Парижской Коммуны я заехал к нему еще один раз ненадолго, и мы встретились с ним, как старые близкие приятели; но полная близость с ним и с его самыми близкими друзьями и соратниками наступила только после моего возвращения из Парижской Коммуны, то есть летом 1871 года, так что «искус» мой продолжался почти год. И произошло это очень просто. Бакунин вызвал меня в Локарно, при чем определил день моего туда приезда. Когда я явился туда, то встретил несколько человек ранее меня приехавших итальянцев, испанцев и швейцарцев, которых я уже раньше знал. Он предложил мне откровенно рассказать о русских делах, то есть о связях и сношениях с Россией, о цюрихских делах, так как все находящиеся здесь – близкие друзья. Вот с этого собрания и надо считать время моего присоединения к мифическому «альянсу» или, как говорил Мишель, к «святая святых»; никаких «клятв на кинжалах», никаких уставов, церемоний приема и всяких других принадлежностей тайных обществ, заговоров – не было. Так продолжалось до конца. Время от времени мы съезжались у него для обсуждения дел, а иногда приезжали в одиночку. Это последнее чаще всех проделывалось мной и итальянцами, как ближе других стоявших к нему.

1926.

Русские в Цюрихе *(1870-1873)*

В своих воспоминаниях я уже говорил о моем приезде из Америки в Женеву в мае 1870 года по вызову Сергея Геннадьевича Нечаева, известного революционного деятеля. Вскоре после моего прибытия в Женеву и встречи с ним для меня выяснилось, что совместная работа с ним оказалась невозможной и таким образом все сношения между нами прервались. За два месяца моего пребывания в Женеве я имел полную возможность ознакомиться со всем, что делалось там среди эмигрантов, прочитать всю революционную литературу того времени, которая количественно была очень невелика; ознакомиться с Интернационалом вообще и в частности с женевской федерацией, на собраниях которой я бывал несколько раз. Много мне помог в этом знакомстве мой тогдашний друг Семен Серебренников, который жил здесь до моего приезда, знал все дела и лично знал почти всех тогдашних революционных деятелей, включая и Бакунина, жившего в итальянской Швейцарии в Локарно, расположенном по берегу озера Лаго-Маджоре. Он по временам только приезжал в Женеву по революционным делам.

До этого времени, живя в России, да и в Америке, я решительно ничего не читал из писаний Бакунина, совсем ничего не знал о его революционной деятельности и только впервые познакомился здесь со всем этим. Произведения его оказали на меня огромное впечатление и так сказать определили всю мою дальнейшую революционную жизнь.

Еще во времена моего студенчества я всегда был горячим защитником самой широкой свободы жизни, развития деятельности человека решительно во всех отношениях. Помню до сих пор горячие страстные споры, дебаты среди товарищей по институту, а в особенности в кружке артиллерийских офицеров, к которому я тогда принадлежал, о свободе человека. Из одиннадцати членов кружка только трое были защитниками безусловной полной свободы человека решительно во всех отношениях, а остальные доказывали, что такая свобода невозможна, что, живя в государстве, люди принуждены подчиняться ему, ограничивать свою свободу и так далее. Конечно, в наших спорах много было неясного, неопределенного. Возможно, что со временем и для нас этот вопрос выяснился бы более определенно; один из членов кружка Владимир Гейнс[1] даже взялся составить доклад по этому вопросу, но так и не удалось нам услышать его: кружок, благодаря выстрелу Каракозова, вынужден был прекратить свое существование.

Возвращаюсь к продолжению рассказа. Разойдясь с Нечаевым и не видя ничего такого, куда бы я мог приложить свои силы, я намеревался снова взяться за работу

[1] Гейнс — блестящий офицер генерального штаба по геодезическому отделению, работавший в Пулковской обсерватории, имевший ученые труды; он был горячим последователем и учеником Чернышевского; впоследствии он уехал в Америку и работал там под именем Вильяма Фрея.

на каком-либо заводе, тем более, что у меня была возможность поступить на завод в Англию.

Но прежде чем я привел в исполнение это намерение, судьба доставила мне случай встретиться с Михаилом Александровичем Бакуниным, который приехал в Женеву на несколько дней около половины июля. Он, благодаря Нечаеву, а в особенности Семену Серебренникову, знал меня с их слов, слышал от них и потому встретил меня со словами: «Я знаю вас, мы знакомы, и нечего рекомендоваться».

Каждое утро Семен Серебренников и я являлись к нему и постоянно встречали у него разных лиц не только для меня, но и для Семена Серебренникова совершенно незнакомых, тогда как это были старые приятели Бакунина; приходилось слышать разговоры на разных языках, для меня совершенно непонятных; но по моей просьбе кто-либо из присутствовавших вкратце передавал мне их содержание. По вечерам же он принимал только тех, которые ему нужны были; так было и со мной, когда он назначил мне один из последних вечеров своего здесь пребывания.

Придя к нему в назначенное время, я прежде всего передал ему все мои разговоры с Нечаевым, почему я разошелся с ним и почему я предполагаю отправиться теперь в Англию. Он очень внимательно меня выслушал, задавал мне время от времени вопросы, а затем сказал:

> «Ведь я вас хорошо знаю, вы человек дела, вы поклонник широкой свободы для человека, поэтому разговаривать о программах, обсуждать разные теоретические вопросы совершенно излишне; будем работать вместе, и я уверен, что мы вплотную сойдемся, будем друзьями на почве ваших взглядов на свободу, при этом считаю безусловно необходимым и требую, чтобы мы оба друг для друга были совершенно искренни, правдивы и так сказать вполне прозрачны. Эти условия безусловно необходимы для успешной нашей будущей общей работы».

Конечно, я выразил свое полное согласие на такие условия, в знак чего мы пожали друг другу руки и даже расцеловались. Положа руку на сердце, смело могу сказать, что я всегда в наших отношениях строго соблюдал все эти условия, конечно, всегда памятуя, что за Мишелем[2] стоит огромное дело, а я только-только приступаю к нему.

Долго и много говорил он о Нечаеве, о революционных делах в России; относительно же моей поездки в Англию ничего не возражал, сказав при этом, что в данный момент для него русские дела отошли совсем на задний план, тогда как иностранные поглощают и требуют всё его внимание, все его силы, всю его энергию, потому что настоящий момент очень серьезный для Европы. Он много говорил мне об Интернационале, о положении дел в Европе, о том, что она переживает кризис, что она накануне войны, которая повлечет за собою революцию во Франции и так далее. Все это было для меня в высшей степени интересно и многое совершенно ново.

Было уже далеко за полночь, и я видел, что он устал и требуется отдых, на что я обратил его внимание. Он согласился с этим и на прощание сказал мне приблизительно так:

[2] Так обычно звали Бакунина его друзья и соратники и в переписке и в личных беседах.

«Когда вы будете работать на заводе, жить с своими будущими товарищами-рабочими, то постарайтесь найти среди них такого человека, который бы вполне искренне, сердечно признал наши взгляды, наши верования и отдался бы им весь, без всяких оговорок; тогда только через него можно успешно вести дальнейшую работу. Одним этим вы оказали бы огромную услугу нашему делу; но знайте, найти такого человека среди англичан не легко и вам потребуется на это много времени и много труда».

После этого вечера, глубоко врезавшегося в мою память и оставившего в ней глубокие следы на всю жизнь, мы распростились: он уехал в Локарно, а я в Англию на завод.

Не прошло и месяца, как вспыхнула война между французами и немцами, ужасная война, повлекшая за собой полный разгром и пленение французской армии, плен Наполеона III, падение французской империи и провозглашение в Париже, а затем и во всей Франции республики. Молодая республика не хотела продолжать войну, а немцы, напротив, все-таки продолжали ее, потому что республика для них была еще более ненавистна, чем империя. Не надо при этом забывать, что под Парижем во время его осады находилось до 40.000 социал-демократов среди немецких солдат. Живя в Цюрихе во время этой войны, я постоянно видел проявление ненависти, злобы к французам со стороны немцев всех классов без различия, а в немецкой Швейцарии жило их очень много.

Следя по газетам за развитием событий на континенте, приходилось переживать горячку, работа валилась из рук и я не находил себе места, где бы я мог хоть сколько-нибудь успокоиться; между тем кругом было довольно спокойно, никто, по-видимому, не волновался, даже на рабочих собраниях очень мало было разговоров о войне, о событиях во Франции, о провозглашении там республики. Изредка я получал письма от Бакунина, из которых я видел, что во Франции происходят огромные события, что вся она кипит как в котле, что на ее юге разворачивается революционная работа, что он сам собирается туда ехать, чтобы принять активное участие в революционном движении среди рабочих, где у него были большие связи. Все эти сведения в конце концов привели меня к тому, что я решился бросить завод и перебраться поближе к месту событий.

***

В то время в Цюрихе жило несколько человек русских, моих приятелей по Петербургу, слушавших лекции в местном университете и политехникуме. Среди них был и Семен Серебренников. Вот поэтому я и наметил этот город своим местопребыванием хотя бы на первое время. Здесь я узнал, что в университете слушают лекции не только несколько русских студентов, но еще несколько русских женщин-студенток. Оказалось, что Цюрихский университет тогда был единственным в Европе, допускавшим в свои аудитории женщин. С 1869 года принято было пять женщин, – исключительно русских, – а с начала нового семестра поступило еще четыре. Для меня ясно было, что здесь может образоваться значительный центр русских не только женщин, но

и мужчин и поэтому я решил основаться в Цюрихе и даже вначале подумывал о продолжении своей учебы в политехникуме, который считался тогда первым на континенте.

Со студентами я познакомился и сошелся очень скоро; все они были обычные русские студенты, интересовавшиеся не только наукой, но и разными общественными вопросами и в особенности рабочим вопросом. До меня среди них некоторое время жил известный сербский революционный деятель Светозар Маркович. Он уехал из Цюриха вскоре после моего приезда сюда. Завести знакомство со студентами было далеко не так просто, нужно было прибегнуть к некоторой «дипломатии». Дело в том, что как раз в тот момент разыгрывалось дело нечаевцев. «Нечаевщина» прогремела тогда на всю интеллигентскую Россию и вызвала среди нее огромный взрыв негодования и отвращения к революционерам; считалось, что они неизбежно прибегают к таким приемам в своей деятельности. Достаточно было одного подозрения в прикосновенности к делу Нечаева, чтобы скомпрометировать себя и лишиться даже возможности простого знакомства, а не только какого-либо хотя и самого невинного общего дела, предприятия. По словам одного из тогда, сколько помнится, кажется, единственного студента[3], поддерживавшего знакомство со студентами, все они остро отрицательно относились к «нечаевщине» и во всяком новом молодом человеке, пытавшемся войти с ними в какие-либо отношения, тотчас же стремились определить его взгляды, его отношение к ней и сообразно с результатом исследования решали: продолжать ли знакомство или же нет. Вообще же считали лучше всего избегать всяких новых знакомств с вновь приезжающими молодыми людьми из России.

***

В 1869 году я бежал из ссылки в Нью-Йорк и там тотчас же по прибытии переменил свое имя и фамилию и стал именоваться Арман Росс. Обыкновенно в случае необходимости я объяснял, что я уроженец полуострова Аляски и именно с острова Ситки. Как известно, полуостров Аляска с прилегающими к ней небольшими островами, составляющими часть материка Северной Америки, принадлежал России до второй половины 60-х годов прошлого столетия, а затем русское правительство продало его Соединенным Штатам Америки, помнится, за семь миллионов долларов. Население полуострова было русское, кроме дикарей, живших в глухих отдаленных частях острова.

Во время моей учебы в дореформенном Технологическом институте Питера одновременно со мной в низших приготовительных классах его воспитывался уроженец острова Ситки, недавно приехавший оттуда (1859). Он очень много рассказывал мне о тамошней жизни, о природе, об условиях существования, о школе, в которой он учился, и так далее.

Однажды мы лежали в больнице оба рядом (болели скарлатиной), и целые вечера мне приходилось слушать эти рассказы; он очень любил свою родину и свою семью,

[3] Это был Пономарев Иван Михайлович, впоследствии профессор химии, а затем и декан Харьковского политехникума.

которая осталась там. Все эти рассказы я хорошо запомнил, и впоследствии они оказали мне большую услугу, так что я довольно удачно сходил за настоящего уроженца Америки.

До 1873 года, кроме Бакунина и трех моих старых товарищей студентов, никто не подозревал и не знал моей настоящей фамилии. Впервые в Цюрихе среди русских пошли слухи о моей настоящей фамилии из кружка Лаврова, с которым я был одновременно в ссылке в России.

Иван Михайлович Пономарев, которого все звали Ванечкой за его доброту, приветливость, отзывчивость и всегдашнюю готовность помочь всем и каждому, был тогда единственным лицом, к которому студентки относились с доверием; он сам был человеком беспартийным и интересовался больше всего своей специальностью, изучением химии, которую он очень любил и посвящал ей всё свое время. По временам он посещал студенток, живших тогда в доме известной потом фрау Фричи. Кто не жил потом у этой почтенной и уважаемой фрау в ее старом двухэтажном небольшом домике, окруженном виноградником? К жившим у нее женщинам-студенткам она относилась заботливо, любовно и всегда предупредительно. Правда, было и тесновато, и грязновато, а обстановка старовата и ветха, но со всем этим приходилось мириться, даже не обращать на это внимания, имея в виду, что некоторые из обитательниц получали от родных рублей пятнадцать, двадцать в месяц, на что приходилось вести самую скромную умеренную жизнь. Так они и жили, но были и такие, которые могли жить в более лучших условиях.

Итак, со взаимного общего согласия всей нашей группы русских студентов было решено отправить Ивана Михайловича в дом фрау Фричи с известной целью. Когда он явился туда, то встретил там всех их в сборе и вот, во время беседы с ними, он предложил под каким-то благовидным предлогом, необходимость, крайнюю нужду собраться где-нибудь всем студентам и студенткам вместе для обсуждения какого-то вопроса, касавшегося всех нас, живущих в Цюрихе. Женщины согласились и вместе с ним назначили день и час для собрания у них. При этом Пономарев между прочим не преминул сообщить, что среди нас находится недавно приехавший русский американец Росс, будущий студент политехникума.

Наконец состоялось наше общее собрание, на котором присутствовали все учащиеся (11 человек); оно было очень оживленное, довольно долго продолжалось и настолько заинтересовало всех присутствовавших, что на предложение устроить в ближайший день общую прогулку на гору Итлиберг, находившуюся по другую сторону цюрихского озера, получилось общее согласие. Вот с этих пор начались наши общие собрания, которые очень скоро превратились в регулярные еженедельные.

***

Раньше уже было сказано о моем знакомстве с Интернационалом в бытность мою в Женеве. Тогда я уже знал о существовании в нем двух направлений: анархического, антигосударственного, с Бакуниным во главе, и другого социал-демократического с Марксом во главе. К первому принадлежали главным образом рабочие романских стран (испанцы, французы, итальянцы, бельгийцы, англичане), а ко второму почти исключительно немцы (германские, австрийские). Я всем своим существом отдался первому.

В Цюрихе в то время существовала единственная секция – дикая секция (wilde section) с Грейлихом во главе. Население города и кантона было исключительно швейцарско-немецкое. Заседания секции происходили довольно редко, два-три раза в месяц, и всякий раз русская учащаяся колония получала приглашение на заседания.

Грейлих – типограф, интеллигент – весьма усердно пропагандировал социал-демократизм среди наших женщин, но надо сказать довольно безуспешно. Конечно, я тоже пользовался его приглашениями первое время и постоянно посещал эти собрания. Кроме нас, русских, и самого Грейлиха, всегда являлся австрийский эмигрант Распе, полурабочий, полуинтеллигент и иногда два-три, а чаще один рабочий швейцарец, приятель Грейлиха – вот и вся секция.

В городе жило очень много немецких рабочих из Германии, но почти все они принадлежали к своему союзу (Arbeiterbildungsverein), точно также рабочие-швейцарцы входили в свой собственный *национальный* союз (Grütly Verein). Любопытно, да это и следует знать, что оба эти союза настроены были решительно враждебно к социал-демократии и не только не имели с ней ничего общего, но временами даже афишировали свою к ней враждебность[4].

На одно из таких собраний я принес известную прокламацию, напечатанную на красной бумаге, о только что провозглашенной революционной коммуне в Лионе в половине сентября 1870 года, подписанную делегатами рабочими Лиона, Марселя, Сент-Этьена. Как известно, в этом революционном движении огромное участие принимал Бакунин, и конечно его подпись фигурировала на этой прокламации среди других. Он прислал мне эту прокламацию из Лиона.

Во время заседания секции прокламация была передана Грейлиху, как председателю собрания и секции, с предложением огласить ее. Сначала он сам прочитал ее втихомолку, а затем громко заявил, что на собрании читать ее он не допустит и сам читать не будет, потому что она противна нашим взглядам и потому, что она подписана Бакуниным. Такое заявление всех нас, русских, здесь присутствовавших, возмутило; мы заявили протест, Грейлих закрыл заседание. После этого инцидента все мы перестали посещать собрания секции, и она вскоре после этого кончила свое существование, совершенно замерла.

Вся наша колония, состоявшая из 11 человек, продолжала регулярно собираться у студентки Софьи Лавровой, и частенько устраивались чаепития, так как у нее имелся самовар. Она жила с дочерью 7-8 лет и занимала довольно большую комнату, свобод-

[4] Когда я жил в Нью-Йорке вместе с товарищами Чубаровым и Серебренниковым, мы узнали, что в городе существует союз немецких рабочих, такой же точно, что и в Цюрихе, в который входят чуть ли не все немецкие рабочие города. Придя в этот союз и объяснив секретарю наше желание вступить членами и кто мы такие, получили от него ответ: хотя вы не немцы, но вероятно вас возможно принять в союз, а условия приема таковы: вы не социал-демократы, не имеете с ними никаких сношений, не принадлежите ни к какому иному социалистическому обществу и что вас рекомендует какой-либо член общества. Если ваши сведения окажутся неверными, то вас немедленно исключат из союза и пропечатают об этом в газете. Мы не приняли таких условий и не пожелали войти в союз, хотя не были социал-демократами.

Кулябко-Корецкий на стр. 27 своих воспоминаний говорит, со слов Рихтера, о *социал-демократическом союзе рабочих* (разрядка моя) „Grütly Verein“, тогда как „Грютли“ был национальный союз исключительно швейцарских рабочих, враждовавших с социал-демократами. Если Рихтер был знаком с рабочими организациями Цюриха, то не мог этого говорить.

но нас всех вмещавшую. Беседы затягивались иногда очень надолго и вообще были весьма оживленны и непринужденны. Время тогда было чрезвычайно интересное: франко-прусская война и вызванное ею революционное движение во Франции. На собрания я постоянно являлся с целым ворохом известий, сведений о происходивших тогда событиях. Кроме того, я выписывал разные издания Интернационала не только швейцарские, но и бельгийские. Последние, как газета «Liberté l'Internationale Le Mirabeau», хорошо редактировались и вообще были очень содержательны. Конечно, все мы сочувствовали французам, а к немцам относились критически и подчас даже недружелюбно.

На одном из таких наших собраний я внес предложение выписывать русские журналы, газеты и книги, мотивируя это тем, что, живя за границей, мы можем потерять всякую связь с родиной, не будем знать, что в ней делается, тогда как сами имеем в виду, окончив курс учения, работать на родине. Предложение было единогласно одобрено, и тотчас же мы сделали подписку единовременную, а затем и постоянную с обязательством вносить ежемесячно по три франка. Решили выписывать на текущее второе полугодие газету «Петербургские ведомости», считавшуюся тогда самой добропорядочной, добросовестной и богатой сведениями, корреспонденциями, помещаемыми в ней. Кроме того, выписали три-четыре сочинения, касавшиеся русских народных движений. Тогдашние передовые журналы как «Отечественные записки» и «Дело» получались бесплатно: первый благодаря сотруднику их Сергею Николаевичу Южакову, брату студентки Елизаветы Южаковой, а второй высылался мне по распоряжению Шелгунова, сотрудника и соредактора журнала, моего приятеля, с которым мы вместе жили в ссылке и у которого я работал в качестве чего-то вроде секретаря. «Вестник Европы», за израсходованием всех экземпляров, отказался высылать в этом году, но с начала будущего года начал его высылать.

С этого же времени я начал передавать в общее пользование, то есть в будущую библиотеку, всё, что я только приобретал, издаваемое Интернационалом разных стран на французском языке, а получал и приобретал я тогда очень много и чуть ли не всё, что только выходило тогда из печати. Кроме того, я покупал книги по истории революций, народных движений, рабочего вопроса и тому подобное и тоже отдавал их в библиотеку[5]. Что же касается изданий на немецком языке, то их приходилось приобретать за деньги, но так как их выходило очень мало по этим вопросам, то для средств это было не обременительно. Выписывали выходившие тогда две немецкие социал-демократические газеты.

Пономарева выбрали заведующим нашей будущей библиотекой; в комнате его находился платяной шкаф, на верхнюю полку которого сложили все собранные нами книги, которых оказалось очень немного. Только месяца через три он понемногу стал наполняться французскими книгами таких писателей как Прудон, Луи Блан, Мишле, Бакунин, Маркс, Фурье, Сен-Симон и так далее. При самом начале было решено приобретать книги только серьезного содержания, определенного направления по вопросам социальным, истории революции, народных движений разных

[5] Секретарь библиотеки Смирнов в полугодовом отчете за 1872 год представил список пожертвованных книг за два года, из которого видно, что я в списке стою первым: пожертвовал свыше 160 сочинений.

стран, рабочему вопросу и так далее. Таким образом библиотека до конца дней своего существования строго выдерживала это направление и из дальнейшего будет видно, что достигнуть ей этого удалось нелегко, что ей за время ее существования пришлось перенести серьезные нападения и атаки.

***

Кружок и библиотека вышли из наших вечерних собраний не сразу, а по мере нашего сближения; предварительно я ни с кем не говорил об образовании кружка, библиотеки, даже самых слов «кружок», «библиотека» не произносил в наших разговорах. Приходилось поступать очень осторожно и пользоваться обстоятельствами, представляя всё свободному развитию. В группе студенток находились крупные в интеллектуальном отношении личности, как Лаврова Софья Николаевна, Смецкая Надежда Николаевна, Симанович Роза Павловна.

Мне представлялось тогда, что, затевая такой кружок за границей, не достаточно ограничиваться беседами на политические, социальные и революционные темы и сбором пожертвований на стачки рабочих Интернационала, а необходимо еще устроить что-нибудь такое, чтобы связать всех так сказать материально, почему я и предложил общую выписку газет, журналов, книг, мечтая про себя, что со временем при известных усилиях может образоваться хорошая библиотека революционного содержания, которая послужит организующим центром; помимо того она будет иметь огромное просветительное и образовательное значение в революционном направлении. Так я думал и предполагал, а пока приходилось делать то, что и как в данный момент сознавалось и чувствовалось необходимым всеми, не задаваясь будущим. Ведь, если бы в то время прямо предложить составить кружок с революционными задачами, устроить библиотеку революционного характера, то несомненно большинство, а может быть и все решительно уклонились бы от этого и предложение провалилось бы. Тогда как при ином подходе удалось создать и то, и другое, при чем и то, и другое стало такими солидными и крепкими, что просуществовало несколько лет и принесло немалую пользу.

Месяца через два-три после начала наших собраний три человека совершенно перестали посещать собрания, а остальные теснее сблизились, спаялись между собой, представляли как бы одну семью, с одинаковыми взглядами на жизнь, интересами; идеалом будущего общества был анархический строй жизни, все были приверженцами Бакунина и считали его своим вождем.

Я достаточно уделял времени, забот и своих средств на устройство и расширение библиотеки, хотя и другие постепенно втягивались и заинтересовывались ею, а впоследствии горячо относились к ней и серьезно и энергично защищали ее. Молодежь, приезжавшая из России, конечно, представляла собой в революционном смысле совершенно сырой материал и только со страстным желанием учиться медицине и другим наукам, а затем послужить своей родине. Здесь же она сразу попадала в среду, насыщенную анархическими революционными взглядами, и очень скоро медицина отходила на второй план, а являлась крайняя необходимость в выработке революционного мировоззрения. В членах кружка они находили полную готовность личной помощи им в этом, а в библиотеке массу книжного материала. Ведь недаром

впоследствии наши недруги так энергично, так страстно желали, стремились и делали всё возможное для того, чтобы разбить библиотеку и всё связанное с ней какими бы то ни было средствами (смотреть примечание 1-е в конце статьи).

***

Несколько слов о себе. Товарищи мои знали, что я нуждаюсь в заработке, что сбережения, сделанные мной еще в Америке, подходят к концу, и вот как-то один из них передал мне, что можно получить хороший урок по математике. Конечно, я немедленно отправился по указанному им адресу; там меня встретила женщина средних лет, с виду несколько болезненная, и объяснила мне, что с нею нужно заниматься математикой, которую она очень любит, что готовить ее никуда не нужно, что несколько месяцев она занималась с учителем-немцем, но прекратила уроки; затем немца заместил, по-видимому, славянин, который очень плохо говорил по-немецки и по-русски, так что иногда она ничего не понимала, что он хотел сказать; она знакома, хотя немного, с алгеброй и геометрией; условия ее таковы: ежедневно заниматься полтора часа, а вознаграждение по 5 франков за урок. Я, конечно, согласился на это при условии разрешения отлучек, но не более как на неделю, и с обязательством задавать ей на это время соответственную математическую работу. Эти занятия продолжались более двух с половиной лет с перерывами (Парижская Коммуна, моя продолжительная болезнь, частью впрочем совпавшая с поездкой моей ученицы в Россию). Несомненно она располагала достаточными средствами, жила всегда в хороших пансионах в очень хороших условиях, но ее внутренний мир был и остался для меня совершенно неведомым. Ни во время занятий, ни после них не бывало никаких разговоров кроме математики и на мои попытки что-либо узнать о жизни моей ученицы я всегда встречал нежелание отвечать и даже некоторое неудовольствие. С учащейся молодежью она не имела никаких отношений, никакого знакомства и, по-видимому, решительно не интересовалась ее жизнью, да и вряд ли что-либо знала о ней. Несомненно она была барского воспитания, довольно образована, знала языки французский и немецкий, и я частенько видел на одном из столов ее комнаты новые беллетристические произведения на этих языках; даже раз как-то заметил на столе совершенно новую немецкую книгу, судя по заглавию, религиозно-философского содержания. Словом, мои отношения к ней были чисто учительские: пришел на урок в половине одиннадцатого утра, поздоровался, уселся на стул, взял в руки карандаш, начал урок; часы пробили двенадцать, кладу карандаш на стол, раскланиваюсь и ухожу, – так происходило изо дня в день и продолжалось чуть ли не три года.

Кроме этих занятий, иногда, временами, были еще занятия по алгебре, геометрии и физике с вновь приезжающими студентками, недостаточно подготовленными по этим предметам. Таким образом мое материальное существование было совершенно удовлетворительно; мне вполне хватало не только на квартиру, стол, одежду, но также и на разные поездки, на покупку на значительную сумму книг, которые через некоторое время обычно поступали в библиотеку, и на другие расходы.

Мысли о продолжении своего технического образования я еще не оставил; поэтому последние полтора-два месяца 1870 года и начало следующего года, обложившись

программами, руководствами, лекциями за два инженерных курса политехникума, усердно начал штудировать их и готовиться к сдаче вступительного экзамена. По мере же изучения программ предметов, а в особенности знакомства с занятиями студентов политехникума, я всё более и более убеждался, что учеба в нем будет поглощать всё мое время, что придется заниматься ежедневно с раннего утра до позднего вечера – так работают там всерьез занимающиеся студенты, что, следовательно, на мои всякие «другие дела» вне политехникума времени у меня решительно не будет. Бакунин поддерживал меня в моем замысле и говорил мне: «инженеры нам очень нужны, поступай и учись». Раздумывая о таком положении, я тем не менее предпочитал «другие дела» учебе в политехникуме, и если бы в будущем действительно увидел, что у меня нет времени для них, то тотчас же брошу учебу. Но вот внезапно и окончательно вопрос этот разрешила Парижская Коммуна. С провозглашением ее я бросил и занятия свои и самую мысль о политехникуме и уехал в Париж.

Бакунин советовал, но не настаивал, предпочесть политехникум разным «делам» еще и потому, что тогда он несколько иначе смотрел на женщин, чем я, – конечно с революционной точки зрения. Он не придавал им такого значения, как я; он не видел и не знал женщин-революционерок – до Цюриха-то их было «одна-две и обчелся»; на мои рассказы о них он замечал: «ну что ж, пускай, я ничего не имею против», и только; он как бы ждал проявления их серьезной деятельности. А когда в 1872 году он пожил в Цюрихе, познакомился со всеми студентками и сумел встать с ними почти в товарищеские отношения, то тогда он стал говорить о них совсем другим языком; он говорил, что это большая молодая нарастающая революционная сила, что нигде в мире нет ничего подобного; в веселом настроении он не раз говорил о цюрихчанках: «это Россов[6] полк и с ним надо считаться», то есть с «полком».

Разгром рабочего революционного движения, с попыткой образовать коммуну в Лионе, произошел во второй половине сентября 1870 года. Государственная власть во Франции находилась тогда в руках умеренных республиканцев с Гамбеттой во главе; они-то и подавляли все тогдашние революционные восстания рабочих. Восстание рабочих в Лионе имело анархический характер, да и все рабочие организации Лиона, Марселя, Сент-Этьена, Монпелье и так далее были проникнуты отрицанием власти. Надо помнить, что среди французских рабочих идеи Прудона об анархии господствовали; влияние Бакунина было огромное, благодаря еще тому, что он принимал личное участие в движении.

После разгрома, конечно, произведены были большие аресты среди рабочих; многие все-таки успели скрыться, среди них и Бакунин; хотя сначала его арестовали, но рабочим из национальной гвардии удалось его освободить. Он с несколькими своими товарищами уехал в Марсель, где и скрывался некоторое время, а затем префект города Эскирос[7], крайний республиканец, знавший Бакунина, предупредил его, что у военных властей, независимых от него, имеется распоряжение центрального правительства, то есть Гамбетты, арестовать его во что бы то ни стало. Таким образом

---

[6] Раньше я уже говорил, что за границей я жил под именем Арман Росс.

[7] В издании 1932 года ошибка – значится «Эспинас», хотя префектом и «верховным администратором» Буш-дю-Рона в октябре 1870 года был Альфонс Эскирос. «Эспинас» – министр-бонапартист Второй Империи. Возможно, Сажин перепутал созвучные фамилии. (прим. 2026)

Бакунин вынужден был оставить Марсель и возвратиться в Локарно, постоянное свое местопребывание.

Вскоре по приезде в Локарно, приблизительно около половины октября, он прислал мне письмо с описанием жизни его в Марселе и морского путешествия до Генуи; в этом же письме предложил мне съездить в Лион с целью восстановить связи с некоторыми лицами, предварительно разыскав их.

Конечно, я согласился, и очень скоро, получив от него какой-то паспорт не то далматинца, не то словака, отправился в Лион.

Поездка заняла у меня несколько дней, кое-что удалось мне сделать, но так как за мной в городе оказалась слежка, как сообщили мне рабочие-французы, а затем возможность ареста, то двое товарищей пришли в мою комнату вечером и настоятельно потребовали немедленно уехать в их сопровождении на ближайшую железнодорожную станцию по направлению к швейцарской границе. Благодаря этому на другой день я очутился уже в Женеве и, следовательно, в полнейшей безопасности.

***

Вернувшись в Цюрих, я услышал от своих товарищей, что в городе происходит волнение, что жители недовольны правительством, но в чем состоит недовольство теперь – я решительно не помню, – как-то исчезло из памяти[8]; помню только, что было арестовано и заключено в местную тюрьму несколько десятков человек, причастных к этому движению, что были разговоры среди жителей о перемене правительства или об удалении некоторых его членов. В день моего приезда или на другой день под вечер я вместе с товарищем Пузисом отправился в город, который, как известно, расположен большей частью по берегу озера (а учащиеся жили почти все на горе в предместье города, где были политехникум, университет, клиники). Все улицы города, примыкавшие к площади, на которой в большом здании помещались правительственные учреждения города и всего кантона, а также и само правительство, были запружены народом, так что буквально трудно было передвигаться по ним. Правительственная же площадь была оцеплена войсками; перед зданием же против народа стояла артиллерия (несколько пушек). Любопытно то, что все эти войска были вызваны из других кантонов, так как на поддержку своих местных правительство не рассчитывало. Между кантонами обычно существовали разные недоразумения и даже вражда на почве местных интересов; так, например, между жителями цюрихского кантона и бернского постоянно были недружелюбные и даже отчасти враждебные отношения, поэтому цюрихское правительство обратилось к бернскому за помощью и получило ее в виде пехоты, кавалерии и артиллерии.

Вся наша колония как мужская, так и женская часть находилась в толпе, вместе с ней передвигалась и очень скоро разъединилась, так что мы с Пузисом очутились довольно далеко оттесненными от площади, центрального места всего движения.

[8] «Тонхаллекраваль» (Тонхалльский погром) – цюрихские беспорядки 9-12 марта 1871 года. Немецкая община праздновала победу Германии в войне, из-за чего началась драка с интернированными французскими офицерами армии Бурбаки. Началась демонстрация, на которую пришли войска. Арестовано 42 человека, большинство осуждено на годы заключения. 11 марта толпа штурмовала тюрьму Оттенбах.

Тут мы услышали, что группа лиц, главным образом рабочие с мясных боен, ушла к тюрьме с целью освободить арестованных по настоящему делу; оба мы туда же бросились тотчас же. Подходя к тюрьме, мы действительно увидели небольшую толпу людей у самой тюрьмы, ворота которой, конечно, были заперты; снаружи не видно было никакого караула. Недалеко от тюрьмы на земле лежало несколько бревен, и вот несколько человек схватили одно бревно, подтащили его к воротам тюрьмы, подняли на руки, стали раскачивать и ударять им в ворота. Конечно, недолго раздумывая, мы оба тоже вцепились в бревно и действовали им как и другие. После нескольких ударов ворота стали поддаваться, а калитку в воротах отчасти успели даже разбить, вылетело из нее несколько досок; но в это время подошел порядочный отряд войска (милиционеров) и, не причиняя нам никакого вреда, но довольно осторожно, бережно, постепенно оттеснил нас от тюрьмы и принудил бросить всю нашу работу. Как оказалось, милиционеры были все цюрихчане. Толпа после этой неудачи направилась в город, и мы оба вместе с нею. А в городе кавалерия небольшими отрядами все время передвигалась по улицам и таким путем рассеивала толпы народа. Здание правительственных учреждений было всё освещено и в нем беспрерывно заседало правительство.

К полуночи горожане разошлись по домам, а на улицах осталась полиция и войска, которые расположились бивуаком. На другой день рано утром на стенах городских домов, а также во всех газетах появилась правительственная прокламация с какими-то уступками, – какими именно – теперь решительно не могу припомнить[9], но по-видимому удовлетворившими требования населения, потому что движение окончилось и жизнь потекла в городе тем же порядком, как и раньше. В клинике университета оказалось порядочное число лиц, пострадавших во время этих беспорядков, так что наши студентки и тут успели оказать помощь раненым по мере сил и возможности.

Раньше я уже говорил, что весь наш кружок с огромным интересом следил за всем тем, что происходило во Франции в это время; а там, с одной стороны, шло поражение за поражением французских войск и в то же время, с другой – энергичная организация новых больших армий, требовавших средств. В газетах между прочим сообщалось о бедности и крайней нужде в медицинской помощи, в врачах, фельдшерах, санитарах и тому подобном. В начале войны, но уже после плена Наполеона с его армиями, следовательно уже при республике, образовался в Цюрихе небольшой санитарный отряд под управлением профессора университета Розе, в котором принимала непосредственное участие русская Быкова, окончившая курс медицинских наук в этом университете за несколько месяцев перед войной с званием докторессы. Под влиянием таких известий из Франции, члены кружка студентки Лаврова, Смецкая, Южакова тоже отправились, сколько помнится, в Дижон, где формировалась восточная армия под командой генерала Бурбаки, поступили в санитарный отряд, в котором пробыли время борьбы с немцами до тех пор, пока эта армия не была разбита и вынуждена положить оружие и перейти швейцарскую границу.

Таким образом наши санитарки, перейдя границу вместе с разбитой и отступавшей французской армией, снова появились в нашем кружке. Солдаты пришли с

[9] Были освобождены несколько арестованных.

отмороженными носами, ушами, пальцами, очень бедно и худо одетыми, полуголодными, так как они лишились всего своего обоза, захваченного немцами, а время было зимнее; покрытые глубоким снегом горные дороги, по которым им пришлось отступать, были трудно проходимы. Среди отступавших было к тому еще много раненых солдат. Швейцарцы встретили их с горячими симпатиями и оказали им всевозможную помощь: очень скоро их одели, обули, накормили и вообще устроили их временную здесь жизнь. Цюрихский кантон принимал большое участие во всех этих заботах и во всякой помощи.

Нужно сказать, что швейцарцы чуть не поголовно, особенно средний и низший класс, относились с огромным сочувствием и любовью к французам, тогда как к немцам отрицательно. Среди местной богатой буржуазии города и кантона жило много прусских и вообще германских немцев – промышленников, капиталистов и тому подобных; существовали значительные материальные интересы между теми и другими – эта категория людей симпатично относилась к немцам и отрицательно к французам. Перед концом войны, ввиду заключения мира между немцами и французами, вся эта публика решила устроить пиршество в честь немецких героев: императора Вильгельма, князя Бисмарка, разных крупных генералов. Для этого заняли самый большой зал, в котором обыкновенно давались публичные концерты, и по подписке организовали обед с приличной выпивкой. На это собрание допускались только сочувствующие немцам, и таковых нашлось несколько десятков не только среди немецких капиталистов, промышленников и их присных, но и среди местных цюрихских нотаблей. Затем эта сторона стала достоянием всего города и вызвала разные толки, весьма неблагоприятные как для авторов ее, так и для участников. В назначенный вечер около здания, где должен был состояться обед, стали собираться недовольные жители города, среди которых присутствовали четверо нас, русских, настоящих и будущих студентов. К началу обеда перед зданием на улице народу собралось так много, что участники обеда лишь с трудом могли подъезжать в экипажах. Встречали их громким свистом и разными весьма обидными для них возгласами. Зал был, конечно, ярко освещен, а в назначенный час заиграл оркестр музыки и с улицы в окна было видно, что гости уселись за громадный стол и обед начался; как раз в этот момент из толпы полетели в освещенные окна камни, сначала единичные, а потом чуть не градом, сопровождаемые хохотом, свистом, ругательствами. Очень скоро освещение погасло почти во всей зале, обед, конечно, внезапно прекратился, а обедающие быстро скрылись задним ходом. Несколько человек из толпы отправились в залу и увидели там много побитой посуды, оконного стекла, камней, словом большое разрушение. Толпа народа с восторгом встретила известие, переданное возвратившимися из залы; она была очень довольна, что удалось не допустить такое торжество.

***

После отъезда санитарок во Францию, товарищ Б. в формировавшийся отряд Гарибальди и моей новой поездки в Лион остальные члены кружка собирались довольно редко, так что теперь, когда все вернулись домой, наши собрания снова приняли регулярный характер. Это был январь 1871 года. На одном из этих собраний

Пономарев, заведывавший нашей скромной библиотекой, сообщил нам о приезде нескольких новых лиц, кавказцев и евреев, которые побывали у него, расспрашивали о библиотеке, о студентах, о наших собраниях, выражали желание познакомиться со всеми, бывать на собраниях, принимать участие в библиотеке. Пономарев на все это им ответил, что им прежде всего следует познакомиться лично с членами группы, сойтись с ними, потому что библиотека совершенно частная, собрания точно также частные, товарищеские, а не общие для всех и каждого русского, приехавшего сюда, что в них нет ничего официального, публичного и так далее, что книгами, которых очень немного, пользуются только те, кто принимал в библиотеке участие при самом начале ее основания.

После посещения Пономарева вновь приезжавшие ни у кого из нас не были, и все мы, кроме Пономарева, никого из них не знали и не встречали, так что даже забыли о них, как вдруг все мы получили приглашение от нескольких русских на собрание, устраиваемое ими для решения какого-то вопроса, касавшегося всех русских, живущих в Цюрихе в данное время. Не помню, какой именно вопрос должен был решиться, но помню, что в приглашении говорилось о библиотеке и об общих собраниях всех русских. Мы решили присутствовать на этом совещании, а нас тогда было двенадцать человек, а именно: Лаврова, Смецкая, Симонович (Роза), Клейнман (Дора), Южакова, Герценштейн (женщина), Берлинерблау (женщина), Арцибушев, Пономарев, Барский, Пузис и я. Инициатором собрания оказался Семен Серебреников, мой прежний приятель и товарищ, но потом отставший от меня и даже враждовавший со мной (вражда началась, кажется, на почве кружка и библиотеки).

Собрание было довольно многолюдное; кроме нас, явилось довольно много новых, нам совершенно неизвестных молодых лиц. При самом начале заседания обнаружилось, что главная и единственная цель собрания – реорганизация библиотеки и кружка. Прения были очень горячие и временами переходили даже на личную почву. Требовали, чтобы библиотека имела общий характер, как все обыкновенные библиотеки, чтобы в ней были книги для легкого чтения, чтобы она была отнюдь не тенденциозна, как теперешняя, чтобы доступ в нее был совершенно свободный, чтобы всякий мог свободно пользоваться книгами за известную плату. К кружку тоже были предъявлены требования в таком же роде, чтобы на собраниях его мог присутствовать всякий, чтобы они были совершенно свободны и открыты для всех и каждого. Некоторые из оппонентов представляли себе, что существует общество всех русских и, следовательно, всякий вновь приехавший имеет право бывать на собраниях его. После разъяснений, что библиотека устроена небольшой группой учащихся, солидарных между собой в убеждениях, и только для собственного пользования, после продолжительных прений, пришли к такому соглашению: существующая библиотека и кружок при ней останутся в том виде как есть; одновременно же было решено приступить к организации библиотеки общего характера, совершенно свободной для всех, а при ней общества такого же характера. Конечно, устраивать такого рода свободную библиотеку и при ней общество никто не начинал, да и едва ли кто имел серьезные намерения. В частных беседах вопрос обычно сводился к тому, чтобы уничтожить тенденциозный характер существующей библиотеки, так как молодежь едет за границу изучать медицину или технику, а не для изучения социализма, Интернационала, разных революционных народных движений; книги же легкого чтения

– обязательно нужны, так сказать для отдыха от изучения серьезных наук. Для нас же была дорога, очень дорога, именно тенденциозность библиотеки, именно возможность знакомиться и изучать вопросы революции в самом широком смысле. Таким образом этот первый приступ на библиотеку был отбит: библиотека и кружок продолжали существовать, сохраняя свой характер и направление. Единственным результатом собрания, единственной уступкой было то, что мы согласились давать книги для чтения всем желающим за ту же плату, какую вносили мы, то есть по 3 франка в месяц.

Обыкновенно с женщинами, вновь прибывшими, для поступления в университет, прежде всего знакомилась какая-нибудь студентка; она и вводила их в кружок, так было с Берлинерблау и Герценштейн (вскоре умершей в Цюрихе) после знакомства с нами. Теперь приехало еще две женщины – Яковлева и Зибольд. На одном из наших собраний кто-то из мужской половины поинтересовался узнать о вновь прибывших и об их приеме в кружок. Студентки уже познакомились с ними, и все они на собрании высказались решительно и единодушно против их вступления. По их словам, Яковлева и Зибольд отнеслись отрицательно к направлению кружка и библиотеки: «они приехали в Цюрих учиться медицине и только, ничего другое их не интересует и не должно отвлекать их от ее изучения; они не имеют никакой потребности в книгах нашей библиотеки». Так и остались они чужды нам и нашей библиотеки до конца своего учения в университете. Другого такого случая я не помню, хотя были такие личности, которые избегали всякого знакомства со старыми студентками, старались себя вполне изолировать от всей цюрихской жизни, не входили в ее интересы и, конечно, мало что о ней знали, но это не мешало им рассказывать о ней всякие небылицы.

Война между Францией и Германией подходила к концу, в газетах появились известия о заключении перемирия между воевавшими державами; было известие о том, что в осажденный Париж немецкая военная власть начала пропускать поезда с разного рода провиантом для голодавших жителей города, а также выпускать из города лиц, почему-либо желавших оставить его, при чем прусские власти стали осматривать таких лиц, требовать паспорта или какие-либо другие документы, удостоверения личности, но в первые дни делалось это далеко не удовлетворительно, потому что вели это дело военные, а не жандармы или обыкновенная полиция. Благодаря этому обстоятельству успело выйти из Парижа несколько лиц, о которых у военных властей были приказы об аресте, как довольно откровенно заявляли об этом пруссаки при появлении русских выходцев из Парижа.

Очень скоро, чуть ли даже не прямо из Парижа, приехал в Цюрих Нечаев, конечно, в строжайшем инкогнито. Он пришел ко мне, предупредив меня, что его пребывание здесь абсолютно никому не должно быть известно. Все его рассказы о Париже во время осады, которую он прожил там, а в особенности его взгляды на всё то, что там происходило в это время, меня крайне удивляли, я никак не мог с ним помириться, горячо спорил и возражал ему. Он восхвалял тогдашнее правительство Франции Жюля Фавра, Ферри, Жюля Симона и так далее и главу их генерала Трошю; с большой критикой относился он к Бланки и его деятельности, сурово порицал революционные попытки 31 октября и 22 января (обе они были организованы и руководимы Бланки). Очень он интересовался нашей колонией русских студенток и студентов, о

чем я ему подробно рассказывал, а он в то же время рассказывал о своем деле и о проектах на будущее, хотя, как я видел и чувствовал, с большими умолчаниями и сдержанностью; но тем не менее после весьма продолжительной беседы он в конце концов признал, что дело его вполне рухнуло и что у него в данный момент нет никаких революционных связей ни в России, ни здесь, кроме кое-каких личных знакомств, да и то очень ограниченных.

После этого посещения Нечаев несколько раз приезжал ко мне, но никогда не предупреждал меня ни о своем приезде, ни об отъезде, также никогда не говорил, откуда и куда он уезжал, так и в этот раз он уехал внезапно, не говоря мне ни слова. В один из следующих своих приездов он дал мне адрес одного швейцарца, жившего где-то около города Ольтена или Биля, но пользоваться этим адресом можно было только в случае самой крайней необходимости и только условной телеграммой, приглашавшей его приехать на свидание ко мне в Цюрих. Сколько припоминаю, такого случая мне не представилось и я его не вызвал на свидание. Вообще свидания наши он устраивал по большей части где-либо за городом. В другом месте[10] я уже рассказывал о дальнейших своих с ним свиданиях и переговорах, так что здесь повторять нет нужды. Конечно, о своих встречах с Нечаевым я ничего не говорил своим товарищам по кружку, а Бакунину написал большое письмо, в котором изложил подробно все разговоры.

Как только стали появляться в газетах известия о событиях 18 марта в Париже, о бегстве в Версаль правительства, а вместе с ним военщины, чиновничества, крупной буржуазии и тому подобного, словом о начавшейся революции, я немедленно написал Бакунину в Локарно, Озерову и Огареву в Женеву о своем решении как можно скорее ехать в Париж, чтобы принять участие в движении. Озеров очень скоро ответил, что туда же собирается ехать поляк Ланкевич, друживший с бакунистами, а также и сам он подумывает о поездке вместе с нами (впоследствии он отказался от этой поездки). Бакунин благословил меня, прибавив, что только старость и болезнь удерживают его от такого путешествия. Озеров сообщил Гильому, с которым я тогда мало еще был знаком; таким образом через несколько дней выяснилось, что в поездке принимают участие, кроме меня, Ланкевич и француз-эмигрант Парратон, участник Лионской коммуны. Несчастного Парратона в дороге, за несколько станций до Парижа, версальская полиция признала, арестовала в вагоне, а затем после военного суда, кажется, расстреляла[11].

В Париже я прожил почти два месяца – с апреля по июнь, – и за все это время ни от кого не получал писем, за исключением, кажется, только одного письма из Цюриха. Версальская полиция и войска, с одной стороны, а с другой, немецкая армия окружали город со всех сторон и прервали всякое сообщение его с внешним миром; никакая корреспонденция не доходила по назначению, а всегда оставалась в руках версальцев, и поэтому цивилизованный мир не имел точных и верных сведений о

[10] Смотреть «Воспоминания о Сергее Геннадьевиче Нечаеве» в моей книге «Воспоминания», М., 1925.

[11] На самом деле, его держали в тюрьме вплоть до 1874 года, пока Парратон не умер в тюремном госпитале в Бресте. Парратон участвовал в Лионской коммуне 1870 года и в Лионской Коммуне 1871 года (с 22 по 25 марта), был одним из 11 человек-участников временного комитета коммуны. Сбежав в Швейцарию, 15 апреля Парратон решил ехать в Париж. (прим. 2026)

событиях, происходивших в Париже. Только в последнюю неделю существования Коммуны, то есть в знаменитые майские дни, когда версальские войска ворвались в Париж и произвели там жесточайшую зверскую расправу с побежденными коммунарами, стали появляться корреспонденции с описанием того, что происходило в городе.

Все мои цюрихские друзья и товарищи, а также Бакунин, Огарев, Гильом и другие, считали меня или убитым, или попавшим в плен к версальцам. Мой сотоварищ Ланкевич действительно погиб на баррикаде в Бельвильском квартале; я же остался цел, невредим и благополучно выбрался из Парижа, как и многие другие участники революции. Появление мое в Цюрихе среди моих сотоварищей студентов и студенток было действительно неожиданным. Я приехал прямо к Пономареву, рассчитывая прожить у него несколько дней до приискания себе комнаты. Конечно, он был крайне удивлен, увидав меня живым и здоровым. Вечером мы с ним отправились в дом фрау Фричи, где жила тогда большая часть русской колонии. Все они были вместе в общей комнате за чаепитием; подойдя к дверям ее, мы услышали шумный разговор, но когда я вошел в комнату, то все они, увидя меня, как бы застыли в том положении, в каком я их застал, и при первом моем слове внезапно бросились ко мне, жали мои руки, обнимали меня и даже целовали с возгласами: «он жив». Словом, встреча была самая сердечная, самая товарищеская, сильно взволновавшая меня и до сих пор не забытая мной. Весь вечер, чуть не до света, мы провели в моих рассказах и их вопросах.

***

Вскоре после моего возвращения из Парижа здесь появились эмигрировавшие русские студенты Московского университета Гольштейн, Смирнов и Эльсниц, которые были замешаны в так называемой полунинской истории. Полунин, очень старый профессор Московского университета, далеко не удовлетворял студентов как ученый, как профессор и, наконец, вызвал против себя очень серьезную демонстрацию с требованием оставить занимаемую им кафедру и предоставить ее какому-либо другому ученому. В это же время шло расследование известного нечаевского дела, то есть образованного им тайного общества. Полицейские власти и III отделение собственной его величества канцелярии имели намерение пристегнуть к этому делу также студентов, причастных к полунинской демонстрации. Смирнов, Эльсниц и Гольштейн, узнавши о таковом намерении жандармской власти, нашли для себя гораздо лучшим эмигрировать в Швейцарию с целью окончить там свое медицинское образование. Они были студентами III и IV курсов и желали быть врачами, а не сосланными куда-либо на север России или даже в Сибирь, что им грозило, если бы они очутились в руках жандармов.

Гольштейн и Эльсниц торопились скорее записаться в студенты университета на предстоящий семестр для продолжения своей учебы и в то же время не обнаруживали никакого стремления познакомиться с окружающей европейской жизнью, тогда как Смирнов, напротив, не спешил попасть в университет, а очень интересовался Интернационалом, рабочим движением разных стран и Парижской Коммуной. Цюрихскими же студенческими делами, библиотекой интересовались все трое и

все выразили желание быть ее членами и, конечно, познакомиться со всей нашей колонией. К началу осеннего семестра желание их осуществилось, и они были приняты в члены библиотеки, а Смирнова даже назначили секретарем ее. Библиотека к этому времени значительно расширилась и исполнять всю работу одному человеку было трудновато, поэтому отделили работу по выписке книг, журналов, ведения отчетности, каталога и прочую письменную работу от непосредственной выдачи книг для чтения читателям, хранения их и кассы, для чего выбирался особый библиотекарь. Кроме того, была еще назначена ревизионная комиссия, наблюдавшая за общим ведением дела, руководившая выбором книг и журналов для выписки и приобретения их. За всё время существования библиотеки я оставался бессменным членом ревизионной комиссии, тогда как другие ее члены менялись, а весь состав комиссии состоял из трех человек.

Спустя месяца два после начала осеннего семестра, произошло одно очень важное для пребывания женщин в университете событие, которое могло иметь очень печальные последствия для них. Вот о нем хочется и нужно рассказать, но при этом считаю нужным предупредить читателей, что произошло оно ведь шестьдесят лет тому назад, так что возможно кое-что и забыть, поэтому я изложу его только вообще, не входя в подробности.

В состав студенчества университета входили, главным образом, швейцарцы, поляки, южные славяне (сербы, словаки, болгары) и, наконец, русские женщины и четверо русских мужчин. Швейцарцы и поляки (несколько десятков, а быть может и больше сотни) образовали из себя две солидные организации с президиумом во главе, официально признанные не только начальством университета, но и местной городской властью; славян было около двадцати человек. С швейцарской студенческой организацией считалась профессура и ректорат, и в нее входили не только студенты, но даже молодые преподаватели и профессора. Не было студента-швейцарца, который не принадлежал бы к этой организации. Польская же организация состояла исключительно из студентов-поляков и имела характер не только национальный, но и политический. Польское студенчество было исключительно из дворянского, шляхетского сословия и из богатой буржуазии, вообще из зажиточного класса. Вся эта масса польской молодежи относилась недружелюбно к небольшой местной группе рабочих из поляков и более или менее враждебно к нам, русским. Они решительно избегали всяких сношений, столкновений с русским студенчеством, видя во всяком из нас такого же врага Польши, каким было наше правительство и поддерживавшего его реакционной партии. Они не разбирались, да и не делали ни малейшей попытки разбираться в наших партиях.

Среди профессуры была значительная группа, которая относилась вполне враждебно к женщинам, желавшим быть врачами. Эти профессора, противники женского медицинского образования, считали и открыто заявляли, что дело женщин – вести семью, воспитывать детей, быть хозяйкой дома, но ни в каком случае не заниматься делом, которое присуще только мужчине. Женщина, как слабое существо, не может быть хирургом, врачом, где требуется сила характера, присутствие духа, уменье, ловкость, словом обладание такими качествами, которые, по их мнению, совершенно отсутствуют у женщин, и так далее.

Такие взгляды постепенно проникали в среду швейцарского студенчества, где встретили сочувствие и в то же время поддержку, так как среди студенчества раздавались жалобы на то, что присутствие женщин на лекциях и в особенности в анатомическом зале мешает и развлекает их, что будто бы женщины занимают лучшие места в аудиториях, кокетничают, получают лучшие трупы в анатомическом кабинете. К усилению всех этих разговоров, а затем и к прямой агитации присоединилось еще то обстоятельство, что сначала в университете было 4-5 женщин, а теперь с нового семестра чуть не полтора десятка, да кроме того, по сведениям из ректората университета, ожидается приезд еще нескольких; словом приток женщин растет и может совсем затопить университет.

Приблизительно около этого же времени в польском студенческом обществе выступил против женщин поляк Крупский, бывший студент медицинского факультета Варшавского университета; он участвовал в польском восстании 1863 года, был осужден на каторгу, по отбытии которой вернулся в Россию, кажется, в силу какого-то манифеста, а может быть бежал с поселения. Первое время своего появления в Цюрихе он познакомился с Барским и со мной, высказывал сочувствие к учащимся женщинам и выражал большое желание и даже пытался завязать знакомство с ними, но безуспешно: они не пожелали этого.

И вот он среди своих товарищей в польском обществе открыто повел клеветническую кампанию против женщин-студенток, говоря, что они ведут развратную жизнь, что изучение медицины, посещение лекций только ширма, что все они любовницы каких-либо мужчин, что даже он будто бы видел в каком-то публичном доме студентку, занимавшуюся развратом. Конечно, в своем обществе он встретил весьма благоприятную почву и поэтому неудивительно, что от разговоров на эти темы очень скоро перешли к открытой агитации. Среди студенчества обоих обществ поднялось волнение; скоро и мы узнали об этом движении; некоторые студентки перестали ходить на лекции, боясь каких-либо неприятных и даже скандальных эксцессов со стороны студентов, в особенности поляков.

Вопрос ставился очень остро и формулировался таким образом: доступ женщин в университет немедленно прекратить; студенток, только что поступивших, уволить, а старых, прослушавших несколько семестров, после тщательного исследования, испытания и только в самом крайнем случае оставить, подвергнув их некоторым ограничениям.

Как известно, первыми женщинами, допущенными к слушанию лекций в университет, были Суслова и Бокова. Это было в 1866 году, сколько помнится, а кончили они и вышли докторессами в 1869 году. Обе они были женами профессоров Петербургской медицинской академии и негласно занимались в академии, то есть посещали лекции и работали в анатомическом кабинете. Каракозовский выстрел прекратил их занятия в академии. Тогда мужья их обратились к своим цюрихским коллегам с просьбой допустить их жен в университет, где они могли бы окончить образование: одна из них, Суслова, специальностью своей избрала женские болезни, а Бокова, кажется, глазные. Занятий в анатомическом кабинете им не требовалось, потому что анатомию они уже изучили в Медицинской академии.

В университет их приняли. Приехав в Цюрих, они сразу попали под покровительство профессоров, поместились на житье в семьях зажиточных швейцарских

граждан и жили у них все время ученья, на лекции в аудитории входили вместе с профессорами, имели там места, отдельные от студентов, и вообще были совершенно уединены от всяких сношений со студентами; у них не было никаких знакомств не только со студентами иностранцами, но и с русскими. Одним словом, они старались держать себя и действительно держали себя, как любая швейцарская буржуазная женщина.

Спустя три года, явились новые студентки, которые вначале тоже имели в виду устроиться наподобие Сусловой и Боковой, но вскоре они отказались от такого поведения и поставили себя так, как обыкновенные студенты-мужчины. Конечно, такое поведение их приводило в смущение швейцарцев, и они никак не могли помириться с этим, так как никак не могли представить себе свою женщину такого поведения.

Наши студентки прекрасно знали и видели, что у них нет никаких защитников среди этой массы студентов как швейцарских, так и иностранных. Среди же профессоров был один, именно профессор эмбриологии Фрей, в котором они встречали сочувствие себе, но не активную защиту. Сами же они лично защищать себя от таких наглых и дерзких поклепов находили безусловно невозможным, унизительным. Положение их было критическое; они были сильно смущены и даже поговаривали о возможности возвращения их к домам.

Русских студентов в университете было только трое: два медика Эльсниц и Гольштейн и химик Пономарев; тем не менее мы решились защищать дело женщин до самой последней степени. Сестра Эльсница только что поступила на первый семестр.

В университете скоро появилось объявление от президиума общества швейцарских студентов, приглашавшее всех студентов университета на общее собрание по вопросу о пребывании женщин в нем. Эльсниц происходил из семьи обрусевших немцев, поэтому прекрасно владел немецким языком, кроме того, по своему характеру он был человеком чрезвычайно спокойным, выдержанным, уравновешенным. Ему мы поручили говорить на собрании, при чем роль его была выработана и обсуждена совокупно со всеми нами. Кроме этого, я созвал присутствовать на собрании всех славян студентов, настоящих и будущих, политехникума, так как в университете, помнится, их было немного, предварительно условившись с ними в случае нужды прибегнуть к самым решительным мерам. Они вполне согласились на мое предложение и заявили, что будут делать все то, что я им укажу и потребую. Словом, выразили самое горячее сочувствие и желание защищать и бороться за наше дело до последней крайности и возможности.

Вот с такими силами мы отправились на собрание в указанное время; нас, защитников, то есть русских и сербов, собралось человек двадцать пять против огромной массы швейцарцев и поляков. Женщины пришли далеко не все. Зал вмещал человек двести и скоро наполнился до отказа. Мы все заняли отдельный угол недалеко от трибуны.

Председатель, открывая собрание, пригласил ораторов обсуждать вопрос спокойно, серьезно, избегать всяких резкостей и тому подобного, а затем предоставил слово студенту-швейцарцу, который, сколько помнится, говорил спокойно, деловито, умеренно и только в конце своей речи позволил себе какой-то выпад против женщин, вызвавший с нашей стороны протест, шум, крик, результатом чего явилось предложение председателя удалиться на хоры зала всем не-студентам университета

и посторонним. Все мы за исключением Эльсница и Гольштейна были или студентами политехникума или совсем не были студентами, как я, Смирнов и кое-кто из сербов. Конечно, мы немедленно исполнили его распоряжение и расположились на хорах, которые предназначались обыкновенно для посторонних посетителей.

Слово было предоставлено Эльсницу. Он говорил долго и обстоятельно; его речь несомненно произвела впечатление на швейцарских студентов, но не на поляков, которые выслушали ее очень холодно, тогда как швейцарцы хотя и скупо, но похлопали. Затем попросил слово Крупский; наши студентки все поднялись и вышли из залы, а мы на хорах насторожились, чувствуя приближение бури. Очень скоро его слова стали вызывать с нашей стороны протесты, крики: клеветник, мерзавец и тому подобное, а с течением его речи они увеличивались все более и более и, наконец, дело дошло до того, что мы стали не только кричать, но топать ногами, стучать стульями, а внизу председатель чуть не беспрерывно звонил, так что до нас долетали только отдельные фразы. Когда мы услышали начало рассказа Крупского о легком поведении студенток, то пришли в такое неистовство, что все бросились к барьеру хор, потрясая кулаками, ругали его по-русски, по-немецки, по-сербски и, наконец, я пришел в такой раж, что схватил, кажется, свою калошу и бросил ее на кафедру в Крупского. Это вызвало внизу целую бурю, студенты повскакали с своих мест с разными возгласами по нашему адресу и требовали закрыть заседание. Звонок председателя совсем утонул в этом гвалте; видно было, как он бросил на стол колокольчик, махнул рукой, надел на голову свою шляпу и ушел с места. Крупский же оставался на трибуне, держался за нее руками, а сам был бел как полотно; один или два из его товарищей свели его с трибуны буквально под руки. Впоследствии мы узнали, что он просил у председателя дать ему охрану, потому что «эти русские варвары» на все способны и могут его по дороге домой не только избить, искалечить, но даже убить. Председатель в ответ на его просьбу предложил ему просить своих товарищей охранять его, так как у него нет никакой специальной охраны. Конечно, мы были очень довольны и торжествовали, что нам удалось сорвать собрание. О том, что будет дальше и что нам делать, мы пока совсем не размышляли. Настроение женщин тоже поднялось, но тем не менее они не хотели ходить на лекции до выяснения результатов собрания.

Через два-три дня председатель президиума общества и бывшего общего собрания студентов, разыскав на лекции Эльсница, сообщил ему, что дело о пребывании женщин в университете можно считать оконченным, так как комиссия, выбранная президиумом вечером после собрания, исследовала весь этот вопрос во всех его подробностях, допросила всех квартирных хозяев, где когда-либо жили русские, студентов, имевших какие-либо столкновения с ними, даже наводила справки в публичном доме и вполне удостоверилась в безусловно корректной и высоконравственной жизни всех студенток; точно также она не нашла ничего такого, что подтверждало бы жалобы на поведение их в стенах университета. Он просил передать студенткам-женщинам от всего президиума извинение за все те неприятности, которые они пережили за эти дни, а в заключение не преминул упомянуть об исключительном способе борьбы, к которому прибегли защитники женщин (намек на калошу). Собрание студентов вызвало большие разговоры среди профессуры и цюрихского общества; мало этого, слухи о нем дошли даже до Берна, где много гово-

рили о весьма энергичном способе защиты, к которому прибегли русские. Бакунин от его бернских друзей, известного профессора Фогта и композитора Рейхеля, узнал и о калоше, произведшей переполох в собрании, и во всем деле. Что-то дошло и до России, потому что оттуда стали получаться письма с запросами, продолжают ли принимать в университет женщин.

Наши студентки после всех пережитых ими треволнений совершенно успокоились и снова начали посещать лекции и анатомический кабинет. В своих отношениях как к профессорам, так и в особенности к студентам они продолжали держаться безусловно той же линии поведения, без всяких изменений, словом, как было прежде до этого инцидента.

Перед только что рассказанным эпизодом борьбы из цюрихской жизни я ездил в Локарно к Бакунину вместе со Смирновым с целью познакомить его с ним. Я подружился со Смирновым, рассчитывая найти в нем товарища-революционера; в действительности так оно и было и продолжалось с год времени, а затем мало-помалу обнаруживалось, что он стал уклоняться от меня, а затем совсем разорвалась наша связь, наша дружба.

При свидании с Бакуниным он произвел на него неблагоприятное впечатление; я заметил это только через несколько дней при нашем отъезде, при прощании, которое со стороны Мишеля было холодно с ним; при первом же новом с ним свидании я упрекнул его за это, а он ответил мне словами вроде: «поживем – увидим, буду рад, если ошибся». Меньше чем через год мне пришлось сознаться, что относительно Смирнова ошибся я, а не он. Вообще Мишель был очень прозорлив в отношении людей. Временами казалось, что, сходясь иногда с кем-либо, он скоро расходился с этим лицом, что хорошо ненавидевшими Бакунина людьми объяснялось его легкомыслием, незнанием людей, тогда как на самом деле он прекрасно видел и понимал человека, принимал во внимание его достоинства и недостатки, но при тогдашнем очень ограниченном числе лиц, желавших работать на революционном поприще, приходилось ему пользоваться и тем малым, что мог дать данный человек. Я часто ездил в Локарно к нему и постоянно сообщал о вновь прибывших в Цюрих из России, с которыми я знакомился, и всегда слышал от него, что людей надо брать такими, какими они есть в действительности, со всеми их достоинствами и недостатками, и уметь пользоваться ими, хотя бы и временно, но не оскорбляя, не унижая их личность; из нового человека со временем может выработаться по своим взглядам на жизнь, по своим убеждениям совсем наш человек, а может и отстать от нас – во всем этом значительную роль играет искренность человека.

***

Не упомню точно, когда именно стало известно, что господин Утин намерен посетить Цюрих с целью познакомиться и завести связи с русской учащейся молодежью. Конечно, он очень хорошо знал, что здесь безраздельно владеет умами анархизм-бакунизм. Весьма вероятно, что это побудило его, заклятого врага Бакунина, приехать сюда.

Студентка Яковлева, единственная приятельница Утина, оповестила кое-кого из колонии о его приезде и предложила познакомиться с ним, а затем устроить общее

собрание, на котором он побеседует с нами. Вся русская колония, да и сербская тоже, знала Утина по его деятельности в Женевском Интернационале, относилась к нему за нее не только отрицательно, но прямо враждебно, считая его фразером, болтуном, карьеристом, чуть ли не шарлатаном. Предложение Яковлевой встретило решительный отпор: никто не пожелал знакомиться с ним, слушать и видеть его. Мало того, тогда же у некоторых из мужской молодежи явилась мысль произвести какую-нибудь враждебную ему демонстрацию. Во всем этом женщины не принимали никакого участия. Мужская часть колонии, как русские, так и сербы, с удовольствием откликнулась на это предложение, а сербы даже взялись организовать самую демонстрацию в один из ближайших вечеров.

Хорошо помню, когда я сказал Смирнову в присутствии его жены Розалии Идельсон[12] о намерении устроить демонстрацию, он серьезно ответил, что Утина следует схватить и высечь розгами. Я отнесся к его словам как к шутке, но Смирнов заявил, что он говорит серьезно, на что Идельсон саркастически заметила, что самую экзекуцию обязательно должен произвести Смирнов; последний замолчал, а на демонстрацию не явился, хотя обязался на ней быть и принять в ней активное участие.

На второй день вечером состоялась демонстрация; все ее участники, человек 20-25, расположились небольшими группами в трех местах вдоль улицы, по которой Утин возвращался от квартиры Яковлевой к себе в гостиницу во Флюнтерне (предместье города, где обычно жило всякое студенчество). Как только, идя от Яковлевой, он поровнялся с первой группой, его встретили свистки и враждебные крики; он ускорил шаг, а подойдя ко второй группе и услыхав такой же прием, пустился бежать; когда же он проходил мимо нас четверых, последней группы, и услыхал то же самое, то побежал уже полным аллюром. От нас до гостиницы было недалеко, и мы, видя, что он уже подбегал к ней, пошли домой так же, как и две другие группы. Но с ним случилось неблагополучие: он угодил в канаву, сорвавшись с положенной через нее доски, разбил свои очки и поцарапал щеку и нос. Из канавы его вытащил содержатель гостиницы, который выбежал на его крики о спасении. На другой день он уехал из Цюриха, а в вечерней местной газете в хронике событий было напечатано, что на Утина, по его словам, вечером напали местные рабочие, враждовавшие с Интернационалом, и хотели его избить. Яковлева же разъяснила ему, что демонстрировали не рабочие, а русские и сербские студенты-бакунисты с Россом во главе; Утин после этого разъяснения стал распространять слух, что избили его Росс с компанией.

Любопытно то, что с этим инцидентом совпало окончание всякой «революционной» деятельности господина Утина; он быстро исчез с горизонта, скрылся из Женевы и чуть ли не через год промелькнуло известие, что он поступил в какой-то техникум в Бельгии. Впоследствии он оказался большим негодяем. Он пошел по стопам своего отца-миллионера, нажившегося откупщика времен Николая I. Во время русско-турецкой войны в 1876-1877 годов вошел в знаменитую Компанию Коган, Горвиц и других[13] по поставке в нашу армию разных материалов, продуктов и

[12] Смотреть примечание 2 в конце статьи.

[13] В действительности к этой мошеннической компании Утин никакого отношения не имел. Во время русско-турецкой войны он, в качестве инженера, поступил на службу к известному в то время железнодорожному дельцу Полякову и работал по проведению железных дорог на театре военных действий.

так далее. Блестящая грабительская и мошенническая работа этой компании хорошо известна и своевременно освещалась в газетах. Конечно, он получил от царя полное прощение и помилование в виду его новой деятельности. После войны он управлял Кыштымскими заводами на Урале; крупным пайщиком которых он состоял. Когда он был социал-демократом, всегда хвалился близостью к Марксу и прекрасным знанием его ученья, а в особенности учения о прибавочной стоимости, которую, будучи директором завода, он в лучшем виде выжимал из рабочих. Действительно, на Урале он пользовался гнусной и подлой известностью.

***

Пребывание в Париже во время Коммуны сильно расшатало мое здоровье, а только что рассказанный эпизод из цюрихской жизни о пребывании женщин в университете еще более усилил мое нездоровье, так что к осени я дошел до того, что с трудом мог передвигаться с места на место; ввиду этого по совету врачей меня увезли на юг Франции в Монпелье, где я прожил до лета будущего года. Одно из главных условий моего выздоровления состояло в том, что я должен был отказаться от всякой деятельности, – конечно временно, – и вести жизнь «рассеянную», то есть ничего не делать, ничего не знать, что делается всюду, чтобы не волноваться, не беспокоиться и так далее. Действительно, со мной прекращена была всякая переписка, я перестал следить за газетами и читать их, я решительно ничего не знал; изредка только получал коротенькие письма от Бакунина или из Цюриха с вопросом о моем здоровье. После нескольких месяцев пребывания в Монпелье я значительно поправился, да и жить там мне стало так тошно, что я уехал в Цюрих.

За время моего отсутствия наша колония значительно пополнилась, преимущественно женским персоналом. Чуть ли не все они были приняты в члены библиотеки; конечно, предварительно они ознакомились с составом членов, характером и порядками ее.

С этого времени, как я увидел, само собой произошло разделение членов библиотеки и членов кружка. Прежде было так, что всякий член библиотеки в то же время был и членом кружка, а теперь образовалось два кружка: один, в который входили все члены библиотеки, а другой, так сказать основной кружок, в который входили тоже члены библиотеки, но далеко не все. Вот этот-то основной кружок играл руководящую роль во всей жизни колонии. За время моего отсутствия в него было принято человека три-четыре из вновь прибывших студентов. Понятно, так и должно было быть, потому что для поступления в библиотеку требовалось только безусловное согласие с ее характером, направлением, содержанием, тогда как для того, чтобы сблизиться, объединиться с людьми определенных социальных, политических, общественных взглядов, требовалось то, чего у вновь прибывших вообще еще не было: одна была анархистка-бакунистка, а другая, живя в России, не только не знала, но и не слыхала ничего подобного; для них потребовалось не мало времени и труда для ознакомления с этим. Поэтому до самого конца существования библиотеки были и оставались лица, считавшиеся только членами ее и не входившие в основной кружок; но при этом нужно заметить, что среди них были очень горячие защитники и защитницы характера и направления ее.

Из вновь приехавших тогда из России вспоминаю только одного Ралли, жившего в Цюрихе под фамилией Рулев (Руль, как впоследствии его называли его друзья). Конечно, я очень скоро с ним познакомился и узнал, что он бежал из административной ссылки из Бессарабии, куда он был сослан, как привлекавшийся по нечаевскому делу. При первом же нашем знакомстве он поторопился высказать мне, что он, как студент-медик, избрал город Цюрих своим местожительством с целью поступить в университет для продолжения изучения медицины и что ничто другое его не интересует, а поэтому он все свое время, все свои силы посвятит исключительно этой цели. После этой встречи я долго не видел его. Он не пользовался даже нашей библиотекой, избегая заходить в нее, хотя жил в комнате в том же самом доме, в том же самом коридоре, рядом с комнатой, в которой помещалась библиотека вместе с ее библиотекарем Пономаревым, тоже студентом университета. О деле Нечаева его рассказы были очень сдержанны, осторожны, что немало удивляло меня и других, познакомившихся с ним, как, например, Смирнова, привлекавшегося тоже по этому делу. Да, тогда это было для меня непонятно, а теперь стало ясно, когда я ознакомился с его показаниями в III отделении собственной его величества канцелярии, в которых он не только от всего отрекается, но еще «клянется, что если бы он знал, что такое представляет собой Нечаев, к чему он стремился и что он делал, то немедленно донес бы III отделению обо всем этом».

В эту же весну и лето время от времени приезжали в Цюрих разные лица специально для того, чтобы познакомиться с нами, как, например, чайковцы Таксис, Лизогуб с товарищем Фесенко, Куприянов, с юга России Дебагорий-Мокриевич, Ходько и другие, фамилии которых теперь совсем исчезли из памяти. Припоминаю еще двоих, одного из Одессы, а другого из Саратова, которые несколько вечеров провели со мной, расспрашивая меня о Парижской Коммуне, Интернационале, партиях в нем, борьбе их и так далее и так далее.

***

Приблизительно около половины лета 1872 года в Цюрих приехал Бакунин и прожил здесь вплоть до Гаагского конгресса Интернационала. Его занимали тогда два вопроса: приготовления к Гаагскому конгрессу и знакомство с русской молодежью, жившей в Цюрихе, то есть главным образом с женской учащейся молодежью. Гораздо раньше, еще до приезда сюда, он много раз высказывал желание увидеть лично и узнать студенток-женщин – совершенно новый тип для него. До личного знакомства с ними при разговорах со мной о них он иногда делал мне замечания, не увлекаюсь ли я. После того, как он прожил в Цюрихе месяца два буквально среди студенток, он стал высоко ценить женский элемент в наших русских революционных делах. Бакунин обладал завидной способностью, умением, талантом быстро сходиться с молодежью, при этом надо заметить, что последняя чувствовала себя с ним совершенно равноправной.

***

Весной того же года еще до приезда своего в Цюрих Бакунин писал мне в одном из своих писем, что его посетили в Локарно цюрихские студенты, конечно русские:

Гольштейн, Ралли и Эльсниц. Они понравились ему, он сошелся с ними для будущей революционной работы, поставивши непременным условием, чтобы они во что бы то ни стало постарались сойтись со мной. Меня это очень удивило и так сказать озадачило, потому что все трое не раз говорили мне, да и вели себя так, что они только учатся медицине, что только она одна интересует их и что ничем другим они не занимаются и не желают заниматься.

Вскоре после письма появились и они. Признаюсь, встреча моя с ними была с моей стороны довольно холодная и сдержанная, да так шло и до самого конца нашей связи, то есть почти в течение всего года я не сумел побороть в себе этого чувства: мне всё представлялось неестественным и невозможным превращение так сказать из ничего в бакуниста-анархиста в течение двух-трех дней[14]. Дальнейшая жизнь наша вполне подтверждала мой этот взгляд.

С приездом Бакунина мои отношения к ним несколько сгладились. Он говорил мне, что среди русских людей нужных нам почти нет и что следовательно нельзя быть очень строгим и разборчивым в людях, – это во-первых, а во-вторых, нельзя упускать из виду их искреннего желания работать с нами; следовательно нужно не отталкивать их, а работать с ними до тех пор, пока возможно, не допуская никаких уступок.

Вот с этим бакунинским наказом я жил и работал с ними почти год, а затем мы разошлись по их инициативе.

Несмотря на продолжительное пребывание мое в Монпелье с лечебной целью, здоровье мое не вполне восстановилось, потому что я снова начал чувствовать недомогание. В виду такого моего положения пришлось прибегнуть к врачам, которые категорически заявили мне безусловную необходимость уехать из Цюриха; Бакунин и другие друзья быстро нашли маленький недорогой пансион на берегу Женевского озера недалеко от Лозанны, куда и увезли меня. Таким образом я прожил вместе с Бакуниным в Цюрихе в это время недели полторы-две.

Во время своей жизни в Цюрихе Бакунин собрал около себя почти всю учащуюся молодежь не только русскую, но и югославянскую (сербы, болгары и так далее), за исключением поляков, которые все принадлежали к обществу специально патриотического характера. Рабочие же поляки составляли самостоятельное общество; они до некоторой степени сочувствовали Бакунину, приветствовали его, но он, конечно, не мог с ними вполне объединиться, потому что и их общество имело характер политически-патриотический.

Тогда же Бакунин основал славянскую секцию, в которую входило несколько сербских и хорватских рабочих и русских, сербских, болгарских студентов; конечно, он же написал программу-воззвание, был вдохновителем и руководителем секции[15]. Очень хотел он и даже пытался реорганизовать польское рабочее общество и присоединить его к Интернациональному обществу рабочих. Пока он жил в Цюрихе,

[14] Одна из студенток, помнится, Чурилова, сочинила даже песенку про Гольштейна: «Etudiant et médecin et vivant comme bourgeois» (Студент и медик, и живёт как буржуа).

[15] Ралли в своей статье «Из моих воспоминаний о Михаиле Александровиче Бакунине» говорит, что будто бы они (Гольштейн, Эльсниц и Ралли) были инициаторами, устроителями секции; всё это чистая его фантазия. Вообще его воспоминания представляют собой настоящую мешанину из былей и небылиц. Ралли всегда отличался искажением при передаче виденного и слышанного им.

то и славянская секция и реорганизованное польское общество поддерживали свое существование, но как только он уехал, то очень скоро погибли обе эти попытки; славянская секция прекратила свое существование, а польское общество приняло свой старый облик.

В это же лето правительство цюрихского кантона выдало Нечаева русскому правительству, о чем много рассказано в очерке: «Воспоминание о Сергее Геннадьевиче Нечаеве» и здесь нет нужды повторять[16].

Осенью 1872 года в Цюрихе появилась известная писательница Цебрикова. Она преследовала задачу освобождения учащихся женщин от развращающего их влияния со стороны революционеров, последователей Бакунина. Здесь она встретила свою старую еще по Петербургу знакомую студентку Идельсон, к которой она обратилась за помощью, предварительно изложивши свой план будущей деятельности среди учащейся молодежи. А план ее состоял в том, чтобы прежде всего создать кассу взаимопомощи среди студенток и исключительно только для них, тогда как доступ мужчинам безусловно воспрещался. Затем при кассе предполагалось устроить еженедельные литературные вечера, тоже исключительно для женщин. Вечера эти должны были иметь строго литературный характер; вопросы политические, экономические, социальные, а тем более вопросы революционные, безусловно не допускались к обсуждению. Словом, основная, главная задача состояла в том, чтобы отвлечь учащихся женщин от всякого революционного влияния. Цебрикова вместе с Идельсон соорудили устав будущей кассы, для обсуждения и принятия которого назначено было собрание в Palmhoff'е. На собрании присутствовала почти вся русская колония, огромное большинство которой состояло из женщин-студенток. Председательствовала Цебрикова, а докладчицей об организации кассы явилась Идельсон. Из прочитанного устава будущей кассы видно было, что мужчины могли только вносить деньги в кассу, но не имели права принимать участия в управлении кассой, а также не могли получать денежное пособие. Словом, управляли кассой и пользовались ею только женщины.

При обсуждении первого параграфа устава, в котором говорилось, что касса только для женщин и пособия могут выдаваться только им, я после прений по этому пункту внес предложение, что в крайнем случае касса может выдавать пособия и учащимся мужчинам. Это мое предложение вызвало резкое возражение со стороны Цебриковой и еще двух-трех студенток, ей сочувствовавших, но тем не менее я потребовал голосования моего предложения, за которое и высказалось огромное большинство. После баллотировки Цебрикова тотчас же объявила собрание закрытым, так как характер кассы, по ее словам, совершенно изменяется с принятием моего требования; Идельсон же откровенно объяснила, что «вся касса очень скоро очутится в руках Росса и таким путем все ее капиталы пойдут на революцию». Таким образом касса и проектируемое литературное общество были погребены самими инициаторами. Цебрикова, совершенно разочарованная в студентках, очень скоро оставила Цюрих.

***

[16] Смотреть примечание 3 в конце статьи.

Следуя хронологическому порядку, теперь нужно было бы рассказывать о поездке моей в Париж за архивом Нечаева, встрече с Лавровым, разговорах с ним о затеваемом журнале «Вперед», о возвращении моем в Цюрих, беседах со Смирновым и Подольским и так далее, но все это изложено, хотя и вкратце, на страницах 37-47 моих воспоминаний (о Нечаеве) и поэтому повторение здесь будет излишним[17].

***

Однажды, во время борьбы за библиотеку, несколько человек из нас провожали кого-то на вокзал; позади всей группы шел я с Эльсницем, и вот, проходя мимо политехникума, он внезапно прервал разговор, крикнув: «Росс, это к вам». Я повернулся и увидел в нескольких шагах от меня небольшую группу студенток (Ольга Любатович, Завадская, Лидия Фигнер, Александрова), идущих от лаборатории политехникума наперерез нашего пути, при чем впереди шла Завадская. Едва я успел сделать шага два, как услышал ее слова: «Я должна вам сказать, что…» или «я должна дать вам пощечину», при чем в то же время она поднимала руку; я, совершенно инстинктивно, бросился к ней, схватил ее руки и так сильно их сжал и согнул, что она опустилась на землю, а затем, поднявшись, побежала от нас со всеми остальными товарками.

Проводив товарища и вернувшись с вокзала, мы узнали, что наши противники тотчас же устроили собрание в своей библиотеке, на котором приветствовали Завадскую, как героиню, а Лавров произнес спич с восхвалением ее героического подвига и назвал ее русской Шарлоттой Корде…

Казус этот скоро забылся, но мне пришлось его вспомнить через несколько лет, а именно в октябре 1877 года в Петербурге на суде во время процесса 193-х, где я и Завадская были подсудимыми. Она подошла ко мне с извинением, объясняя, что она была введена в заблуждение. Впоследствии ее примеру последовали Ольга Любатович, Лидия Фигнер, с которыми я встречался в Сибири в восьмидесятых и девяностых годах[18].

***

Совокупное издание журнала вместе с Лавровым не состоялось, о чем мной сказано в другом месте, но переговоры об этом предприятии послужили сильным толчком к тому, чтобы кружок сам предпринял какое-либо издание. Вопрос об издании журнала или газеты часто и много раз поднимался среди нас, но, подсчитавши все свои средства и возможности, приходилось откладывать такое серьезное дело до более благоприятных обстоятельств. Ввиду этого явилась мысль приступить к изданию брошюр или небольших книжек по мере накопления материала и приобретения денежных средств, чтобы таким образом не связывать себя срочностью появления издания. Прежде всего, как мне казалось, крайне нужно и полезно было ознакомить с Интернационалом русских революционеров, живущих в России. Поэтому я предложил, – и мое предложение принято было единодушно, – издать три книжки такого содержания: 1) литература Интернационала, 2) конгрессы его и 3) процессы,

[17] Смотреть примечание 4 в конце статьи.

[18] Смотреть примечание 5 в конце статьи.

стачки… Для литературы нужно было выбрать особенно характерные выдающиеся статьи из газет, издававшихся в разных странах Интернационалом. Мысль эта очень понравилась Бакунину, и он тотчас же поручил мне собрать всю такую литературу, что, конечно, я и сделал очень скоро, так как в нашей библиотеке, да и у меня лично, были собраны все газеты, журналы, брошюры бельгийские, французские, швейцарские и так далее. Весь этот материал я отослал ему и он из него сам составил первый томик «*Исторического развития Интернационала*», который был набран и отпечатан нами в своей типографии. Статьи переводили Эльсниц, Ралли и, кажется, Лаврова и Смецкая, но главным образом первые двое.

На последнем общем собрании вместе с Бакуниным всех старых и новых членов кружка он потребовал от нас, чтобы мы решительно прекратили все сношения с «лавристами», избегали всяких столкновений и дрязг с ними, словом «окончательно отрезали бы себя от них», имея в виду предстоящее дело: устройство типографии и издание предполагаемых брошюр. На этом же собрании Бакунин сказал, что, конечно, заправилой всего дела будет Росс, так как у него нет никакого другого дела (намекая на занятия других в университете), то ему следует передать все материалы, деньги, собранные членами кружка, так что я должен был быть между прочим и кассиром в нашем начинающемся деле. Предложение Мишеля было принято единогласно, без всяких возражений. Таким образом работа началась единодушно и при общем горячем желании трудиться.

От «лавристов» мы отрезали себя безусловно и с этих пор не имели с ними никаких сношений. Впрочем они-то не оставляли меня лично в покое. Так, Кулябко-Корецкий (судебный следователь), лаврист, в своих воспоминаниях «*Из дальних лет*» рассказывает о ряде попыток со стороны лавристов выследить меня, поймать где-нибудь, избить, искалечить («если бить, так уж бить так, чтобы на простыне его вынесли»). В таких предприятиях не только принимали участие, но были и руководителями все самые близкие друзья Лаврова. У меня так и напрашивается мысль, что неужели он не знал об этих затеях. И вот вам «люди глубоко образованные, умные, высоконравственные», с одной стороны, страстно возмущенные «избиением Смирнова Соколовым», страстные противники всякого насилия, кулачной расправы, в то же время, с другой стороны, целой массой (15 человек) пытаются, настойчиво пытаются заманить, поймать и так далее.

***

Бакунин на другой день утром отправился к Лаврову без всякого предупреждения его о своем визите. Он имел ввиду вести речь только с ним. Никакого собрания[19] лавристов у него не было, и они беседовали с глазу на глаз; Бакунин предложил Лаврову и настаивал на образовании третейского суда, но Лавров решительно отказался от этого. Ведь вот какой прекрасный случай был уличить и показать «*этого негодяя Росса* во всех его гнусных проделках». Нет, Петр Лаврович пожелал Росса и предпочел втихомолку, письмами или при личных свиданиях позорить его, но

[19] Кулябко пишет, что было устроено собрание в квартире Лаврова, где будто бы Бакунин произнес речь, а затем блестящую речь сказал Александр Кропоткин и так далее; все это — фантазия господина Кулябко.

только бы не судить гласно. Он, очевидно, прекрасно понимал и знал, кто мог быть опозорен таким судом… Господин судебный следователь тоже не нашелся ничего сказать, почему же нельзя было устроить третейский суд…

Потом на ближайшем собрании Лавров довел до сведения присутствующих, что у него был «Михаил Александрович Бакунин, человек заслуживающий большого уважения за его огромную революционную деятельность, но нельзя упускать из виду, что он преклонного возраста и поэтому иногда подчиняется влиянию окружающих его лиц и в данном случае он взглянул глазами Росса на наши здешние дела, поэтому я вынужден был безусловно отклонить его предложение устроить нечто вроде третейского суда для разбора всего того, что произошло здесь за последнее время».

Лавров побоялся согласиться на суд, как бы и ему не пришлось попасть под влияние Росса и не начать смотреть тоже глазами Росса на все эти дела. Ведь и Соколов, быстро подчинившийся Россу, как вы все об этом кричали, тоже был полковник как Лавров, тоже писатель, литератор, воевавший с русским правительством, эмигрант, побывавший в крепости, в ссылке, в возрасте за пятьдесят лет. Морочить зеленую молодежь пожалуй еще возможно, но что сказать об окружающих чиновниках судебного ведомства и других якобы революционерах.

***

Во исполнение решения кружка немедленно было приступлено к организации типографии и всего издательства. Прежде всего были затребованы из разных словолитен Германии каталоги русских шрифтов; а затем, по получении их, были сделаны заказы их. В то же время нашелся столяр, который работал кассы и реалы для швейцарских типографий, так что реалы он тотчас же мог делать, а относительно русских касс пришлось сначала достать чертеж кассы из русской женевской типографии и по этому чертежу я сам сделал первую кассу, а остальные столяр делал по моей кассе. Всего было сделано шесть касс. В городе нашли помещение для типографии, в котором поставили четыре кассы и типографский станок. Станок был куплен подержанный, а по закрытии нашей типографии я его продал соседней большой немецкой типографии за ту же цену, которую мы заплатили. Ралли в своих воспоминаниях говорит, что станок был плох, но не станок был плох, а мы не умели на нем работать. Корректура наша была ужасающая, но не потому, конечно, что шрифт был неудовлетворителен, а потому что мы не умели работать. Из всех нас работавших, за исключением Попова (кое-что знавшего в типографском наборном деле), никто никогда даже не бывал в какой-либо типографии, не имел в руках шрифта.

Кроме городской типографии с четырьмя кассами, в доме, где большинство нас жило (Бремершлюссель), в одной комнатке поставили две кассы, на которых посменно работало несколько студенток.

***

Как сказано выше, первую кассу я делал сам, для чего каждое утро ходил в мастерскую к столяру, и вот тут-то лавристы выследили меня и в числе десяти-двенадцати человек (Подолинский, Филиппов, Кулябко-Корецкий, Рихтер, Линев, Александров,

Мандельштам, Мауер, Чернышев, Москалев и другие, имен их не помню) собрались, чтобы меня избить. Десять-двенадцать человек на одного!.. Кулябко в своем рассказе об этом казусе достаточно набрехал. В мастерской стояло только два верстака, из коих на одном работал старик-столяр, а на другом я; в соседней комнате была старуха-жена и их сын, парнишка 8-10 лет. Никаких рабочих у столяра не было. Подолинский и Филиппов, войдя в мастерскую, спросили столяра о каком-то заказе и затем быстро повернулись и ушли. У меня с собой револьвера, сколько помнится, не было, и угрожать им, если бы даже он был со мной, кому-либо из них я не успел бы, а главное то, что и основания для этого не было. Ни тот, ни другой не были задержаны столяром; да и с какой стати столяр попытался бы задержать их, заказчиков какой-то работы. Ведь и только по быстрому их уходу и по вздорности их слов я понял, что они пришли ради того, чтобы удостовериться в моем здесь пребывании. Вскоре после их ухода я сам вышел из столярной, а выходя из ворот двора, увидел всю эту компанию, поджидавшую меня. Я вернулся назад и *тогда* только объяснил причину прихода Подолинского и Филиппова. Записку мою унес сынишка столяра, а не мифический рабочий; и унес огородами, что было гораздо ближе. Товарищи мои очень скоро пришли и таким образом выручили меня из угрожавшей мне беды.

***

К тому времени, когда типография была вполне оборудована, получилось начало большой статьи Варфоломея Александровича Зайцева (известного сотрудника «Русского слова»), сколько помнится, о «современном положении литературы», к набору которой мы и приступили, то есть правильнее сказать начали набирать, а потом и печатать. С первым листом очень долго возились (корректура была ужасающая, так что иногда приходилось набирать заново целые строки) и к концу набора его от Зайцева получилась большая часть статьи. Ознакомившись с этим произведением, мы все, почти единогласно, признали, что оно не подходит к нам и посему приостановили набор, а ему я написал, чтобы он дальше рукопись нам не высылал, конечно, объяснив ему мотивы, по которым мы ее забраковали. Тогда же Бакунин сформировал почти весь том «*Исторического развития Интернационала*», выслав все материалы, к переводам которых тотчас же приступили. Переводы прочитанные и проредактированные набирались и печатались. Бакунин вскоре после этой работы приступил к своей «*Государственности и Анархии*» и стал высылать мне небольшими пачками рукопись по мере ее написания. Набирать и печатать ее стали только тогда, когда окончили «*Историческое развитие Интернационала*».

***

Находя интересным и нужным познакомить революционную молодежь того времени с учением Прудона об анархии, я предложил сначала напечатать перевод его сочинения «*Общая идея революции*». Перевод этой книги у меня уже был в руках; он сделан был членами нашей библиотеки Чуриловым с женою. В то же время в одном из моих писем к Гильому я между прочим упомянул о своем намерении издать этот перевод. Гильом же, отвечая мне, сообщил, что его давно занимает мысль издать в

сокращенном виде в одном небольшом томике «*Общую идею революции*» и «*Исповедь революционера*» Прудона. Я воспользовался этим и стал просить его написать такую книжку листов в 15-17 по-французски, при чем я брался помочь ему в издании ее, и в то же время перевод ее на русский язык отпечатать в нашей типографии. Бакунин, узнавши о наших переговорах, горячо поддержал меня, и Гильом взялся за эту работу. Издать ее («*Анархия по Прудону*») удалось мне в последнем году в Лондоне; переводил ее Зайцев.

Как известно, Гильом принимал самое горячее участие в качестве делегата юрских рабочих на всех четырех конгрессах Интернационала (Женевском, Лозаннском, Брюссельском, Базельском), поэтому я предложил ему составить для нас подробное и точное описание их со всеми докладами, резолюциями и личными воспоминаниями, имеющими общий интерес. Он принял мое предложение, описал два первых конгресса, то есть Женевский и Лозаннский и часть Брюссельского; рукопись прислал мне, но к сожалению я вынужден был прервать работу в своей типографии и закрыть ее. Конечно, он тоже оставил свою работу и таким образом этот томик не увидел света.

Этим же летом появился указ русского правительства, запрещавший дальнейшее пребывание наших студенток в Цюрихе с угрозой за неисполнение его. Он произвел огромное впечатление на всю нашу колонию. Большая часть ее оставила Цюрих, вернулась в Россию, а другая небольшими группами уехала продолжать и оканчивать свое медицинское образование в Париж, Берн и Женеву. Словом, по прошествии одного-двух месяцев в Цюрихе осталось студенток едва ли четыре-пять человек. Из нашего кружка одна осталась в Цюрихе и одна уехала в Берн; обе они окончили ученье, стали докторессами через два семестра. Почти все студентки, вернувшиеся в Россию, члены нашего кружка, с течением времени побывали в ссылке в отдаленных городах России и Сибири, включительно до Якутии (Смецкая), по суду и без суда за свою революционную деятельность в России.

Первые полтора-два месяца все мы работали в типографии очень усердно, аккуратно, ежедневно от 8 часов утра до 7 часов вечера с перерывом в час на обед. По вечерам же мне пришлось править еще корректуру, которая была, как уже говорил выше, ужасающая, потому что все мы учились набирать. Затем как-то постепенно изо дня в день начались опоздания и прогулы со стороны моих товарищей, постепенно все увеличивавшиеся, и, наконец, к моему большому изумлению, пятеро этих товарищей – Гольштейн, Ралли, Попов, Эльсниц и Яковлев – однажды совсем не явились в типографию, а вечером того же дня кто-то из них зашел ко мне с заявлением, что все они пятеро прекращают работать в типографии и не хотят иметь со мной никакого дела, в то же время они выходят из библиотеки; словом, решительно и бесповоротно прерывают со мной всякую работу, сношения, переговоры без всяких объяснений причин, вызвавших такое их решение. Таким образом у меня на руках осталось все издание книжек с типографией, да вдобавок еще библиотека, которую нужно бы закрыть, так как члены ее почти все разъехались, упаковать и перевезти в какой-либо склад на сохранение. Что касается типографии, то в ней осталось набрать и отпечатать последние полтора-два листа «*Исторического развития Интернационала*», а «*Государственность и Анархию*» пока приостановить, так как из нее было отпечатано листов двенадцать, да и продолжения рукописи в тот момент у меня не

было на руках. В типографии мне помогали недавно поступившие в нее Ваховский и Владимир Дебагорий-Мокриевич, хотя ни тот, ни другой не умели набирать, тогда как печатать на станке они могли, так как такая работа гораздо доступнее для них; набирать же я стал один, да к этому отчасти помогли мне кое-кто из студенток, не успевших еще уехать в Россию и работавших в наборной. Через две-три недели, справившись со всей этой работой, нужно было закрыть типографию, упаковать все шрифты в те же самые ящики, в которых их получили мы из словолитни, и в таком же точном порядке, словом, все это дело требовалось вполне ликвидировать. Женщины-студентки, входившие в кружок[20], с самого начала и до конца оказывали горячее участие и помощь по мере сил и возможности всему делу; они переводили с французского статьи, набирали их, фальцовали листы по мере отпечатывания их; а потом в России распространяли эти книжки. Некоторые из них помогали деньгами.

Бывшие мои товарищи, бросая все это дело, то есть издание, типографию, библиотеку, рассчитывали поставить меня в безвыходное положение и необходимость бросить все это на произвол судьбы, но жестоко в этом ошиблись, потому что книжку я окончил, сброшюровал, запаковал, нашел помещение-склад, куда перевез и сложил ее, а также типографию и библиотеку на хранение; а сам, устроивши все это, уехал в Женеву с целью там допечатать «*Государственность и Анархию*». Там жил тогда специалист-наборщик, который набрал книжку, а отпечатана она была в какой-то местной типографии.

Понадобилось приблизительно с месяц времени, чтобы отпечатать остальные десять-двенадцать листов «*Государственности и Анархии*», запаковать их и отправить в Цюрих, где студентки их сфальцовали, а переплетчик сброшюровал. Через несколько дней большая половина всего издания «*Исторического развития Интернационала*» и «*Государственности и Анархии*» была отправлена мной на прусско-русскую границу в Шерванд. Туда же уехал и я сам, где через контрабандистов-евреев переправил весь транспорт благополучно в какое-то небольшое еврейское селение в России, откуда он ушел в Петербург, в кружок Лермонтова и Ковалика, который распространял его среди революционной молодежи. Кроме этого транспорта, еще две небольшие отправки вполне благополучно были доставлены в Одессу и в Ростов-на-Дону. Из второй отправки в Петербург часть провалилась, попала в руки жандармов, а другая часть была получена кружком и распространена. Таким путем разошлось всё издание и от него ничего не осталось. Не больше сотни экземпляров было послано в книжные магазины Берлина и Вены.

Итак, существование «русского Цюриха» пока что надо было признать конченным, хотя бы на время благодаря главным образом «царскому указу»; если впоследствии русские и проживали в нем, то во всяком случае, сколько известно, жизнь их не была такой бурной, как в то время.

Оканчивая этот очерк, мне хочется еще сказать несколько слов о посетителях, приезжавших в Цюрих из разных городов России только затем, чтобы познакомиться с нами, увидеть, что здесь делается, какие наши стремления и так далее. Всех посетителей такого рода можно подразделить на две части: одни настроенные рево-

[20] Вот фамилии этих женщин-студенток, сколько их припоминаю: Ваховская, Потоцкая, Лаврова, три сестры Симоновские, Смецкая, Судзиловская, Хардина, Розенштейн Мария, и Луканина.

люционно, будущие деятели и подчас крупные деятели революционного движения, известного под именем «хождения в народ». Таковы: Ковалик, Мокриевич, Лермонтов, Донецкий, Ходько, Габель и другие. С ними мы сходились близко, связывались для общей работы. Они и не пытались знакомиться лично с Лавровым и его друзьями. Впоследствии мне лично с некоторыми из них пришлось отбывать каторгу и поселение в Сибири. К Лаврову, конечно, тоже приезжали посетители и даже может быть больше, чем к нам, бакунистам, но это были по преимуществу писатели, литераторы, ученые, земские деятели, профессора, люди либерального образа мыслей, которые у нас не бывали, да и не желали с нами знакомиться. Возможно, что были исключения. Некоторых лиц из приезжавших к нам направляли к Бакунину в Локарно.

По поводу знакомств с посетителями второго рода, то есть с такими, которые бывали у Лаврова, мне припоминается случай, который был с Бакуниным. После Сибири в девяностых годах я с семьей жил в Петербурге, где случайно познакомился с известным ученым, историком, редактором либеральной газеты «Голос» Василием Бильбасовым. Он усиленно, настойчиво приглашал меня бывать у него на его еженедельных вечерах, журфиксах. Я иногда бывал у него и обыкновенно встречал там известных литераторов, ученых, профессоров, важных чиновников (сенаторов). Скоро я заметил, что он, так сказать, показывал меня как редкость, так что я перестал его посещать. Однажды, когда мы сидели за чайным столом в числе 10-12 человек, входит еще человек, которого хозяин, по обыкновению, подводит ко мне и знакомит; оказалось, что это был сенатор, профессор уголовного права Фойницкий.

Усевшись за стол, он тотчас же, обращаясь ко мне, сказал: «позвольте мне рассказать вам и всем сидящим за этим чайным столом, как я познакомился с Михаилом Александровичем Бакуниным, знаменитым революционным деятелем в Европе». Сколько я припоминаю, Фойницкий и профессор тоже уголовного права Кистяковский (оба они известны не только в ученом мире, но и как общественные деятели) были где-то в Италии на озерах Комо или Лугано; будучи близко от Локарно на озере Лаго Маджиоре, где жил Бакунин, они пожелали увидеть Бакунина. Отправились в Локарно, где в гостинице тотчас же узнали, что он ежедневно между 11 и 12 часами по утрам бывает в небольшом кафе, где читает газеты французские, итальянские. На другой день утром они пошли в это кафе и тотчас же увидели там грузную, колоссальную фигуру, сидящую за одним из столиков, расположенных перед кафе, и читающую газеты. Тотчас же они сообразили, что это и есть Бакунин. Они подошли к нему, назвали свои фамилии и звания, то есть профессора уголовного права Фойницкий и Кистяковский, и заявили желание с ним познакомиться. Он ответил, – я до сих пор очень хорошо помню следующие слова Фойницкого: «Что же вы хотите, что может быть общего между мною и профессорами уголовного права. Ничего». И он снова углубился в чтение газеты, а мы, конечно, ретировались.

Подобный случай произошел в моей комнате у Бакунина с Подолинским, во время его пребывания в Цюрихе. Подолинский нарочно пришел ко мне, чтобы познакомиться с Бакуниным. После нескольких вопросов, сделанных Подолинским, Бакунин вышел в соседнюю комнату и оставался там до ухода его. Потом на мой вопрос, почему он не захотел разговаривать с Подолинским, он ответил в таком же роде. Нет ничего интересного и полезного разговаривать с такого рода людьми; а Подолин-

ский был, кажется, юрист. Вообще Бакунин был очень разборчив при знакомствах с людьми так сказать патентованными.

Дом отдыха в с. Михайловском.
30 декабря 1931.

Примечания:

1. В прошлом году вышли из печати воспоминания Николая Григорьевича Кулябко-Корецкого: «*Из давних лет. Воспоминания лавриста*». В предисловии редакции говорится:

> «Что касается цюрихской эмиграции начала 70-х годов, то относительно ее жизни мы имеем ряд мемуарных источников. Достаточно вспомнить воспоминания Замфира Ралли-Арборе, Веры Николаевны Фигнер, Михаила Петровича Сажина и другие. Но можем ли мы сказать, что эта тема уже достаточно освещена теми материалами, которыми мы располагаем. Отнюдь нет. В этом читатель может убедиться хотя бы из воспоминаний самого Кулябко-Корецкого. Прочтя их, он увидит, как много спорного и недостаточно выясненного имеется в мемуарной литературе. И в этом отношении воспоминания Кулябко-Корецкого представляют значительный интерес. Читателю может быть покажется, что автор с излишними подробностями рассказывает об эмигрантских столкновениях и склоках того времени. Однако, не надо забывать, что в основе этих столкновений и склок лежало идейное расхождение»…

Вот эти-то соображения и побудили меня рассмотреть воспоминания Кулябко-Корецкого и показать, какой интерес они представляют и какая их ценность. Я буду говорить только о его воспоминаниях, касающихся цюрихской жизни, в развитии которой я (единственный в живых) принимал активное участие с ее, так сказать, зарождения до ее смерти. Начну с библиотеки.

На стр. 12-13 автор пишет:

> «Библиотека помещалась во втором этаже деревянного особняка (Frauenfeld). В первой большой комнате расположена была «читальня» с несколькими десятками газет и журналов… Здесь имелись налицо, кроме столичных русских газет и журналов, еще и многие провинциальные газеты, с берегов Волги, из Одессы, Кавказа и так далее, при чем имелись издания и на грузинском, армянском, еврейском языках… Имелись также французские и немецкие журналы и газеты, преимущественно из социалистической и рабочей прессы… Читать, впрочем, в этой читальне было затруднительно, так как там с утра до вечера в густом табачном дыму непрерывно толпился народ и шли громкие разговоры».

> «Вторая комната этого помещения отведена была собственно под библиотеку, то есть книгохранилище и под место получения и сдачи абонентам книг для чтения на дому. Третья, а может быть и четвертая (хорошо не помню), были заняты библиотекаршей и секретарем библиотеки».

> «Беглый обзор книгохранилища убедил меня, что библиотека может быть причислена к разряду довольно богатых. В числе нескольких тысяч томов книг на русском, французском и немецком языках имелись новейшие учебники по многим отраслям знания, справочные книги, в том числе многотомная энциклопедия Ларусса на французском языке; довольно много было классических сочинений по общей литературе, истории, философии и в особенности по политической экономии и социологии».

Автор только впоследствии узнал, что «библиотека была основана с специальной целью распространения бакунинских идей среди русской молодежи; но по мере скопления в Цюрихе русских студентов и студенток она постепенно превратилась в библиотеку русских студентов, официально была так переименована и под этим флагом получала из России от издателей и авторов большое количество периодических изданий и книг бесплатно или по пониженной цене, что в связи с крупными доходами от многочисленных абонентов, доходивших до 300 душ, способствовало ее быстрому обогащению».

В действительности было совсем не так, и все сказанное Кулябкой о библиотеке – чистейшая выдумка; это будет видно из нижеследующего. Во втором этаже дома Frauenfeld'a было четыре комнаты (этот дом существует, полагаю, и доныне), разделявшиеся коридором: две комнаты с одной стороны и две с другой. В первой комнате, направо от входа в коридор, жили студентки Ольга Любатович и Бети Каминская, а налево в такой же комнате – Смирнов с Розалией Идельсон; в следующей комнате, рядом с комнатой последних, жила Вера Любатович, а против нее в такой же комнатке – жил Пономарев. Обе последние комнатки были маленькие и жить в них двоим тесно, а то и невозможно. В комнате Пономарева помещалась наша библиотека, и вся она занимала три-четыре полки обычного в таких комнатах швейцарского платяного шкафа, вделанного в стену, в котором в верхней половине лежит белье, а в нижней половине висит платье; ширина такого шкафа меньше метра. Так вот на этих верхних полках и помещалась вся наша библиотека. Кулябко же говорит о *тысячах томов, о трех, а то и четырех комнатах библиотеки*!!!

В течение всего времени существования библиотеки, а существовала она года три, в ней получались из русских газет только «Петербургские ведомости», а из заграничных 5-6 интернациональных французских (L'Internationale, Mirabeau, Liberté), бельгийских (Solidarité, Bulletin, Egalité), швейцарских и немецких (Volksstatt и Volkswille). В комнате был один стол, которым пользовался Пономарев; библиотека открывалась от 7 до 8 часов вечера, то есть после ежедневных его занятий в университете и в химической лаборатории; никогда никаких собраний у него в комнате не было; читатели приходили только за обменом книг. В это время, то есть около середины 1872 года, всех книг, главным образом брошюр, было не больше трех-четырехсот. Никогда никаких книг *бесплатно* библиотека не получала ни от русских, ни от заграничных издателей; бесплатно получались только три русских журнала: «Отечественные записки», «Дело» и «Вестник Европы».

По словам Кулябко, он только впоследствии узнал, что библиотека основана была с целью распространения идей Бакунина. Но в то время какая же литература, какие сочинения на русском языке распространяли идеи Бакунина? Были ли таковые? Ведь

они встречались, да и то немного, в литературе Интернационала на французском языке. В конце 1872 года я составил каталог этой библиотеки, который тогда же отлитографировали (полагаю, что его можно найти и теперь в какой-либо русской библиотеке или у частного лица в Швейцарии, именно в Женеве, Цюрихе, Монтре). Весь каталог занимал тетрадку из 4-5 листов, исписанных крупным почерком, так что в нем могло поместиться несколько сот названий. При настойчивом желании его возможно разыскать; наконец после смерти Элпидина, которому была передана эта библиотека, его жена распродавала ее, и теперь найдутся еще живые люди, которые видели ее и которые могут подтвердить мои слова.

Далее на стр. 13 Кулябко говорит, что число абонентов доходило до 300, и следовательно библиотека получала огромный доход; так как взнос за пользование книгами был три франка, то следовательно ежемесячно получалось 900 фр. Правда, на стр. 32 он же определяет состав всей русской колонии (то есть 300 абонентов) так: «в состав этой колонии входило, наверное, не менее 300, *считая с чадами и домочадцами, мужчин и женщин, молодых, стариков и детей*» (подчеркнул я). Так вот как, даже грудные дети и те состояли читателями и с малолетства развращались идеями Бакунина! Кулябко хочет доказать, что библиотека должна была принадлежать всем и каждому приехавшему в Цюрих.

На самом же деле в это время, то есть в начале второй половины 72 года, библиотекой пользовалось всего человек 30-35, почти исключительно студенток, а плативших едва ли была половина (говорю не о составе колонии, а об абонентах библиотеки). Доходы ее были тогда таковы, что иногда нечем было платить за квартиру. Пономарев в апреле отказался заведывать библиотекой и уехал в Париж; с этого времени за комнату пришлось платить из средств библиотеки. С платой за чтение держались такого правила: плата 3 франка, но взнос этой платы предоставлялся вполне на усмотрение каждого лица и никогда не напоминалось об уплате денег, потому-то и случалось, что в кассе было пусто благодаря разгильдяйству читателей.

Контингент учащихся, то есть главным образом студенток, начал значительно увеличиваться с зимнего семестра 1872 года; тогда же увеличилось и число членов библиотеки, что заставило переместить ее помещение на более обширное. Таковое нашлось в Бремершлюсселе, где ранее помещалась читальня немецких студентов политехникума, которая как раз перед началом зимнего семестра, то есть в сентябре, закрылась. Лавров впервые появился в октябре, когда библиотека функционировала уже в новом помещении, где и происходили еженедельные собрания, на которых впоследствии он всегда бывал. К началу 73 года число членов достигло 69 человек (согласно прилагаемому списку), а со всеми посетителями было едва ли больше ста человек. Конечно, взносы увеличились, но значительно увеличились и расходы: пришлось много платить за залу, прислугу, освещение, отопление (зимой). Приводя цифру сто человек, я говорю о посетителях библиотеки в разное время, но сколько было отцов, матерей, детей и вообще домочадцев, – не знаю: ведь никакой статистики не велось, но во всяком случае цифра в 300 душ значительно преувеличена.

Библиотека всегда именовалась так: «Русская библиотека в Цюрихе» и никогда она не называлась библиотекой русских студентов и студенток в Цюрихе. Такой же штемпель или печать был и на ее книгах.

2. Несколько слов о Розалии Идельсон и Валериане Смирнове, которых я хорошо знал и с которыми дружил с первого дня их приезда в Цюрих и до осени 72-го года, когда я стал замечать перемену в их отношениях ко мне.

На стр. 15 Кулябко говорит:

> «Идельсон родилась в состоятельной еврейской семье в одной из губерний нашего Западного края. Окончив курс в местной женской гимназии, она изъявила желание продолжить образование в высшем учебном заведении, но этому решительно воспротивились ее родители. Жизнь в семье, строго придерживавшейся ветхозаветных правил, стала совершенно невозможной для молодой девушки… Выход из этого положения в те времена был обычный – фиктивный брак. Нашелся молодой человек, по фамилии Идельсон, который явился к ее родителям в качестве жениха, получил согласие родителей и после венца немедленно выдал ей свободный вид на жительство, – и она укатила в Цюрих… Отсутствие материальной помощи из России вынудило ее занять платное место библиотекарши…».

Конечно, вранья здесь изрядная доза.

В 1861 году впервые разрешили принять в Технологический институт (до реформы его) в низший класс пять евреев – Вейншток, Гертиг, Дубенский, Зелигман и Идельсон – обязательно в качестве приходящих. Идельсон, которому было 13-14 лет, поместился на житье в семье женщины по фамилии, помнится, Розенблат, у которой было две дочери: Розалия и Анна и сын Мойша. Семья была очень бедная, жила в одной комнате вчетвером, а остальные две сдавались жильцам; одну из них занял мой товарищ по институту Идельсон. Впоследствии и третью комнату заняли тоже мои товарищи (Пиворович с братом). Ни Розалия, ни Анна ни в какой гимназии не были, да и не могли быть, потому что женских гимназий в России еще не было, кроме одной Мариинской в Питере, куда евреек не принимали. Розалия и Анна в то время были полуграмотные, умели только читать и мало-мало писать по-русски. Идельсон мало интересовался развитием девушек, и эта роль выпала на нашу долю. Мать стала замечать вредное наше влияние на дочерей, особенно на Розалию, как на старшую, принимала разные меры строгости, и дело кончилось тем, что она отказала от квартиры моим товарищам. Вот после этого (1864-1865) явилась мысль о фиктивном браке, который я устроил в синагоге Царского села. В определенный день нам троим удалось выкрасть Розалию, увезти в Царское и поженить. Родители Идельсона были тоже бедные люди, и он воспитывался на средства еврейской общины. Конечно «фиктив» исчез, и молодожены наслаждались жизнью. Мы редко встречались, но вот почти через год Розалия Идельсон попросила нас приготовить ее к экзамену на домашнюю учительницу, для чего требовались знание арифметики, элементарной русской грамматики, географии. Сначала с ней занимались двое, а потом мне одному пришлось ее готовить, экзамен она выдержала и диплом на домашнюю учительницу получила. После этого я долго не видел ее и только за 3-4 месяца до моего ареста я занял у нее комнату. Она в то время, по примеру своей матери, тоже отдавала комнаты. С Идельсоном она уже разошлась и жила с другим мужем. Это было в декабре 1867 года, а в 1872 году она явилась в Цюрих. Она получала хорошую стипендию,

что давало ей возможность жить, одеваться хорошо и помогать Смирнову. За занятия в библиотеке она ничего не получала, да и никто ничего не получал, в том числе и Смирнов – все работали бесплатно. Кулябко просто наклеветал. Что касается Смирнова, то он был темный шатен, а не блондин, как пишет Кулябко. Он изредка получал помощь из дома от родителей, а затем благодаря Идельсон, у которой в редакции журнала «Врач» был приятель, стал писать туда рецензии книг по медицине, выходивших на немецком языке. Я дружил со Смирновым вопреки мнению о нем Бакунина, который с первого его знакомства с ним говорил, что «он не наш и не может быть нашим».

На 31-й стр. Кулябко пишет:

> «Обладая не особенно острой памятью, я тем не менее… могу ручаться, что эта память мне в данном случае не изменит… могу также ручаться и за беспристрастие…».

И то и другое очень сомнительно. Идельсон, Смирнов и Лавров жили постоянно во Frauenfeld'е вплоть до своего отъезда в Лондон в ноябре 1873 года, а Кулябко, якобы постоянно у них бывавший, переселил их в какой-то Forsthaus и там их посещал. Он не помнит даже, где он сам-то жил и говорит о Blumengasse (такой улицы нет), тогда как он жил на Rosengasse. Все предыдущее, а также и последующее показывает, какова у него память, а также и беспристрастие.

3. На стр. 48-50 он же пишет о Нечаеве. Не буду приводить очень длинной выписки и расскажу только о предполагаемом его побеге, как происходило в действительности. Нечаев сидел в той самой тюрьме, ворота которой пытались разбить бунтовавшие рабочие, как я рассказал раньше. Режим его содержания был очень строгий, караулили его усиленно, переписка, свидания, передачи были безусловно запрещены; свои деньги он мог иметь, конечно, только в тюремной конторе и расходовать их на покупку провизии. Только в самое последнее время разрешили Южаковой, якобы его невесте, иметь с ним 2-3 свидания, которые происходили так, что Нечаев сидел на одном конце стола, Южакова – на другом, а между ними тюремщик; говорить разрешалось только по-немецки или по-французски; иначе свидание прекратится и дальнейших разрешено не будет. Когда стало известно о выдаче Нечаева русскому правительству, Южаковой дали последнее свидание, на котором при прощании позволили им расцеловаться и пожать друг другу руки (раньше этого не позволяли). Вот в этот-то раз Нечаеву и удалось передать для меня маленькую записку, о которой ранее было рассказано. Рассказ Кулябко, как видно, совершенно не соответствует действительности. Следует еще прибавить, что будто бы, он немедля поздно вечером «побежал на квартиру бакунистов и застал там Эльсница и Гольштейна и исполнил свою миссию; присутствовал ли при этом Ралли, третий их соквартирант, я не помню»… Надо знать, что эти «соквартиранты» жили на разных квартирах и в разных частях города: Эльсниц с женой жил в комнате против политехникума, Гольштейн тоже с женой в самом конце Hottingen'а. Ралли на Platte. Это, во-первых, а во-вторых, я ничего подобного не слыхал, хотя, конечно, всё время был в курсе всего этого дела. Словом, всё это брехня. Что же касается организации насильственного освобождения Нечаева во время его перевода из тюрьмы на вокзал, то дело обстояло

так: руководителем попытки был Турский, а вовсе не Ралли (как пишет Кулябко) и около него было 5-6 человек. Для такого дела нужны люди решительные, энергичные, физически сильные, находчивые и с инициативой, а таких-то среди них не было. Да и попытку-то следовало сделать не в Цюрихе, где было много полиции, по дороге и на вокзале, а где-нибудь на промежуточной станции. Они ожидали Нечаева на вокзале около поезда, а не по дороге, как пишет Кулябко, и никто из них не бросился освободить его; они только вошли в вагон следом за Нечаевым, потолкались у дверей, смотря на него и его охранников, которых было трое, из коих двое здоровенных переодетых русских жандармов. У Нечаева на руках были наручники. Рассказ Ралли тоже отличается фантастичностью. Бакунин никогда его не посылал в Яссы по простой причине: у Бакунина не было решительно никакого дела в Яссах и не было там таких его знакомых.

На стр. 52-54 Кулябко рассказывает о своем знакомстве с Бакуниным. Рассказы эти интересны только тем, что они не отвечают действительности, просто говоря, они выдуманы. Бакунин никогда не жил (даже временно), да и не мог даже останавливаться ни у Эльсница, ни у Гольштейна, потому что они жили с женами и занимали по одной комнате. Бакунин жил на Platte напротив анатомического кабинета университета в небольшом одноэтажном домике в отдельной комнате с полным пансионом (специальным, сообразно с его здоровьем), и следовательно, ему не был ни какой нужды ходить обедать в другие столовые, да еще с мифическими четырьмя итальянцами; точно также смешно слышать, что он ходил по городу, рассматривал книги в окнах книжных магазинов. Ему трудно было ходить по ровному месту, а не то что по горам, и поэтому видеть его в нижней части города невероятно… и так далее.

4. На стр. 60 и следующих Кулябко рассказывает о расколе в библиотеке, о драке Соколова со Смирновым. Прежде всего надо помнить, что Подолинский, Кулябко, Идельсон и другие, ушедшие из библиотеки, появились в Цюрихе после того, как она существовала уже почти два года; а Смирнов приехал спустя год после основания ее. Кроме того Кулябко никакого участия не принимал (да вероятно и не знал) о происходивших тогда переговорах об издании «Вперед» между нами и Лавровым. В действительности эти переговоры находились в тесной связи с вопросом о библиотеке. Я уже раньше писал, как народилась она; говорил уже, что цель ее была специальная, распространение пропаганды известного рода идей, что она была небольшая, существовала исключительно на средства ее членов, что она никогда и ничего не получала бесплатно из России от издателей, исключая некоторых журналов, что она никогда не выдавалась за библиотеку всех студентов, что печать у нее была «Русская библиотека в Цюрихе», что никаких бланков у нее не было, что никто из работавших в ней не получал никакого вознаграждения.

Библиотека была, так сказать, моим детищем, и поэтому я внимательно следил за ее состоянием, увеличением, сохранением ее характера и поэтому решительно ничего в ней не делалось, чего бы я не знал, что шло бы помимо меня, хотя председателем я не был, так как в библиотечной комиссии председателей вообще не было. Поэтому ясно, что я отлично знал всё, что связывалось с библиотекой, и пишу не со слов других и не по слухам. Прекрасно помню до сих пор все перипетии тогдашних событий, все мелочи их; тогда я тщательно следил, да и обязан был следить за деятельностью всех тех лиц, которые отрицательно, враждебно относились к ней. А это

были Лавров, Подолинский, Смирнов (руководители), а за ними Филиппов, Кулябко, Москалев, Рихтер – чиновники, дальше «негодница» (то есть хулиганы) и наконец небольшая труппа недавно приехавших молодых, зеленых студенток, затесавшихся сюда по недомыслию (кружок «фричей», якобы бакунисток)[21]. Я всегда был свободолюбивый человек и обычно относился довольно спокойно к людям, менявшим свои политические убеждения, взгляды; я всегда считался с тем, что люди вполне зависят от внешних обстоятельств и что весьма редко встречаются такие личности, которые «до гробовой доски» остаются верны своим убеждениям, несмотря на внешние обстоятельства. И поэтому, «положа руку на сердце», откровенно и искренне могу сказать, что я не чувствовал злобы, не прибегал к какой-либо мести по отношению к Лаврову, Смирнову, Подолинскому и другим. Изменяли, лицемерили, интриговали – их дело; а мое дело прекратить с ними всякие сношения, знакомство.

Перейду к рассказу о событиях более подробно, чтобы показать лживость рассказа Кулябко. Около 72 года в Цюрихе появился Подолинский, с которым я встретился у Смирнова и затем тут же часто с ним сталкивался. Во время этих встреч он часто расспрашивал меня о Парижской Коммуне, Интернационале и прочем, но все такие вопросы интересовали его, как мне тогда казалось, как постороннего наблюдателя, совершенно спокойно и безразлично относящегося к ним. Он представлялся мне обыкновенным русским студентом либеральных взглядов, интересовавшимся рабочим вопросом, социализмом, но не в качестве деятеля в этой сфере. В одно из таких свиданий, приблизительно в августе или даже сентябре, он стал говорить о библиотеке, что ее следовало бы расширить, внести в нее отделы беллетристики, естествознания и другое, словом придать ей общеобразовательный характер, а не такой партийный, какой она имеет теперь; конечно, я возражал на это и между прочим говорил ему: «Ну, и устраивайте такую библиотеку!». Около этого же времени я услыхал от Смирнова о предполагаемом издании журнала Лавровым с Подолинским. В это время шел Гаагский конгресс Интернационала, арест и выдача Нечаева русскому правительству, и я редко заходил к Смирнову, который не бывал у жившего тогда в Цюрихе Бакунина, и вообще постоянно сидел дома, никуда не выходя, тогда как я большую часть дня проводил у Бакунина. После выдачи Нечаева я ездил в Париж выручить его архив, был у Лаврова, и узнал от него о затеваемом журнале, о котором Лавров сказал мне: «Вас он не может интересовать; всю вашу деятельность мы признаем вредной и с ней будем бороться». Слова эти я передал Смирнову, а он принял их довольно хладнокровно. Тогда же я узнал, что Подолинский под сурдинку ведет пропаганду против библиотеки в смысле ее расширения и изменения ее характера, для чего необходимо вырвать ее из рук бакунистов, удалить из нее в первую голову Росса и передать заведывание ею в руки всех живущих русских в Цюрихе. Последнее, то есть заведывание библиотекой, было лозунгом борьбы. Вскоре появился в Цюрихе Лавров, который, к немалому моему изумлению, предложил мне участвовать

[21] Сажин утверждает, что кружок русских студенток, так называемых «фричей», поддерживал Лаврова и лавристов в вопросе о библиотеке, организованной бакунистами, исключительно «по недомыслию». Вряд ли есть надобность опровергать такое наивное объяснение. Достаточно сослаться хотя бы на воспоминания одной из членов кружка «фричей», Веры Фигнер «*Студенческие годы*» (см. собрание ее сочинений), чтобы убедиться в том, что позицию «фричей» их «недомыслием» объяснить нельзя. (прим. 1932)

в журнале; о его трех программах журнала, о моей поездке в Локарно и, наконец, о последнем нашем общем собрании в комнате Смирнова в присутствии Лаврова, Подолинского, Смирнова, Идельсон и нас троих – меня, Эльсница и Ралли, – обо всем этом изложено мною на стр. 38-40 моих воспоминаний. Лавров в конце нашего заседания заявил, «что он надеется, что мы расстаемся друзьями». Но с этого же времени началась усиленная агитация против библиотеки и в особенности лично против Росса.

Общее собрание членов библиотеки состоялось в феврале 1873 года. Собрание было многолюдное, полагаю – не меньше сотни, а может и больше. Кроме членов и читателей, присутствовали такие лица, которых я видел впервые. Конечно, явилась вся группа, которая именовалась «негодницей» (то есть хулиганы), а их тогда считалось до двадцати человек. По открытии заседания под председательством Эльсница секретарь Смирнов прочитал годовой отчет, а затем Подолинский внес предложение, чтобы управление библиотекой принадлежало всем русским, живущим в Цюрихе. После моего возражения и последовавших за ним дебатов вопрос баллотировался, при чем значительным большинством членов предложение Подолинского было отклонено. Тотчас после этого по предложению Подолинского все его сторонники оставили собрание и отправились в заранее приготовленное помещение.

После их ухода мы продолжили заседание, рассмотрев все вопросы, стоявшие в порядке дня. Категорически утверждаю, вопреки словам Веры Фигнер, что на собрании присутствовал Лавров. Очень хорошо помню, что он сидел в самом конце стола, по левую руку его сидела Идельсон, затем Подолинский, а по правую Смирнов. Фигнер говорит, что Лаврова не было, а что он потом присутствовал на собрании эмигрантов, тогда как всех эмигрантов в Цюрихе было, кроме нас, еще три человека (Лавров, Линев и Смирнов). Об организации их новой библиотеки, покупке дома и так далее я знал по рассказам других, а посему говорить об этом не буду.

Что касается числа членов, то из прилагаемого списка их видно, что с основания библиотеки до собрания 1873 года их было 45 человек; но из этого числа надо исключить троих умерших в 1872 году, следовательно, осталось 42 человека; после собрания выбыло десять. Итак, осталось всего 33 человека. Кроме того, на утверждение собрания был представлен библиотечной комиссией список 19 лиц, желавших поступить в члены библиотеки. Всё это – женщины, за исключением четырех мужчин, приехавших в Цюрих в течение второго полугодия 72 года учиться и пожелавших вступить в члены библиотеки. Итак, взять в свои руки библиотеку, чтобы ее обезвредить, а кое-кого из бакунистов выбросить вон, не удалось. Всё гнездо осталось в целости. Кулябко говорит, что им удалось утащить (попросту говоря, – уворовать) до сотни книжек, но так как, по его же словам, в библиотеке было несколько тысяч, то на ней не должно было чувствительно отразиться исчезновение какой-то сотни. Тогда же было решено прекратить, по возможности, общение с ними, избегать всяких столкновений, но оказалось, что они-то думали и действовали иначе. Наша библиотека закрылась по случаю отъезда из Цюриха всех ее членов; а затем я передал ее Элпидину в Женеве по нотариальному акту с тем, чтобы она была открыта. Из акта явствует, что она передана бесплатно, о чем тогда знали жившие там русские революционеры Кравчинский, Гольденберг, Мокриевич и другие; так что Ралли в своих воспоминаниях соврал, сказав, что Росс продал библиотеку.

Теперь расскажу о столкновении Соколова с Смирновым.

Весной 1872 года в типографии, которой заведовал Александров, печаталась книжка Соколова «Отщепенцы». Типографии «Вперед» тогда еще не существовало, так что рассказ Кулябко о том, что книжку печатали в типографии «Вперед» и что ее издавала редакция «Вперед», – сплошное вранье. Часть средств для ее издания дали Росс и Смирнов, за что они получили, помнится, по полтораста экземпляров. Росс свою партию в скором времени отправил в Россию, а Смирнов сохранил всю партию. В 73 году от кружка чайковцев приехал Куприянов; предполагая, что у меня еще имеются экземпляры книги, он просил отдать их ему для перевоза в Россию. За неимением таковых я предложил ему обратиться к Смирнову, но Куприянов почему-то нашел это для себя неудобным. Об этих разговорах узнал Николай Васильевич Соколов и тотчас же заявил, что он, как автор «Отщепенцев», имеет несомненное право на имеющиеся у Смирнова экземпляры. Поэтому он пойдет к Смирнову, вытребует их, чтобы передать Куприянову для отправки в Россию. Соколов не знал Смирнова, тогда как я и другие товарищи прекрасно знали, что он человек не сдержанный, словом, «задира», а поэтому я, Эльсниц, Ралли и Гольштейн решительно воспротивились свиданию Соколова с Смирновым. Соколов уперся и говорил нам, что он убедит Смирнова отдать все книжки. Ввиду такого упорства я предложил, чтобы Соколова сопровождали Святловский (врач), приятель Соколова, и Ралли; при чем я указал, что как только начнется крупный разговор между Соколовым и Смирновым, они немедленно должны вмешаться, чтобы прекратить свидание. Все согласились с моими словами и с этим наказом отправились на свидание. Приблизительно через час возвратился Ралли и рассказал Эльсницу и мне следующее: придя в комнату Смирнова, Соколов объяснил причину своего посещения и, заявив свое авторское право, потребовал выдать ему экземпляры книжки; Смирнов отказал, при чем довольно прозрачно намекнул, что он не уверен в том, куда пойдут эти экземпляры. Дело в том, что Соколов выпивал и все вечера проводил один или в компании в пивных – это одно, а другое то, что Лавров в свое время посетил Соколова, предложив ему сотрудничать в «Вперед», а Соколов довольно грубо принял Лаврова и решительно отказался от сотрудничества в его журнале. Эти два обстоятельства несомненно лежали в основе отказа Смирнова. Услышав от Смирнова намек на то, что он может пропить книжки, Соколов бросил ему слово: «негодяй!», а Смирнов ответил на это словом «мерзавец» и плюнул в него, после чего полковник схватил Смирнова за ворот. Свидетели же совершенно растерялись; первым бросился бежать за хозяином квартиры Ралли, а за ним и Святловский. Не найдя хозяина в кухне, они оба тотчас же вернулись и увидели Соколова и Смирнова барахтавшимися на полу; только теперь они растащили их. Святловский и Соколов независимо друг от друга рассказали нам то же точно то же, что и Ралли; все их показания были совершенно тождественны. Эльсниц тогда же их записал. Весь рассказ Кулябко об этом событии (на стр. 70 его воспоминаний) выдуман.

5. На стр. 71 Кулябко рассказывает о покушении Завадской. Случай этот произошел до эпизода Соколова-Смирнова, а не после него. Он пишет, что «Завадская вбежала на собрание с восторженным лицом, забрызганным кровью и с криком: „я отомстила за Смирнова, я публично дала пощечину Россу“»… Конечно, это тоже вранье, потому

что, как сказано выше, эпизода со Смирновым тогда еще не было, ну, а относительно «забрызганной кровью» – выдумано для большего впечатления на читателей.

Решительно утверждаю *еще раз*, что Подолинский, Мандельштам и Шульц (студентка) обращались к Пфеннингеру[22] с просьбой от имени всех русских, живущих в Цюрихе, изгнать Росса, а быть может и Соколова из Цюриха. Впоследствии, в 1874 году, я слышал от Шульц и Мандельштама подробный рассказ о посещении ими с Подолинским Пфеннингера. В это же время Лавров ездил в Винтертур к своему знакомому члену правительства с просьбой повлиять на Пфеннингера.

СПИСОК ЧЛЕНОВ БИБЛИОТЕКИ С ЕЕ ОСНОВАНИЯ ДО ЕЕ ЗАКРЫТИЯ (1870 – 1873)

1. Пономарев Ив. М.; 2. Пузис М.*; 3. Росс Ар.; 4. Лаврова С.; 5. Смецкая; 6. Симонович Роза; 7.* **Клейман** *(студентка);8. Южакова*; 9. Фронштейн (ст-ка); 10. Берлинерблау";11. ***Герценштейн***; 12. Любатович Ольга*; 13. Каминская*; 14. Смирнов*; 15. Гольштейн; 16. Эльсниц; 17. Потоцкая; 18. Ралли; 19. Окунькова; 20. Хардина М.; 21. Хардина Е.; 22. Луканина; 23. ***Греве***; 24. Эльсниц Отилия; 25. Ваховская; 26. Ваховский; 27. Судзиловская; 28. Идельсон Розалия*; 29. Четвергова; 30. Любатович Вера*; 31. Эльсниц Софья; 32. Гольштейн Екатер.; 33. Подолинский*; 34. Симонович Дора; 35. Симонович Тиля; 36. Розенштейн Мария; 37. Струков; 38. Струкова; 39. Дебагорий; 40. Паничини; 41. Ходько; 42. Юдина; 43. Матчет; 44. Донецкая

44 человека.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ БИБЛИОТЕКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ В ФЕВРАЛЕ 1873 года:

1. Васильев; 2. Туманов; 3. Бардина; 4. Александрова; 5. Фигнер Лидия; 6. Розенштейн Анна; 7. Эмме (студентка); 8. Завадская; 9. Жебунев Сергей; 10. Батюшкова; 11. Макаревич; 12. Хорженская; 13. Берлацкая; 14. Матчет; 15. Топоркова; 16. Субботина; 17. Фамильянт; 18. Кропоткин А.; 19. Переславцева

19 человек

В 1872 году умерло 3 человека (Клейман, Греве, Герценштейн).

Выбыло – 9 человек (отмечены звездочкой *); осталось – 32 человека.

[22] Пфеннингер – начальник цюрихской полиции.

Последние дни Парижской коммуны.

Первые довольно неопределенные известия о революции 18 марта в Париже получились в Цюрихе, где я тогда жил, 21-22 марта. Я тотчас же написал своим друзьям (Бакунину, Гильому и другим) о своем намерении отправиться в Париж. Желающих ехать со мной оказалось трое: 2 француза и один поляк. Мы условились собраться в Невшателе у Гильома, а оттуда двинуться в Париж, по приезде куда я, спустя несколько дней, перебрался в квартиру Петра Лавровича Лаврова, который дней через пять после моего приезда уехал в Лондон. Во всё время существования Коммуны Лавров прожил в Лондоне и в Брюсселе. Парижская квартира его находилась в округе Батиньоль, в маленьком переулочке, выходящем на бульвар Сент-Оуен, и, если мне не изменяет память, название переулка было «Пассаж Сент-Оуен».

Уже с половины мая всё чаще и чаще приходилось слышать не только от противников Коммуны, но и от преданных защитников ее, что положение дел очень тяжелое и что скорая гибель ее неизбежна. Борьба партий внутри самой Коммуны обострялась всё более и более и дошла, наконец, до того, что меньшинство нашло себя вынужденным выйти из состава Коммуны, отделиться от большинства. В военных делах царил страшный беспорядок: разруха, деморализация. Защитников Коммуны становилось всё менее и менее и в конце концов не превышало тридцати тысяч, как тогда говорили и даже писали в газетах.

С другой стороны, Тьер, глава версальского правительства, уплатив Германии часть военной контрибуции, следуемой по мирному договору, получил согласие Бисмарка на возвращение во Францию из плена значительной армии. Конечно, армия эта была дезорганизована и деморализована, но энергичными усилиями Тьера и маршала Мак-Магона, ставшего во главе ее, она скоро была вся переформирована, вооружена и снабжена всем необходимым и таким образом представляла собой грозную силу, по крайней мере, во сто тысяч штыков. Офицерство ее, в большинстве настроенное бонапартистски, горело страстным желанием расправиться с ненавистным ему пролетариатом, солдаты же в главной массе своей были из среды крестьянства тех департаментов, которые постоянно отличались собственным реакционным духом и преданностью Бонапарту.

Вот эта-то армия, находившаяся под командой наполеоновских генералов Винуа, Кленшен, Дуе, Ладмиро, Дюпрэ, Галифе и прочих, постепенно окружала Париж с юга, запада и севера, а немецкая армия занимала в это время все укрепленные места с востока. Таким образом к половине мая весь Париж был окружен кольцом войск и совершенно отрезан от всего мира.

Сам по себе город Париж был опоясан, во-первых, крепостной стеной, сооруженной еще в первой половине пятидесятых годов прошлого столетия, во-вторых, с юга, востока и частью севера его защищали ряд фортов и полевых укреплений (Исси, Ванв, Иври, Венсен, Сен-Дени, Мон-Валериен и прочие), с запада же и северо-запада

его омывает река Сена и охраняет с этой стороны подступы к Парижу. Как я уже сказал, с востока все укрепленные места были заняты немецкой армией согласно мирному договору, заключенному Бисмарком с Тьером, тогдашним главой французского правительства. Войска Коммуны занимали остальные форты и укрепления, за исключением грозного и большого форта Мон-Валериен, который вследствие ли измены или благодаря преступной небрежности и халатности одного из командиров Коммуны, еще в марте месяце остался в руках версальского правительства. Этот несчастный случай впоследствии дорого обошелся Коммуне.

Теперь я постараюсь изобразить топографию местности, где мне пришлось в последний раз быть с оружием в руках защитником Коммуны.

Округ Батиньоль имеет вид треугольника, одна сторона которого, лежащая на юге, образуется бульварами де-Курсель и Батиньоль до площади Клиши, другая сторона идет на север от этой площади до авеню Сент-Оуен, почти перпендикулярно к этим бульварам, и служит границей между округами Батиньоль и Монмартр, а третья сторона, с севера замыкающая треугольник, идет вдоль крепостной стены, соединяя начало бульваров и конец авеню Сент-Оуен.

В расстоянии 60-70 саженей от площади Клиши, по авеню Сент-Оуен, влево отделяется авеню Клиши по направлению на запад и идет почти параллельно бульварам Батиньоль и де-Курсель. Вот в промежутке между авеню Сент-Оуен и авеню Клиши и находилась квартира Лаврова, в переулке, расположенном очень близко от авеню Клиши и идущем параллельно этому авеню. Авеню Сент-Оуен идет от площади Клиши на север, до самой крепостной стены города.

В воскресенье, 21 мая, во дворце Тюильри состоялся очень большой концерт в пользу вдов и сирот, оставшихся после коммунаров, погибших во время гражданской войны. По окончании концерта в зале около 6 часов вечера быстро распространилось известие, что версальские войска проникли в Париж. Около половины мая маршал Мак-Магон, главнокомандующий всеми войсками, установил батарею в 60 орудий под защитой форта Мон-Валериен. Всего же у версальцев в разных местах было расположено до 300 морских и осадных орудий, которые с 20 мая начали бомбардировку укреплений и крепостной стены. С помощью 60-орудийной батареи разрушена была в воскресенье 21 мая, вечером, в юго-западном углу часть стены, опоясывающей Париж. И вот через этот-то пролом и ворвались версальские войска. Вначале они подвигались вперед очень медленно тремя колоннами. Одна колонна двинулась вдоль стены на юг, стремясь занять левую часть города, вторая колонна направилась к Триумфальной арке, то есть к центру города, а третья пошла на север, тоже вдоль стены в обход округа Батиньоль. Сопротивление войск Коммуны во всех этих местах было незначительно, потому что всюду их оказалось очень мало, и они отступали во внутрь города, который начал уже покрываться баррикадами.

В мае месяце Коммуна декретировала образование комитета под председательством Гальяра старшего, который должен был создать ряд баррикад в городе, а затем минировать все стратегические пункты. Но эта комиссия почти ничего не сделала для защиты Парижа, и версальские войска, продвигаясь вперед, не встречали с этой стороны никаких препятствий.

Известие о входе версальских войск в Париж распространялось довольно медленно и стало известно всему городу только на другой день с утра.

В понедельник, около 8 часов утра, я по обыкновению пошел купить себе кое-что съестное. Выйдя на бульвар, я тотчас же увидел необычайное скопление народа, местами стоявшего группами и возбужденно обсуждавшего положение дел. Кое-где началась постройка баррикад.

В виду того, что булочные и другие лавочки стали быстро закрываться, я поторопился купить себе провизии и отнести ее домой. По дороге я забежал к Елизавете Дмитриевой, которая неподалеку от бульвара Сент-Оуен занимала комнату; тут меня встретила ее хозяйка и сказала, что мадам еще вчера поздно вечером оставила квартиру, забрав с собой все свои вещи. С тех пор я не встречался с Елизаветой Дмитриевой, которая после падения Коммуны вернулась в Россию и одно время жила в Красноярске с мужем, судившимся по какому-то уголовному делу и сосланному на поселение. Когда всех нас, политических преступников, содержавшихся в семидесятых годах в двух центральных каторжных тюрьмах Харьковской губернии, переводили в Восточную Сибирь тоже на каторгу, она в Красноярске безуспешно пыталась повидаться со мной в тюрьме. Елизавета Дмитриева во время Коммуны вела усиленную пропаганду и агитацию в Париже среди женщин-работниц, организовывая их в различных округах города.

Отнеся домой провизию, я тотчас же вернулся назад, где присоединился к строющим баррикады, начав выворачивать камни мостовой и укладывать их в известном порядке. К полудню в нашем округе все улицы и переулки покрылись баррикадами, и всюду, везде на них находились вооруженные люди, их защищавшие. Среди последних главным образом были федералисты (так назывались войска Коммуны) и только среди них изредка встречались люди в штатском платье. В некоторых местах, в отдаленных улицах и переулках, с утра уже завязалась перестрелка с наступившими версальцами (войска Мак-Магона), под натиском которых коммунары вынуждены были постепенно оставлять баррикады и подвигаться все ближе и ближе к нам, как к центру сопротивления всего округа Батиньоль. Часам к 5-6 вечера перестрелка, постепенно усиливаясь, сильно разгорелась у нас, но тем не менее коммунары крепко держались и энергично отражали атаки версальцев. Убитых и раненых у нас было немного, но в то же время к нам постоянно подходили силы небольшими группами с баррикад из переулков, которые они вынуждены были оставить. Версальцы, не ограничиваясь этой перестрелкой и атаками, в то же время значительными силами продвигались вперед вдоль стены города и, таким образом, старались охватить округ с севера, то есть зайти нам в тыл.

В сумерки, около 9-ти часов вечера, перестрелка почти прекратилась, баррикады же бдительно охранялись часовыми. Всем нам, штатским, живущим по соседству, было разрешено идти по домам на отдых и вернуться обязательно часам к 5-ти утра. Из нашего переулка нас было всего три человека, и мы все ушли домой. Я, сильно усталый, голодный, закоптелый и грязный, придя на квартиру, прежде всего обмылся, обчистился, затем, подкрепившись крепким чаем, улегся спать. Сон был очень тревожный, и мне всё время снилось, что я стою на баррикаде и стреляю. Вдруг я внезапно проснулся от страшного треска и грохота. В действительности оказалось, что версальцы, обойдя Батиньоль с севера в разных стратегических местах, поставили батареи и начали атаку округа артиллерийским огнем. С вершины же

Монмартра, где стояло огромное морское орудие, снятое с какого-то корабля еще перед осадой Парижа, начали стрелять по версальским батареям.

Хотя было еще довольно рано, но я тем не менее тотчас же выбежал на улицу, то есть в свой переулок, с намерением пробраться на свою баррикаду, но это оказалось невозможным, потому что версальцы сильно обстреливали наши баррикады из орудий и под прикрытием их вели с большими силами энергичную атаку на них. Ружейная стрельба была так сильна, что выйти из переулка не было никакой возможности, и мы все жались на углу, боясь высунуться; так продолжалось несколько минут, пока одному из нас не прострелило ногу, так что нам двоим пришлось его тащить чуть ли не на себе. Очень скоро вдоль нашего переулка тоже засвистели пули, что показало жителям его, что баррикада взята версальцами. Коммунары, защищавшие их и оставшиеся в живых и не попавшие в плен, ушли на Монмартр.

Весь вторник я просидел дома в самом отвратительном состоянии, нервы были напряжены до последней степени. С одной стороны, бушевали канонада и ружейная стрельба – шла атака Монмартра, который взяли в ночь на среду, и с другой стороны, время от времени раздавались отдельные выстрелы поблизости: это расстреливали пленных и жителей, почему-либо показавшихся подозрительными.

На другой день, то есть в среду, я вышел из дому и увидел разрушенные баррикады, исковерканную мостовую, неубранные трупы расстрелянных, разрушенные дома, – всё это еще не успели убрать, привести в порядок, в отдаленных же улицах уже всё было прибрано. Встречал также фургоны, наполненные трупами, которые свозили и закапывали в парке Монсо, где, как рассказывали, жители этой местности по вечерам собирались около решетки парка и слышали стоны заживо похороненных. Ходить было небезопасно, потому что всюду останавливали часовые и патрули, спрашивали, куда, зачем иду, кто я такой, где живу; мало этого, раза два-три даже обыскивали, осматривали руки. Меня спасло то, что я был иностранец и имел нечто в роде американского паспорта. В одном месте я узнал, что занятая версальцами часть города подвергается повальному обыску и что многие при этом арестовываются. В виду этого я оставил свою квартиру и провел трое суток у Григория Николаевича Вырубова (известный философ-позитивист, издатель-редактор французского журнала «Позитивная Философия») в квартире и лазарете, которым он заведовал, как врач.

С среды или четверга в разных частях города начались пожары, – горели различные общественные здания, поджигаемые или коммунарами, или версальцами с военными целями. В то же время окна подвальных этажей стали заколачивать досками в виду, будто бы, того, что женщины-коммунарки (петролейщицы) льют в эти окна керосин и зажигают его (это клеветническая выдумка версальцев, которые расстреливали без суда женщин, якобы петролейщиц).

В воскресенье я вернулся на свою квартиру, так как она была уже обыскана, и довольно поверхностно, потому что она принадлежала ученому, временно уехавшему в Англию.

Наконец, 29-го или 30-го мая появились на стенах города прокламации за подписью Мак-Магона, что «порядок в городе восстановлен» и что 2-го июня откроется движение по железным дорогам. Я решил воспользоваться этим и уехать немедленно.

2-го июня утром я явился на Лионский вокзал, который был совершенно пуст, а в вагоне со мной сидело человек 5-6, и все они, как потом оказалось, были подгородные жители. На каждой станции в вагон входили полицейские, осматривали нас, наши вещи, паспорта, расспрашивали, куда едем, почему и так далее. Чтобы избавиться от этого, я на третьей или на четвертой станции вышел из вагона, взял новый билет в кассе и сел в другой вагон, а при появлении полицейских предъявлял им сначала свой железнодорожный билет, и это удовлетворяло их. На другой день я почти без приключений добрался до Цюриха.

«Известия ВЦИК», №59 от 18 марта 1921 года.

Первая встреча с Петром Алексеевичем Кропоткиным.

Доклад, прочитанный в «Исторической Секции Дома Печати» в Москве, в годовщину смерти Петра Кропоткина.

Почти пятьдесят лет тому назад, именно ранней весной 1872 года, я впервые встретился с Петром Алексеевичем Кропоткиным в Швейцарии, в Цюрихе, у его родственницы Софьи Николаевны Лавровой, однофамилицы известного революционера, ученого философа Петра Лавровича Лаврова.

С осени 1869 года в местном университете и в Федеральном политехникуме слушали лекции несколько русских студенток и студентов. В университете женщины, исключительно только русские, занимались на медицинском факультете, и их было семь студенток, а студентов было человек пять, из коих одни слушали лекции в политехникуме, а другие еще только готовились к поступлению в него. И те, и другие жили довольно дружно в это время и составляли одну общую колонию. Довольно часто, по крайней мере раз в неделю, собирались все вместе в чьей-нибудь квартире. Собрания эти всегда были очень оживленные, на них всегда обсуждались какие-либо общественные вопросы или же что-либо читалось по тем же вопросам.

Время тогда было очень интересное: война франко-прусская, падение Наполеоновской империи, провозглашение французской республики, революционные события на юге Франции, провозглашение Коммуны в Лионе, поражение и пленение французских армий, осада Парижа, революционные попытки там, версальский мир, революция 18-го марта, провозглашение Коммуны в Париже, гражданская война, падение Коммуны.

Все эти события произошли за время с конца июля 1870 года по июнь 1871 года, то есть почти на протяжении одного года. Тогда же всю нашу группу чрезвычайно интересовала Интернациональная Ассоциация Рабочих, проще говоря, Интернационал, который к этому времени достиг высшей точки своего развития и в состав которого входили рабочие Англии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии и других стран.

Лично я принадлежал к одной из секций Интернационала, находился в близких отношениях с некоторыми видными деятелями его, благодаря чему почти всегда знал, что там делается, где и какие происходят местные рабочие конгрессы, стачки, забастовки, какая издается литература и так далее. Всем этим я пользовался и держал свой кружок таким образом в курсе деятельности и жизни Интернационала.

Среди Интернационала тогда уже резко обозначились два течения или, вернее, две партии: одна – государственники-централисты с Марксом во главе, а другая – антигосударственники-федералисты с Бакуниным во главе. Первая партия опиралась главным образом на немецкий пролетариат, а вторая – на пролетариат роман-

ских народов. Государственники, то есть Маркс, имели в своих руках Генеральный Совет Интернационала.

В Швейцарии со второй половины семидесятого года центром первых, то есть государственников, была Женева, а главным местопребыванием антигосударственников (анархистов) была Юра (Шо-де-Фон, Локль, Сонвилье, Сент-Имье). Во всех этих местах процветала часовая индустрия.

Таким образом в нашем кружке, так сказать, отражалась чуть ли не вся революционная деятельность, чуть ли не все революционные события тогдашней Европы. Петр Алексеевич Кропоткин очень хорошо знал, благодаря своей родственнице Софье Николаевне Лавровой, о существовании нашего кружка, о его характере, о том, что у нас есть небольшая библиотека, в которой собрано было очень много революционной литературы не только данного времени, но и кое-что по части революционных движений прошедшего, по социализму, по современной истории и так далее. Вот поэтому-то он и направился к нам, когда задумал узнать, что такое Интернационал, о котором, начиная с Базельского конгресса, а особенно после Коммуны, так много говорилось и писалось в буржуазном обществе и прессе главных государств Европы.

> «Уже много лет мне страстно хотелось изучить всё касающееся Интернационала. Русские газеты часто упоминали о нем, но им не разрешалось писать ни о целях, ни о деятельности Международного Союза Работников. Я догадывался, что это должно быть великое движение, имеющее богатое будущее; но я не мог хорошо уловить его цели. Теперь, в Швейцарии, я решился найти ответ на все мои вопросы», – так говорит Петр Кропоткин в своей книге «*Записки революционера*»[1].

При первой же встрече моей с Петром Алексеевичем в квартире его родственницы, Софьи Николаевны Лавровой, он тотчас же обратился ко мне с целым рядом вопросов об Интернационале, Парижской Коммуне. Первый вечер прошел в довольно беспорядочных разговорах: его интересовала Западная Европа, а нас – Восточная Россия. Ему, по-видимому, очень хотелось скорее получить ответы на беспокоившие его вопросы. Во всех наших разговорах как в этот вечер, так и в последующие большое участие принимали вышеупомянутая Софья Лаврова, а также Надежда Николаевна Смецкая – обе последовательницы Бакунина, анархистки и крупные личности. В конце вечера, однако, было решено ввести некоторый порядок в наши беседы. Тогда же Лаврова и ее сожительница Смецкая наделили Петра Алексеевича соответственной литературой, имевшейся у них под руками.

В то время в Цюрихе, кроме нашего кружка, никаких секций Интернационала не было; в 1870 году существовала еще так-называемая «дикая секция» во главе с Грейлихом, примыкавшая к Интернационалу; число ее членов было ничтожное, – 4-5 человек, и она к концу года совсем замерла. Из организаций, враждебных Интернационалу, были патриотическое общество «Грютли», состоявшее из швейцарских рабочих, ремесленников и мелких буржуа, и общество строительных рабочих, исключительно из немцев.

---

[1] «*Записки революционера*», «Петербург. Первая поездка за границу», VIII.

В течение последующих вечеров наши общие беседы велись более систематично, более порядочно. Ко всем нашим рассказам и сообщениям он относился очень внимательно, очень вдумчиво и бывало так, что, придя на другой вечер, он снова возвращался к тем же вопросам, о которых говорилось накануне. Все показывало, что он тщательно изучает предмет, критически относится к нашим словам. В виду такого горячего, упорного, настойчивого желания его основательно изучить и знать задачи, цель, деятельность Интернационала во всем его объеме и со всех сторон, советовали ему съездить в главные центры рабочих-интернационалистов: в Юру и в Женеву. В Юре были сосредоточены последователи Бакунина, так называемая Юрская федерация, антигосударственники, а в Женеве – последователи Маркса, государственники.

> «Чем больше я читал, тем сильнее я убеждался, что предо мной новый для меня мир, совершенно неизвестный ученым авторам социологических теорий. Мир этот я мог изучить, только проживши среди рабочего Интернационала и присматриваясь к его повседневной жизни. Поэтому я решил посвятить такому изучению два-три месяца. Мои русские знакомые одобрили мой план, и после нескольких дней, проведенных в Цюрихе, я отправился в Женеву, которая была тогда крупным центром Интернационала»[2].

Выжавши из нас всё, что только было возможно и что мы могли ему дать, и заручившись у нас кое-какими указаниями и адресами, он отправился сначала в Женеву, где тотчас же по приезде познакомился с местными вожаками Интернационала: Утиным Николаем, Гросселином, Перре и другими. Деятельность их, а также цели и стремления их произвели на него далеко не благоприятное впечатление, о чем он рассказывает в своих «*Записках революционера*»; основательно ознакомившись с Женевой, он уехал в Невшатель, откуда очень скоро перебрался в Юру и поселился там среди рабочих-часовщиков.

На обратном пути в Россию Кропоткин останавливался в Цюрихе, но, к сожалению, я его не мог видеть: – меня больного увезли на юг Франции в Монпелье. Софья Лаврова писала мне, что, прощаясь с ней на вокзале, он сказал ей: «я с вами и весь ваш», и просил ее передать это мне. Она потом изредка получала от него письма из России, а в то время переписка с заграницей была очень затруднительна. Царское правительство, как и всякое другое правительство, письма подвергало перлюстрации, подозрительные письма прямо задерживало. При переезде через границу всякое лицо всегда рисковало быть обысканным жандармами. Мне до сих пор памятно одно его письмо, полученное весной 1873 года по почте. Кропоткин был, как известно, ученым географом и геологом. В тогдашнем ученом мире русских геологов происходила борьба между плутонистами и нептунистами. Первые считали, что внутренность земли находится в расплавленном огненно-жидком состоянии и что главная действующая сила в разных превращениях земли – огонь, а вторые считали главным двигателем воду. И вот на этой почве борьбы он чрезвычайно остроумно и ловко изобразил нам в своем письме борьбу, происходившую тогда среди

[2] Там же.

революционной молодежи: между последователями Бакунина и последователями Лаврова, – бакунистами и лавристами. У всякого постороннего человека, прочитавшего письмо, не возникало ни малейшего сомнения в его правдивости изложения борьбы ученых геологов.

Прошло сорок лет после этой нашей взаимной встречи. Кропоткин в течение этого времени был арестован, просидел два года в Петропавловской крепости, бежал за границу, где успел приобрести всемирную известность, как ученый, как революционер-анархист, как глава партии анархистов. Я же в то же время, нелегально приехав в Россию в 1876 году, был тоже арестован, судим сенатом, приговорен к каторге, которую и отбыл со всеми последствиями в Сибири, и только через двадцать один год получил разрешение жить в России.

В 1912 году я был временно за границей и на несколько дней приезжал в Лондон, чтобы, между прочим, видеться с Кропоткиным со специальной целью издания сочинений Михаила Александровича Бакунина. Так как мне самому тогда безусловно невозможно было переехать на более или менее продолжительное время за границу, чтобы предпринять это издание, то я предложил ему взять на себя общее руководство этим предприятием и редакцию его. Он вполне одобрил весь план предстоящей работы и обещал полное свое согласие на мое предложение. Но, увы, к моему большому сожалению, ему пришлось отказаться от своего обещания в виду его болезни и необходимости окончить свое сочинение «Этика».

Конечно, мы встретились как старые друзья, но роли наши на этот раз совершенно переменились: теперь он был в курсе всех революционных дел в Европе и он имел полную возможность и с полным знанием дела посвятить меня во все эти дела. К сожалению, у меня было очень мало времени, потому что я тогда мог пробыть в Лондоне не больше трех дней, в течение которых едва только успел управиться со своими делами.

В 1917 году, во время нашей великой и славной революции, я виделся несколько раз с Петром Алексеевичем в Петрограде, но о его жизни в России за это время могут рассказать другие, более компетентные лица, чем я.

Опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

Поправка к статье Земфира Ралли о Михаиле Александровиче Бакунине.

В №10 «Минувшие Годы» за 1908 год помещена статья Земфира Ралли: «*Михаил Александрович Бакунин. Из моих воспоминаний*». В ней господин Ралли на 144 странице и следующих пишет:

> «… В 1872 году Бакунин просил меня переслать ему в Локарно некоторые из сочинений Прудона, а главным образом его «*Общая идея революции XIX века*» и «*Исповедь революционера…*». Эти книги послужили потом, немного позже, когда в Локарно приехал Варфоломей Александрович Зайцев, к написанию книги «*Анархия по Прудону*», изданной нами в Цюрихе в 1873 году. Книга была написана Зайцевым в то время, когда Бакунин уже засел за писание своей «*Государственность и Анархия*»… Книга «*Анархия по Прудону*» была набрана нами же, печатали мы ее на ручном прессе в количестве 1.200 экземпляров в Цюрихе, до разрыва нашего с Бакуниным, происшедшего вследствие несогласий с Сажиным».

Всё рассказанное выше далеко не соответствует тому, как происходило в действительности. Книга «*Анархия по Прудону*» была написана по-французски известным деятелем Интернационала и самым близким другом Бакунина и Росса (Сажина) Джеймсом Гильомом по предложению Росса, которое одобрил и поддержал Бакунин, а Зайцев только перевел эту рукопись на русский язык. Всё это произошло во второй половине 1873 года, то есть уже после разрыва господ Ралли, Эльсница и Гольштейна с Сажиным и Бакуниным – разрыв этот произошел в конце июля 1873 года в Цюрихе.

Книга «*Анархия по Прудону*» была напечатана Арманом Россом в первой половине 1874 года и не в Цюрихе, а в Лондоне, куда была им перенесена цюрихская типография в ноябре 1873 года. В Цюрихе же, при содействии Ралли, Эльсница и Гольштейна, печатались: «*Историческое развитие Интернационала*» часть 1-я и первые двенадцать листов «*Государственности и Анархии*» Бакунина. Остальные 10-12 листов этой книги были отпечатаны в Женеве (наборная Элпидина) в том же 1873 году и под наблюдением Армана Росса (Сажина).

Бакунин окончил первый том своей «*Государственности и Анархии*» в августе 1873 года, а Гильом в это время только начал писать «*Анархию по Прудону*». Зайцев в декабре 1873 года или даже в январе 1874 года выслал первые листы перевода в Лондон Арману Россу, который тогда же и приступил к печатанию его. К маю печатание всей книжки было уже окончено.

«Минувшие Годы», №12, 1908 год.

Бакунин и его вилла «Бароната».

Эта заметка была написана по поводу статьи Ю. Стеклова о Бакунине.

Летом 1873 года из Берна друзья Бакунина предупреждали его, что в федеральном правительстве под давлением иностранных держав обсуждается вопрос о переселении его во внутренние кантоны или даже прямо об изгнании его из Швейцарии. Вполне естественно, что это известие сильно встревожило Бакунина и всех нас, связанных с ним общей революционной деятельностью, а в особенности итальянцев, у которых тогда под его непосредственным влиянием шла кипучая работа в Интернационале. Вот в это-то время, между прочим, и под влиянием этих известий, зародилась мысль об известном письме Бакунина в Journal de Genève о приобретении какой-либо земельной собственности или о переселении его на остров Мальту.

Первая мысль о переселении на Мальту явилась у самого Бакунина, который надеялся, что там ему возможно будет вполне спокойно заниматься революционной деятельностью, конечно, не среди жителей Мальты. Очень скоро от Мальты пришлось отказаться после того, как собраны были различные сведения о местных властях, местном обществе и так далее, которые все оказались чрезвычайно неблагоприятными для появления там Бакунина. Итальянцы (в особенности Кафьеро) энергично защищали мысль о приобретении имения, небольшой виллы, на имя Бакунина. Если он сделается собственником клочка земли, тогда со стороны властей он будет неуязвим и его оставят в покое в Локарно. Между прочим из Берна тоже указывали на приобретение какой-либо, хотя бы незначительной собственности, как на возможность избавиться в будущем от такого рода неприятностей. Кроме этого, итальянцы давно лелеяли мысль устроить на швейцарской территории поблизости итальянской границы склад оружия, типографию, убежище для лиц, преследуемых полицией. Теперь им представлялся прекрасный случай осуществить этот проект. Они почти не считались с тем, что сожительство Бакунина с типографией, складом и так далее представляло некоторую опасность для первого.

Должен при этом сказать, что мне с самого начала не нравился план сделать собственника из действующего анархиста-революционера Бакунина. На все мои возражения от меня требовали указать выход из создавшегося положения, тогда как иного выхода я не находил. Помнится, я указывал на то, что если крайняя необходимость заставляет прибегнуть к такому средству, то, по крайней мере, пусть он будет только номинальным собственником, не будет ею пользоваться, не будет там жить.

Касались вопроса и о принятии Бакуниным швейцарского гражданства, но, конечно, это тотчас же пришлось признать невозможным. Оно потребовало бы много времени, много хлопот и много средств, а в конце концов очень легко мог получиться отрицательный результат.

Итак, всё говорило за приобретение собственности, но, конечно, окончательное решение этого вопроса принадлежало Бакунину и Кафьеро. Они оба решили его в

положительном смысле, и с этого времени Кафьеро начал усиленно хлопотать об ускорении получения своего наследства. В конце сентября я приезжал к Бакунину в Локарно, и тогда уже ими подыскивалась небольшая вилла. Бакунин говорил мне, что он старается принять все меры к тому, чтобы его внешняя жизнь ничем не отличалась от жизни обыкновенного швейцарского обывателя. Через несколько дней я уехал из Локарно и после этого я не виделся с Бакуниным почти десять месяцев, тогда как в течение 1872 и 1873 года виделся с ним очень часто, часто ездил к нему, если же он приезжал в Берн или Невшатель, то всегда вызывал меня к себе.

С июня 1870 года до сентября 1873 года моим местопребыванием постоянно был Цюрих. В конце ноября я вместе с типографией переехал в Лондон. В промежуток времени между возвращением из Локарно и отъездом в Лондон мне пришлось прожить с месяц на русской границе, устраивая там переправу изданных нами двух томов («*Государственность и Анархия*» и «*Историческое развитие Интернационала*»). Дело это было совершенно новое и потому требовало много времени и труда. Вернувшись с границы, нужно было привести в порядок, а затем сбыть на хранение известную студенческую, большую, так называемую Цюрихскую библиотеку, которая осталась у меня на руках после разъезда учащейся молодежи из Цюриха. Покончивши все эти дела, я отправился в Лондон, где меня уже ожидали письма от Бакунина и Кафьеро, из которых я узнал о приобретении виллы «Бароната». Живя в Цюрихе, я переписывался с Бакуниным очень часто, с переездом же в Лондон мы обменивались письмами редко, не больше одного письма в месяц, а от Кафьеро за всё время моего там пребывания получилось едва ли больше двух писем.

Приехавши в Лондон и устроивши там типографию (собственно говоря, наборную, потому что печатный станок был продан в Цюрихе), я занялся печатанием 3-го тома («*Анархии*» Прудона) и подготовлением 4-го, а Бакунин и Кафьеро, кроме обычных дел Интернационала, оба были поглощены устройством «Баронаты» и ликвидацией кафьеровского наследства. В мае месяце я кончил печатание 3-го тома и тотчас же переправил его через границу в Россию, а сам, временно закрыв типографию, собрался ехать в Швейцарию. Бакунин в своих последних письмах ко мне поторапливал меня приездом к нему в Локарно.

Сколько помнится, я явился в «Баронату» около половины июня 1874 года и нашел там только одного Бакунина, а Кафьеро со своей молодой женой был в России у ее родственников. Бакунина я нашел совершенно таким же, каким видел его в наше последнее свидание в предыдущем году. Жил он точно так же, как и прежде: занимал одну комнату, в которой в углу стояла большая кровать с мочальным матрацем, посредине комнаты – большой простой белый стол, заваленный газетами, книгами, бумагами и табаком, 4-5 стульев, простые белые полки с книгами, комод для белья, да на стене висели пара платья, пальто и шляпа. Было также бедно и грязновато, как и прежде. В доме жила одна прислуга, простая крестьянская женщина, стряпуха, довольно уже пожилая; она убирала комнаты и стряпала обед. Весь режим его жизни остался прежний: вставал он около 10 часов, ложился в 3-4 часа утра и по вечерам спал 1-1½ часа перед чаем; утром пил кофе и ел яичницу или просто яйца, за обедом всегда было два блюда (мясо и овощи), а вечером чай с хлебом. Никакого вина он не пил, а ел много. Это и понятно, потому что для такого колосса много нужно было материалу. Ведь он был буквально головой выше всякого человека среднего роста;

для него ничего нельзя было достать готового, всё нужно было делать на заказ: белье, платье, обувь, шляпу, кровать.

Первые два дня по моем приезде мы посвящали друг друга во все наши дела: я рассказывал ему о русских делах со всеми подробностями и мелочами (ведь это был 1874 год), а он об итальянских, испанских, горских. Бакунин при личных свиданиях всегда интересовался всеми мельчайшими подробностями о делах и лицах. Ему всегда приходилось рассказывать о себе, о своей жизни всё, что произошло в промежутке между двумя свиданиями, он не удовлетворялся одними письмами. Моя жизнь в Лондоне, знакомство, встречи с разными лицами его очень интересовали; у меня были знакомые и приятели среди эмигрантов-коммунаров, поляков, лиц, бывавших у Маркса. Словом, материала для рассказов было достаточно. Со своей стороны, и он вводил меня в интересные подробности и мелочи жизни. Кажется, только на третий день мы дошли до знакомства с делами «Баронаты».

Прежде чем продолжать дальше, нужно сказать несколько слов, что такое представляла собой вилла «Бароната». Весь участок земли составлял не больше одной трети десятины и был расположен по склону горы, у подошвы которой вблизи озера Лаго-Маджоре шло шоссе, соединявшее Беллинцону с Локарно и служившее границей «Баронаты». На этом участке был виноградник в 20-25 квадратных саженей, несколько грядок с овощами, цистерна для воды и старый 2-этажный дом, оштукатуренный снаружи и внутри. В нижнем этаже помещалась кухня, столовая и две комнаты для нас, приезжающих, а в верхнем – две комнаты и соединяющая их крытая веранда. В одной из верхних комнат жил Бакунин, в другой – Кафьеро с женой. Все комнаты были небольшие, закоптелые и довольно грязные, – итальянцы живут вообще грязновато. Меблировка была прямо убогая: в столовой – простые белые табуретки, скамейки и колченогие стулья, в нашей комнате стоял диван с продавленным сиденьем, на котором спали приезжающие, и стол с двумя очень древними стульями. Передний фасад дома обращен был на озеро, и перед ним по склону вниз посажено было много самых обыкновенных цветов; сзади дома была площадка, на которую был выход из дома. С этой площадки зигзагом вниз к озеру тянулась дорога шириной в аршина 3-4. Остальная местность представляла собой голый камень и только кое-где виднелся кустик или какое-либо дерево. Но зато вид на озеро и противоположные горы был великолепный.

Из писем Бакунина и Кафьеро, получавшихся мной в Лондоне, я знал, что в «Баронате» приступили к постройке небольшого дома, так как старый был тесен и неудобен. Вот на эту постройку мы и отправились; нужно было подниматься вверх, так как новый дом строился выше старого дома и в стороне от него. Бакунин, не дойдя до дома, вернулся с дороги, нахмуренный и недовольный, оставив меня одного осматривать работы. Прежде всего я увидел новую широкую (3½-4½ аршина) дорогу, местами вырубаемую в скале, затем 2-этажный дом вдвое больше старого, далеко еще не оконченный вчерне, и новую большую цистерну, тоже вырубаемую в скале. Всё это делалось в больших размерах, и кое-где, я заметил, не соблюдались элементарные правила строительного искусства: – через некоторое время после моего осмотра часть постройки обрушилась, но, к счастью, в то время, когда на работах никого не было.

Спустившись вниз, я тотчас же передал Бакунину свои впечатления и из нашего дальнейшего разговора по поводу них выяснилось, что он на постройке бывал чрезвычайно редко, полагаясь во всем на архитектора, который в одно и то же время был строителем и подрядчиком и, как оказалось впоследствии, пользовался таким положением, преследуя главным образом свои интересы. От старого дома к старой цистерне наверх шла обыкновенная горная пешеходная дорожка, на пути которой строился новый дом. Первоначально решили ограничиться этой дорожкой для сообщения с новым домом, расчистив и исправив ее, на что потребовалось бы две-три сотни франков; но архитектор уверил Бакунина в необходимости расширить дорогу и сделать ее такой же, какая шла от старого дома к шоссе, и что на это придется прибавить еще несколько сот франков. В действительности же эта дорога обошлась в 7-8 тысяч франков. Архитектор точно так же поступал и с другими постройками, как выяснилось впоследствии. По первоначальному проекту новый дом по размерам своим не превышал старого; но, начавши строить его, архитектор постепенно и последовательно убеждал Бакунина и Кафьеро в необходимости увеличить его, расширить его, при чем всегда ссылался на якобы незначительное увеличение расходов. Цистерну, поглотившую тоже несколько тысяч франков, вначале совсем не предполагали строить, так как при небольшом новом доме вполне возможно было ограничиться одной уже существующей цистерной; но большой дом потребовал новую дополнительную цистерну. Архитектор проектировал также разбить сад около нового дома, впрочем этого не удалось ему исполнить.

Вскоре возвратился Кафьеро с женой из России. Из разговоров с ними я вполне убедился, что ни он, ни Бакунин совсем не следили за работами, не подсчитывали расходов, а когда я подвел приблизительные итоги всего, что израсходовано, то оба они были немало удивлены большими расходами, главной причиной которых были их неряшливость, непрактичность, бестолковость. Тогда же было решено сократить немедленно работы, ограничившись самым необходимым, а расчеты с архитектором затянулись и были, по просьбе Кафьеро, окончены значительно позже.

Во время наших общих разговоров я впервые узнал, что скоро приедет из России семья Бакунина, поселится в «Баронате» и что новый дом строится для нее, так что первоначальная цель покупки «Баронаты» изменилась. Тогда же я узнал, что наследство Кафьеро не такое большое, как предполагалось раньше, и едва ли превысит сто тысяч франков, а на наши деньги тридцать тысяч рублей. Бакунин и Кафьеро в этих разговорах иногда винили и упрекали друг друга в разных промахах и ошибках и подчас с некоторым раздражением.

Одновременно с тем, как я возился с архитектором и ликвидацией работ по постройкам, шли усиленным темпом приготовления к Болонскому делу. К нам часто наезжали Коста, Малатеста и другие итальянцы. Бакунин, конечно, принимал самое горячее участие во всем этом деле. В первый же день моего приезда в «Баронату», говоря о нем, он сказал мне о своем решении ехать в Болонью и принять там самое активное участие. Это нисколько меня не удивило, потому что Бакунин во всяком серьезном деле всегда шел в переднем ряду, да еще первым; было бы удивительно, если бы он уклонился от этой поездки. Я сам начал постепенно втягиваться в это дело, исполняя отдельные поручения. Так, однажды, получив от Кафьеро процентных бумаг на двадцать тысяч франков, нужно было их продать и полученные деньги

передать Косте. Операция эта оказалась довольно затруднительной, потому что в банках требовали от меня удостоверение моей личности и откуда я получил эти бумаги.

Тогда впервые в каменных работах вместо пороха стали употреблять динамит для взрывов породы. Нас это очень заинтересовало, и я взялся достать несколько патронов динамита, произвести с ним кое-какие опыты, чтобы познакомиться с его действием. Впоследствии, как известно, жена Кафьеро доставляемый динамит перевозила в Италию.

Приблизительно во второй половине июля Бакунин получил телеграмму от своей жены с дороги с извещением о дне ее приезда в Локарно. Он попросил меня выехать к ней навстречу; на другой же день я отправился и встретил ее с детьми и стариком отцом где-то недалеко от Милана.

Жена Бакунина никакого участия в революционных делах не принимала, и он не посвящал ее в эти дела. Нельзя сказать, чтобы она к ним была совершенно индифферентна, нет, она была скорее враждебна к ним, и только под влиянием его постоянно себя сдерживала. Все мы хорошо это знали, знали также и то, что детей у Бакунина не было, что настоящим отцом детей был Гамбуцци, неаполитанский адвокат, с которым она после смерти Бакунина повенчалась, если я не ошибаюсь. Для нас она была совершенно чужим человеком. И вот этот-то чужой человек внезапно врывается в нашу среду и заявляет нам, что «Бароната» со всем, что в ней есть, принадлежит ей, что она – хозяйка, а все остальные – пришлые, посторонние люди и что она терпит их присутствие здесь только из уважения и снисхождения к своему старому мужу Бакунину. Действительно, через несколько дней по приезде она сделала такое заявление Кафьеро, потребовав от него очистить комнату, которую он занимал со своей женой, так как она ей нужна.

После такого инцидента перед нами тотчас же встал вопрос, что же дальше будет с «Баронатой», уже не говоря о предполагаемом устройстве в ней типографии, склада и прочего, необходимость которых особенно остро чувствовалась в данный момент. При обсуждении создавшегося положения и в виду скорого отъезда Бакунина в Болонью все мы трое, то есть Бакунин, Кафьеро и я, решили: во-первых, Бакунин, по возможности без всякой огласки, подпишет нотариальный акт, что «Бароната» в действительности принадлежит Кафьеро, во-вторых, Бакунин будет в ней жить так же, как и раньше, и, в-третьих, итальянцы для своих нужд будут в ней устраивать всё необходимое для их дел.

Через несколько дней после этого Бакунин уехал в Италию; я сопровождал его через границу до Вероны. Жене своей он сказал, что едет в Цюрих по личным делам, и нас просил не сообщать ей о настоящем положении дел до моего возвращения из Италии. По приезде в Верону я тотчас же разыскал лицо, которое должно было провожать Бакунина до Болоньи, а сам, согласно нашему общему решению, вернулся через Милан в Локарно, где общий наш приятель, швейцарец Беллерио, бывший в курсе всего дела с «Баронатой», устроил мне свидание с женой Бакунина. Это свидание, по ее желанию, состоялось где-то в частном саду и в присутствии Беллерио. Так как последний не понимал по-русски, то разговор сначала шел по-французски, и я кратко рассказал ей о цели поездки Бакунина в Болонью, затем перешел к вопросу о «Баронате», что она куплена на средства Кафьеро с известной целью, что Бакунин

– только номинальный собственник и так далее. Всё это она выслушала довольно спокойно, как бы всё знала или не придавала никакого значения, но как только я упомянул о существовании нотариального акта, утверждающего Кафьеро собственником «Баронаты», картина моментально переменилась: она быстро перешла на русский язык и обрушилась на меня с градом упреков, что я – нигилист, не верю ни в бога, ни в чёрта, отрицаю семью, собственность и так далее и так далее, что у меня один идол – революция, что ради нее я лишаю ее «Баронаты», что всё это устраиваю я, что она не желает жить с такими людьми под одной крышей и немедленно выедет из «Баронаты». Никаких моих объяснений и возражений она не допускала и не желала слушать. На мое замечание, что Бакунин, вернувшись из Италии, снова поселится в «Баронате», ответила, что она ни под каким видом жить там не будет. И действительно, спустя 2-3 дня она с детьми выехала из «Баронаты», направляясь в Неаполь.

Все события последнего времени сильно подействовали на Кафьеро: он был удручен и подавлен. Материальное положение его было незавидное: денег осталось очень мало, а постройки не окончены. При таких условиях жизнь в «Баронате» не представляла из себя ничего привлекательного – имелась только плохая даровая квартира. При свидании с женой Бакунина я упоминал ей об этом, и она, конечно, приняла это во внимание.

Болонское предприятие не удалось, Бакунин вернулся в Швейцарию и остановился в Шплюгене, откуда телеграммой вызвал меня к себе. При свидании с ним я рассказал ему всё в подробностях, что произошло в его отсутствии, включая и мой разговор в саду с его женой, с которой он еще не виделся после поездки в Италию, а переписка между ними, по-видимому, только что началась, потому что Бакунин тогда выражал намерение вернуться в «Баронату». О своих отношениях к жене и детям Бакунин прежде упоминал чрезвычайно редко, да и то мимоходом, вскользь, так что я, зная, что дети не его, всегда представлял его себе бессемейным, и поэтому в Шплюгене мне удивительно было слышать от него, что для него теперь чуть не самый важный вопрос удержать «Антосю» (то есть жену) от поездки в Неаполь, где она предполагала остаться жить.

Здесь же впервые Бакунин сказал мне, что отныне он решительно отстраняется от всяких революционных дел, что он стар, устал, болен, что теперь он вполне искренне решил уйти в частную жизнь, что, конечно, он никогда не откажется быть нашим советником, делиться с нами своей опытностью, своими знаниями, но что для активной деятельности у него нет больше ни сил, ни энергии. С этого момента я уверовал, что Бакунин действительно вполне уходит в частную жизнь, и мы остаемся одни без него. Никаких разговоров о разрыве с ним, конечно, не было, да и не могло быть, потому что как он, так и мы оставались тем же, чем были и раньше, и всё дело состояло в том, что один из нас по причинам, вполне уважительным, отстает от дела.

Вернувшись из Шплюгена в «Баронату», я рассказал Кафьеро всё до мельчайших подробностей, затем по его просьбе произвел все расчеты по постройкам и после этого я считал оконченным весь этот эпизод с «Баронатой». С Бакуниным переписка прервалась, и всё, что с ним происходило с этого времени, для меня было совершенно неизвестно. Обо всех его переживаниях, планах, надеждах я узнал много лет спустя после его смерти.

Кафьеро и я признали безусловно необходимым лично рассказать Гильому о всем происшедшем в «Баронате», и поэтому мы оба отправились к нему в Невшатель. Здесь Кафьеро в моем присутствии изложил ему обо всем весьма подробно и детально, и я только кое-где дополнял или указывал на пропуски в его рассказе. Хорошо помню, что он не щадил себя и признавал свои ошибки. Гильом, со своей стороны, сообщил юрцам о нашем посещении его и нашем рассказе.

Через несколько времени Бакунин дал нам знать, что он хочет видеться со всеми нами. Встреча произошла в Невшателе в присутствии Гильома, Кафьеро, меня, Швицгебеля и Шпихигера; она была тяжела и для Бакунина и для всех нас. Кривить душой, лицемерить, лгать никто из нас не решился бы. Сам Бакунин всегда требовал от нас полнейшей откровенности, правдивости во взаимных отношениях: как бы ни была горька правда, но ее всегда следует высказывать откровенно и прямо, – говаривал он. Так он вел себя с нами и того же требовал от нас. Представляю себе на один момент, что мы сфальшивили бы перед ним, скрыли бы наше мнение о его поведении в случае с «Баронатой». Он первый бы обнаружил эту фальшь, первый возмутился бы нашим недостойным поведением. Я бывал свидетелем, когда он давал в подобных случаях жестокие головомойки. Он никогда не уклонялся от высказывания всей правды прямо в глаза, того же требовал всегда и от нас. В конце концов Бакунин и сам признал свои ошибки и как-раз именно те ошибки, на которые мы ему указывали.

Это наше последнее общее свидание с ним не изменило моего отношения к Бакунину, и я продолжал относиться к нему так же, как после встречи в Шплюгене. Благодаря этому я без особого труда возобновил с ним сношения после перерыва в 4-5 месяцев.

В самом начале 1875 года меня сильно потянуло съездить в Лугано повидаться с Бакуниным, о котором я за последнее время не имел никаких сведений, кроме того только, что он с семьей живет в Лугано. Кроме этого я знал, что он начал писать вторую часть его «*Государственности и Анархии*». В бытность мою в «Баронате» он показывал мне порядочную пачку исписанных листов, при чем говорил: нужно кое-что еще переделать, дополнить, но что он во что бы то ни стало окончит эту работу, так как, несомненно, это его последний труд. Это тоже побудило меня съездить к нему, узнать, в каком положении находится рукопись, и, смотря по обстоятельствам, взять ее для печати.

Приехавши в Лугано, я, не желая встречаться с его женой, послал ему записку с извещением о своем приезде и о желании видеться с ним. Он тотчас же мне ответил, назначив местом свидание кафе, где он обычно ежедневно читал газеты и куда пришел вслед за запиской. Тогда я прожил с неделю в Лугано, виделся с ним ежедневно, проводя вместе по несколько часов и постоянно в одном и том же кафе. Он так же, как и прежде, всем живо интересовался, обо всем расспрашивал, при чем прибавлял, что о себе ему нечего рассказывать, потому что он вне всяких дел, а личные его дела таковы, что они мало представляют интереса: очень они мелочны и однообразны. Первые встречи были довольно сухи, но потом эта сухость мало-помалу исчезла, и после второго или третьего свидания я чувствовал себя с ним так же, как и в былые времена. Впоследствии я видался с ним много раз и с его стороны встречал много доказательств искреннего и сердечного отношения ко мне. Любопытно одно: за всё

время вплоть до моего отъезда в Россию в 1876 году только один раз, да и то как-то случайно, он вспомнил о «Баронате», и при этом сказал, что весь этот эпизод очень печален для него, что он тогда сделал несколько крупных ошибок, которые вовлекли и нас в ошибки… но «не будем вспоминать старое», – прервал он сам себя.

Вторая часть «*Государственности и Анархии*» была заброшена, написанные листы или пропали, или он их уничтожил; на мой вопрос о них он ответил: нет настроения писать, а написанное для печати не годится. В одном из последующих свиданий я пытался еще раз заговорить о рукописи, но получил решительный ответ, что он не в состоянии писать, что у него нет никакого желания писать.

Отправляясь в Герцеговину с намерением принять участие волонтером в восстании, я по дороге заехал к нему. Вначале он был против поездки, но потом признал ее полезность, хотя и сопряженную с опасностью, узнавши, что, благодаря моим письмам, несколько человек приедут из России тоже «понюхать пороху». На обратном пути из Герцеговины я был у него вместе с Кравчинским, которого познакомил с ним.

Таким образом мои посещения его время от времени, и иногда по его вызову, продолжались вплоть до моего отъезда в Россию в марте 1876 года. Поездка моя в Россию его очень интересовала и он, между прочим, оказал мне серьезную помощь в устройстве денежной стороны ее. Последний раз я был у него недели за две до отъезда; при прощании он выразил надежду увидеться со мной, но судьба рассудила иначе: через три месяца он умер, а я попал в тюрьму.

Что касается письма Бакунина, приведенного в конце статьи господина Стеклова и датированного 21 октября 1874 года, то считаю нужным сказать следующее: во-первых, такого письма[1] от Бакунина я никогда не получал, а о его существовании узнал много лет спустя после его смерти из собрания писем его к Герцену и Огареву, изданных Драгомановым; во-вторых, всё, что предпринималось в «Баронате» для ликвидирования «печальных историй», предпринималось с ведома и согласия Бакунина, решительно ничего не делалось помимо его или вопреки ему; в-третьих, о поездке в Россию в 1874 году я и не думал и ни с кем об этом не говорил, да по моим тогдашним обстоятельствам не мог ехать; в-четвертых в Драгомановском собрании «*Писем*» к этому письму сделано примечание, что Бакунин это письмо распространял между знакомыми. Знакомые Бакунина и мои были одни и те же лица и, конечно, появление такого письма вызвало бы большие разговоры, вся бы тогдашняя эмиграция об этом знала, многие злорадствовали бы и были бы рады появлению такого документа, тогда как ничего подобного не было вплоть до самой смерти Бакунина.

«Голос Минувшего», №5, 1914, опубликовано под псевдонимом Арман Росс.

[1] В данном случае мне изменила память: не только было такое письмо от Бакунина ко мне, но был и мой ответ ему. Оба эти письма напечатаны в известных книга Неттлау и Гильома, о чем последний сообщил мне при личном свидании в Париже в 1912 году.

Письмо Бакунина Россу, 21 октября 1874. Лугано

Получил твое письмо. О дружбе, Р., мы говорить не станем. После всего, что ты против меня сделал, – а мне теперь все, даже до малейшей подробности стало известно, – называть друг друга друзьями было бы с твоей точно, как и с моей стороны, возмутительно ложно. Ты сделал все, что только мог, чтобы убить меня физически, нравственно и общественно, притворяясь до конца моим другом, и если тебе не удалось, то вина не твоя.

Дальновидный и умный[2] Кафьеро был только твоих рук делом, ты его внушителем. Хочу верить, что ты обманывал себя самого, принимая внушение нетерпеливого и, право, сильного честолюбия за ревность к делу. Несомненно, – ты сам по крайней мере перед собой сознайся, – что ты действовал против меня, как самый злой враг. И несмотря на это, я продолжаю верить в твою преданность к русскому делу и в твою способность служить делу и потому на этом поле я всегда готов подать тебе руку.

Ты готовишься теперь совершить решительный шаг[3], от направления и исхода которого будет зависеть вся будущность твоей жизни и, главное, твоей революционной деятельности. Позволь мне, старику, сказать тебе несколько истинных слов, вероятно последних.

В сношениях с людьми новыми, с которыми ты найдешь возможным и полезным связаться, постарайся внести столько правды, искренности и сердца, сколько твоя скупая природа позволит. Пойми же ты, наконец, что на иезуитском мошенничестве ничего живого, крепкого не построишь, что революционная деятельность, ради самого успеха своего дела, должна искать опоры не в подлых и низких страстях, и что без высшего, – разумеется, человеческого – идеала никакая революция не восторжествует. В этом направлении и смысле желаю тебе самого искреннего успеха.

М. Бакунин.

[2] Конечно, Бакунин пишет это в ироническом смысле. – из Воспоминаний Ралли.

[3] Росс Хотел ехать обратно в Россию. Это казалось Бакунину решительным шагом.

Заметка о Николе Пашиче, сербском премьер-министре

В газете «День» печатаются корреспонденции из Сербии Василия Васильевича Водовозова. В одной из этих корреспонденций, появившейся в 354 номере от 24 декабря прошлого года, автор рассказывает о своем свидании с сербским премьер-министром Никола Пашичем, передает происшедший между ним разговор, среди которого господин Водовозов обратился к Пашичу с нижеследующей фразой: «я знаю о вас не только то, что вы премьер-министр сербского короля, но также и то, что вы ученик Михаила Александровича Бакунина и друг Петра Лавровича Лаврова». Это неверно[1].

Михаила Александровича Бакунина я знал очень хорошо, потому что последние шесть-семь лет его жизни находился с ним в очень близких отношениях. Я жил тогда в Цюрихе и в это же время Пашич состоял студентом Цюрихского политехникума на инженерном отделении, где он окончил курс в 1870 или в 1871 году и вскоре после этого уехал в Сербию. Я лично знал Николу Пашича и знал, что он никогда не был учеником Михаила Александровича Бакунина, не был с ним лично знаком, никогда с ним не встречался, отрицательно относился к его учению и к его революционной деятельности, не состоял в каких-либо деловых сношениях с ним или с его друзьями. Никола Пашич был политик-радикал; так на него и смотрели знавшие его. Конечно, он интересовался тогдашним Интернационалом, рабочим вопросом – да кто же тогда этим не интересовался? – и сочувственно относился к немецкому рабочему движению, к эйзенахской рабочей партии, из которой развилась социал-демократия.

Среди русских Пашич больше дружил с Александровым, который, если я не ошибаюсь, был одним из основателей кружка «чайковцев» и к которому впоследствии, впрочем, многие «чайковцы» относились далеко не дружелюбно.

Что же касается до того, что Пашич был друг Петра Лавровича Лаврова, то могу сказать, что в то время он не знал Лаврова. Я говорю о Лаврове, как о политическом деятеле. Тогдашнее политическое credo Лаврова было очень умеренное и взгляды и верования Пашича были несравненно радикальнее взглядов Лаврова.

Петр Лаврович Лавров бежал из ссылки в Париж в феврале или в марте 1870 года и жил там совсем в стороне от всяких дел русской эмиграции, которая вся сосредоточивалась в Швейцарии (Женева, Цюрих). Я познакомился с Лавровым впервые в Вологде в 1868 году, где мы оба жили в ссылке и откуда я бежал за границу почти годом раньше его. Затем я встретился с ним перед франко-прусской войной в 1870 году в Париже, куда я приезжал из Женевы к нему с предложением принять участие в предполагавшемся тогда журнале. Лавров отказался от всякого участия в журнале,

[1] Вскоре после появления этой корреспонденции я послал в газету «Речь» письмо по поводу этой фразы, но письмо в газете не появилось.

между прочим, потому, как он сказал мне, что он «еще не сложил своих кораблей» и «рассчитывает на возврат в Россию». Вообще в то время среди русской и сербской молодежи в Цюрихе очень мало знали Лаврова и совсем им не интересовались.

«Русские Записки», №2, 1915 год.

Поездка в Герцеговину (Август 1875 года)

Летом 1875 года, живя в Париже, я как-то прочел в газетах, что в Герцеговине, в округе Невесине, вспыхнуло восстание славян-герцеговинцев против турок. Среди парижских студентов было несколько человек южных славян: сербов, болгар, босняков, с которыми у меня были знакомства и дружественные отношения. При встрече с ними я узнал, что кое-кто из них собирается ехать на Балканский полуостров ввиду восстания там, что борьба идет за независимость и свободу страны, что, конечно, борьба эта политическая, но что она очень легко может перейти в социальную.

В то время я очень интересовался всем, что касается партизанской войны: усердно штудировал книгу нашего партизана двенадцатого года Дениса Давыдова, мемуары итальянского бандита Гаспарони, много лет воевавшего с жандармами и солдатами в Абруцци, и другие такие же сочинения. Но это всё было книжное изучение, а в действительности, на практике, до сих пор не представлялось случая принять участие в ней. В Испании карлисты вели тогда борьбу за восстановление престола Карла испанского, но, конечно, меня не влекло туда, хотя партизанская война там была настоящая и, так сказать, образцовая. И вот теперь представляется случай, где, как мне казалось, вполне возможно принять участие и поучиться ведению партизанской войны. Я решился ехать в Герцеговину и в то же время привлечь своих друзей, живущих в России, к этой поездке. Написал два письма: одно в Киев к Владимиру Дебагорию-Мокриевичу, а другое в Одессу к Габелю, убеждая их участвовать в этой войне, «понюхать пороху».

В Париже тогда жил Кравчинский, с которым я очень близко сошелся и подружился. Несмотря на то, что он написал и только что выпустил свою «Мудрицу Наумовну» (по Марксу), а также ездил в Лондон к Петру Лаврову, он примкнул к нам, бакунистам, и стал горячим противником последнего (Лаврова). Убеждать его ехать в Герцеговину пришлось недолго: он прекрасно понимал, что русским революционерам не избежать открытой вооруженной борьбы с существующим порядком в очень недалеком будущем и что, следовательно, надо готовиться к ней. И вот теперь представляется случай, где можно поучиться многому.

Итак, решили ехать, при чем я избрал путь через Швейцарию, рассчитывая повидаться с Бакуниным, который тогда жил в Лугано, а Кравчинский поехал через северную Италию, где намерен был видеться с женой Волховского, с которой он был очень дружен. Местом встречи был нами назначен город Загреб (Аграм).

В Лугано я прожил дня два у Бакунина, жена которого в это время была в Неаполе (я с ней был не в ладах и избегал встречи, о чем хорошо знал Бакунин). Поездку мою он одобрил, хотя прибавлял, что у братьев славян в таких делах бывает много преувеличений. Из его рассказов узнал, что у него частенько бывают старые друзья итальянцы, испанцы, французы, делами которых он очень живо продолжает интересоваться.

В Аграм я приехал к условленному сроку, но Кравчинского там не нашел. В комитете по делам восстания в Герцеговине никто ничего не слыхал о нем. Мой приезд, как первого русского, вызвал некоторую сенсацию: меня задержали там, не отправили с первой очередной партией и пожелали поближе познакомиться со мной. В первый же день у меня перебывало несколько человек из местных членов комитета, а затем пригласили меня на обед, который они предположили устроить по случаю моего приезда. Так как я решительно запротестовал против всякой официальности и торжественности, то обед был в частной квартире и в присутствии не больше 5-6 человек.

Из Аграма нас, волонтеров, направили в Триест, где на дебаркадере встречал агент и провожал нас на пароход, идущий в Катаро. При посадке на пароход он же отбирал от нас оружие, – если таковое у кого-либо находилось, сообщая при этом, что оно будет нам возвращено в Катаро. Делалось это в виду того, что иногда австрийская полиция делала внезапные обыски на пароходе, зная наперед, что едут волонтеры в Герцеговину, хотя это делалось больше формально для очистки совести, как я потом в этом убедился: и полиция и таможенные власти относились сочувственно к восстанию герцеговинцев.

Третий класс небольшого морского парохода был полон и среди пассажиров было несколько человек волонтеров, из которых большинство высадилось в Рагузе, а нас четверо отправились в Катаро. Так как здесь предстояло прожить дня два-три по случаю перехода комитета в Кастель-Ново, расположенного на самой турецкой границе, то я с товарищами захотели посмотреть на столицу Черногории Цетине, находившуюся высоко в горах в расстоянии нескольких часов пути пешком. Через два дня мы были уже снова в Катаро, откуда нас переотправили в Кастель-Ново, тоже в заливе Катаро.

Явившись в комитет Кастель-Ново, нас тотчас же распределили по частям, и я попал в иностранный легион, которым командовал сербский генерал Любибратич. Тут я встретил несколько гарибальдийцев-итальянцев и других иностранцев, а также славян, среди которых нашелся один знакомый студент (босняк) Цюрихского университета – Андреевич, с которым я не расставался всё время моего там пребывания.

Розыски мои Кравчинского здесь оказались тоже безуспешны, не было никаких следов его пребывания. Отобранное оружие в Триесте здесь нам возвратили, а у кого не было никакого, тем выдали кое-какое. Вообще вооружение всех было самое разнообразное, а у настоящих герцеговинцев были даже кремневые ружья.

Жизнь здесь была бивуачная, походная: ели, спали, где и как придется, ничего организованного не было; всякий принужден был сам о себе заботиться. Что касается одежды, то всем рекомендовалось сбросить с себя европейские костюмы и одеться в герцеговинские, что нами было исполнено вполне охотно и быстро, так как в Кастель-Ново было несколько лавчонок, где вся эта амуниция продавалась очень недорого, потому что вся она была местного кустарного производства.

Никаких военных упражнений мы не делали, но в течение первой же недели нас, по нескольку человек, отправили на рекогносцировки; в моей партии было шесть человек во главе с опытным местным воином-герцеговинцем. Вся эта экспедиция продолжалась дня три; обследовали мы довольно значительный район; видели кое-где части регулярных турецких войск, которые обыкновенно были расположены

внизу в долинах, а мы все время карабкались по скалам гор, иногда без всяких тропинок. Однажды наткнулись на турецкий пикет, который обстрелял нас, собственно нашего вожатого. Он тотчас же приказал нам удирать, и мы таким образом без ответных выстрелов быстро удалились. Отправляясь из Кастель-Ново, нам в дорогу дали только по нескольку галет и посоветовали взять хоть понемногу ракии (водка местного производства), которую подмешивали к воде. Дело в том, что вода в горах была только в небольших озерах, около которых паслись стада баранов. Бараны обычно заходили в эти озерки, пили воду и в то же время грязнили ее, так что люди, прежде чем пить эту воду, процеживали ее через вдвое сложенный платок и подбавляли к ней немного ракии, а иначе невозможно было пить. Заходили иногда в деревни, но только населенные герцеговинцами, а не турками, где доставали сыр. Вообще наше питание в первые два дня было плоховато, и очень чувствовалась пустота в желудке. Только в последний день, уже на возвратном пути, наш проводник достал где-то небольшого барашка, которого мы все съели дочиста и зараз. После этой трапезы направились в Кастель-Ново, куда и пришли поздно вечером. Мы вернулись последними, а другие пришли раньше нас.

Вскоре после нашего возвращения стали говорить, что подготовляется общее выступление из Кастель-Ново, и действительно, как-то в одно утро нам снова раздали галеты и приказали готовиться к походу в горы. Так как граница между австрийскими владениями и турецкими около Кастель-Ново охранялась только австрийцами, а турки с начала восстания очистили границу, то переход через границу был довольно легок: австрийцы смотрели на это сквозь пальцы; но повстанцы все-таки соблюдали некоторую видимость и переходили ее небольшими партиями и в укромных местах, по возможности вечером и по ночам. Наш легион выступил под вечер, а на место ночевки мы пришли далеко за полночь и всё время карабкались по камням гор и кажется шли без дороги. Пришли настолько усталые, что прямо валились на землю и засыпали, как убитые. Под утро меня разбудили и с товарищем поставили где-то в караул. Было еще темно, спать страшно хотелось и я всё время в полусонном состоянии толокся на месте, чтобы только не заснуть и отстоять свою очередь. На утро нам пригнали баранов, которых тотчас же освежевали и начали жарить на разложенных кострах. Как только окончили еду, тотчас же снова двинулись в путь и к вечеру пришли к месту назначения, где уже собралось очень много людей. Всего в этой экспедиции, как потом я узнал, собралось до двух тысяч воинов. Место сбора представляло огромнейшую котловину в горах, в разных местах которой отдельными группами по племенам расположились повстанцы. Наш легион тоже занял отведенный нам участок. Турки находились от нас недалеко, в нескольких верстах, но внизу у подошвы гор. Они занимали блокгауз, то есть небольшую деревянную казарму, окруженную частоколом из толстых бревен, которая была выстроена у самой дороги, идущей от главного города округа Требине вглубь страны. В блокгаузе этом, охраняющем дорогу, находилось не более сотни турецких солдат. Нам предстояло взять его и таким образом отрезать Требине и в будущем занять и ее.

Во время пребывания в этом лагере, кажется, на третий день составилась партия из пяти человек, в которую вошел и я, и отправилась за провизией в ближайшую деревню, расположенную внизу у подошвы гор и в стороне от большой дороги, охраняемой турками. Мы спустились с горы местами по тропинке, местами прямо

без дорожки. Закупив хлеба и сыру, мы стали возвращаться, когда начало смеркаться, и по дороге я как-то отстал от товарищей и совсем потерял направление, по которому следовало идти к лагерю. Проплутал всю ночь, карабкаясь по камням и все время находясь на-стороже, чтобы не попасть к туркам. Утром из лагеря отправили меня разыскивать, ну, конечно, нашли и привели на стоянку.

Бродя по лагерю, я как-то натолкнулся на такую сцену: на земле сидело несколько человек герцеговинцев или черногорцев почтенного возраста, как оказалось, старшин, главарей, а перед ними стояло три молодых рослых вооруженных человека, при чем у каждого из них в руках находилось по небольшой связке нанизанных на веревочках, как мне казалось, грибов. Сосед на мои вопросы объяснил мне, что это недавно пришедшие «юнаки», герои, и что на веревочках не грибы, а отрезанные турецкие носы, которые служат вещественным доказательством убитых турок-солдат или же мирных жителей, попавшихся им в теперешнее смутное время.

Наконец нам стало известно, что завтра с раннего утра, еще до света, все должны будут занять назначенные им места для нападения на кулу (блокгауз). Действительно, так и было сделано, и когда совсем рассвело, все были уже на местах, но турки никого из нас не могли видеть, потому что все мы скрывались за камнями. По данному сигналу начался обстрел укрепления; турки очень скоро и очень живо отвечали. Они стреляли из бойниц казармы и палисада и стреляли очень метко: достаточно было выставить на шомполе шапку, чтобы ее пронизали две-три пули. Мы занимали огромную поверхность склона гор, который быстро покрылся дымом от выстрелов чуть не двух тысяч ружей. Стрельба продолжалась уже несколько часов, как вдруг с нашей стороны раздался пушечный выстрел, в ответ на который раздался с гор могучий возглас ура! ура! К сожалению, только одним выстрелом ограничились.

У герцеговинцев оказалось маленькое горное орудие, которое много лет пролежало закопанным в земле: сберегалось от турок и для турок; нашелся один серб, который служил в русской армии артиллеристом на Кавказе. Вот он-то установил пушку на сложенном из камней бруствере, зарядил ее с дула, прицелился и выстрелил. Пушку от выстрела сбросило с бруствера, и когда ее вновь установили на место и солдат стал ее наводить для нового выстрела, турецкая пуля угодила в его лоб и положила его на месте. Другого артиллериста не нашлось. После этого случая перестрелка постепенно стала затихать и часам к 4-5 совершенно прекратилась. Гарибальдийцы-итальянцы предлагали попытаться взять кулу открытой силой, но получили отказ в виду неизбежной крупной потери людьми. В нашем отряде и в соседнем с нами не было ни убитых, ни раненых; в других же отрядах, кажется, кое-где были раненые, хотя об этом мы достоверно не знали, да и знать не могли.

Отдан был приказ отступать и собраться на место нашей лагерной стоянки, где однако оставались недолго, а, разбившись на небольшие группы человек по 12-15, пошли по направлению к Кастель-Ново. Так было с нашим иностранным легионом, а другие пошли по другим направлениям, но здесь никого не осталось, все разошлись. Попытка взять кулу вполне не удалась.

В виду общей усталости, утомления, мы ушли недалеко от лагерной стоянки и расположились на ночевку. Впереди шла группа итальянцев-гарибальдийцев человек 7-8, так и на ночевке было, что первые были они, затем наша группа, а с боку между нами и итальянцами ночевали одиннадцать человек герцеговинцев во главе с

попом, за нами шла группа сербов человек двадцать и так далее, но во всяком случае всех возвращавшихся в Кастель-Ново было не больше 100-150 человек. Утром, когда мы поднялись, ни итальянцев, ни соседей-герцеговинцев уже не было, все они ушли. Приведя себя в порядок после сна и закусивши галетами и сыром, двинулись и мы, а затем вскоре после нас и сербы. Шли мы ущельем и, пройдя с час времени, по нас вдруг раздались выстрелы с горы, в виду чего наш передовой крикнул нам немедленно лечь за камни и начать стрелять по нападающим. Очень скоро нас нагнали сербы и тоже начали стрелять по горе. Мы видели очень скоро, что нападающие были те самые герцеговинцы с попом во главе, которые вместе с нами нападали на кулу, затем с нами спали на ночевке, а теперь учинили нападение на нас. Видя неудачу, они быстро стали отступать и скоро совсем скрылись из наших глаз. Дальше мы шли тесной группой с сербами вплоть до Кастель-Ново, где тотчас же узнали, что итальянцы тоже подверглись нападению, были ограблены, раздеты и оставлены в одном белье этими же самыми разбойниками-герцеговинцами под предводительством попа. На наше заявление об этом инциденте комитету и нашему командиру Любибратичу с требованием военного суда над грабителями нам было обещано удовлетворение нашей просьбы, а затем через несколько дней стали убеждать бросить это дело. Я не знаю, чем оно кончилось.

Возвращаясь из лагеря, почти перед самым Кастель-Ново, мы увидели издали едущего верхом на осле человека в европейском костюме. Ослика в поводу вел провожатый местный житель. Когда мы сблизились, то я, к немалому моему удивлению, в верховом узнал Сергея Кравчинского, который тотчас же объяснил мне, что он ехал для розысков меня с целью присоединиться к нам. После короткого разговора и разъяснения ему положения дел, конечно, он присоединился к нам, чтобы вернуться в Кастель-Ново. Я уже говорил выше, что сюда возвращалось очень мало сравнительно с тем числом людей, которое было при отправке их в поход. Это объяснили мне тем, что осенняя кампания, по всей вероятности, уже кончилась и что война может снова начаться только с весны, хотя не исключалась возможность и еще какого-нибудь столкновения с турками. Во всяком случае положение было таково, что до весны в горах вести борьбу очень тяжело и затруднительно. Для меня и Кравчинского тоже встал вопрос, что делать: оставаться здесь до весны или же уехать на осень и зиму и вернуться сюда весной. Решили уехать, а затем весной поступить сообразно обстоятельствам. Но к тому времени обстоятельства так сложились, что весной пришлось ехать в Россию.

Перед самым отъездом в наши руки попала какая-то немецкая газета (последний номер ее), в которой мы прочитали корреспонденцию о том, что вот около Требине произошло большое сражение с турками, что с обоих сторон было порядочное число убитых и раненых, что турки в конце концов проиграли битву. Среди нас был прусак-офицер, который очень возмущался тем, что почему нас держали перед кулой и почему не отправили на место большого сражения, где мы могли бы оказать большую помощь и даже занять город Требине. Целой гурьбой пошли мы в комитет, чтобы выяснить этот вопрос. Конечно, объяснение было довольно шумное и вначале бестолковое пока не выяснилось, что в газете-то писалось именно о нашем сражении и что другой битвы никакой не было, а преувеличения и искажения действительно есть, но *описание сражения предназначается ведь для Европы*.

Возвращались мы опять тем же путем, то есть через Лугано, где я познакомил Кравчинского с Бакуниным, который произвел на него очень большое впечатление, хотя старик был уже не у дел, но тем не менее живо всем интересовался. Он много говорил о тогдашнем революционном движении, о хождении в народ, о положении дел в Европе, словом, был в ударе. Конечно, Кравчинский ему тоже понравился.

Спустя недели полторы в Женеву приехали ко мне шестеро русских, которые вследствие моего письма отправились из Одессы в Герцеговину. Это были Габель, Иван Мокриевич, Енкуватов и другие. Они попали в отряд Пеко-Павловича, который уходил на зимние квартиры, окончив осеннюю кампанию. Они совершили очень трудный переход в горах, где их встретила суровая осенняя погода.

Написано и опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

IV. Каторга и ссылка

Харьковская централка. 1878-1881 года. (Из воспоминаний)

Начиная с конца июня 1878 года, из Петропавловской крепости отдельными партиями начали отправлять всех приговоренных Особым Присутствием Правительствующего Сената в каторжные работы на поселение и на житье в Сибири по процессу 193-х о революционной пропаганде в 36 губерниях империи. В первую голову пошли Порфирий Иванович Войнаральский, Сергей Филиппович Ковалик, Митрофан Данилович Муравский, Ипполит Никитич Мышкин и Дмитрий Михайлович Рогачев, осужденные на девятилетние каторжные работы в рудниках, при чем Мышкина препроводили в Новобелгородскую центральную каторжную тюрьму в городе Чугуеве Харьковской губернии, а остальных – в Новоборисоглебскую центральную каторжную тюрьму, находившуюся в селении Андреевка Змиевского уезда Харьковской губернии. В первой тюрьме до приезда Мышкина содержалось уже около 25 человек, а во второй никого не было. Я говорю только о политических каторжанах, а уголовных было по несколько сот человек как в той, так и другой тюрьмах.

Как известно, на пути между Харьковом и Змиевым было произведено неудачное покушение на освобождение Войнаральского, которого везли под конвоем трех жандармов. Благодаря этому случаю тогдашнее III отделение приостановило дальнейшую отправку нас. И вот почти только через месяц снова приступили к вывозу нас из крепости. Числа 17-18 июля, поздно вечером, стали выводить поодиночке из камер в так называемую комиссию. У моей камеры очень скоро загремел замок и меня пригласили идти в комиссию, где заседало 4-5 человек военных чиновников с жандармским генералом во главе. Когда меня подвели к их столу, то генерал обратился ко мне с вопросом: «известно ли мне, что меня по высочайшему повелению отправляют в каторжную работу на 5 лет» и, не дожидаясь моего ответа, крикнул стоявшим около меня жандармам: «ковать». Жандармы тотчас тут же сняли с меня всё крепостное, то есть халат, рубаху и прочее, и одели в каторжное; затем посадили на пол и кузнец заковал в кандалы.

Известно, что приговор Особого Присутствия Правительствующего Сената, судившего нас, был очень мягок, так что в каторгу ссылался только один Ипполит Никитич Мышкин и то только потому, главным образом, что он убил казака Бубякина при попытке побега. Остальных же, хотя суд и приговорил к каторжным работам, но в то же время ходатайствовал перед царем о замене им этого наказания ссылкой на поселение или на житье в Сибири и России. Так что меня, например, вместо каторги суд предполагал отправить на житье в одну из восточных губерний России. Царь не уважил ходатайства суда, а по докладу III отделения приказал 12 человек из нас отправить в каторгу, в числе которых находился и я.

Переодевши и заковавши в кандалы, меня отвели в отдельную камеру тут же в Екатерининской куртине, куда вскоре еще привели *Шишко*, тоже приговоренного к каторге. Часа через полтора, когда на улице стало уже светло, нас в извозчичьих каретах с жандармами и окруженных конными жандармами повезли на Николаевский вокзал, где в арестантском вагоне, сколько помнится, собралось всего четырнадцать человек, из коих только трое каторжан, а остальные шли или на поселение, или на житье. Сидя в крепости, мы знали, что пятерых из наших товарищей увезли в Харьковские централки; знали также, что режим там был очень суровый, а в Сибири на каторге несравненно легче жить. Поэтому жены или родственники некоторых ссыльных хлопотали, чтобы их отправляли в Сибирь, но не в централки. Вместе со мной в вагоне находилось еще двое каторжников – Союзов и Шишко. Первому уже в комиссии объявили, что его отправляют в Сибирь на Кару, а Шишко и мне место отбывания каторги было неизвестно. Шишко страдал болезнью глаз (он ничего не мог читать), ему режим централки угрожал полным лишением зрения.

Во время переезда из Петербурга в Москву он очень волновался и беспокоился, полагая, что его увезут в Харьковскую централку. Всех нас сопровождало несколько десятков жандармов с двумя жандармскими офицерами, что ясно указывало на то, что кого-то повезут в централку: Союзов шел в Сибирь, следовательно или мы оба или же только я один туда пойду, в чем я не сомневался. Действительно, как только мы прибыли в Москву, один из офицеров предложил мне взять мой мешок и следовать за ним вместе с жандармами. Расцеловавшись с своими товарищами и взявши свой мешок, в котором были только арестантские вещи, так как решительно ничего собственного, включая сюда и книги, нельзя было брать с собой в централку, я перешел в соседний вагон, который тотчас же отцепили и отвели куда-то на запасный путь, а вечером отправили в Харьков. В этом арестантском вагоне со мной оказались пять жандармов и офицер.

Во время пути на какой-то станции за Курском произошел такого рода инцидент: две каких-то женщины, проходя мимо моего вагона, у окна которого я сидел, просунули мне через решетку небольшой букет цветов. Жандармы, увидя это, всполошились, и старший побежал к офицеру с докладом. Вышел офицер, отобрал у меня цветы, а жандарма послал задержать двух виновниц; но их, конечно, уже и след простыл.

Подъезжая к Харькову, на самой его окраине, поезд был остановлен, и через несколько минут меня вывели из вагона. Очутившись на площадке его, я увидел перед собой 7-8 парных извозчичьих экипажей и несколько конных и пеших полицейских во главе со своим ближайшим начальством. Усадив меня вместе с тремя жандармами в один из экипажей, в других поместились полицейские и остальные жандармы. Вся эта компания быстро помчалась в городскую тюрьму. Так как это было в «ильин день» и к вечеру, то по дороге встречалось очень много гуляющего люда, который останавливался и глядел на необычную картину.

В тюрьме я переночевал и на другой день очень рано утром меня вывели в контору, где в присутствии жандармов тщательно обыскали, раздев донага, подкрепили заклепки у кандалов, надели наручни и на тройке повезли с тремя жандармами. На выезде из города впереди оказалась еще тройка лошадей с четырьмя жандармами, ожидавшая нас и затем ехавшая всю дорогу перед нами. Во время пути старший все

время покрикивал на ямщика, требуя, чтобы лошади неслись вскачь безостановочно. Таким образом с очень короткими остановками на станциях мы скоро добрались до Андреевки, где находилась центральная каторжная тюрьма.

Все эти усиленные меры, принятые при конвоировании меня от Москвы до централки, были вызваны смелой и, к сожалению, неудачной попыткой освободить одного из товарищей, именно Войнаральского, на пути между Харьковом и централкой.

***

По прибытии в централку меня тотчас же в канцелярии снова раздели донага, осмотрели всего снаружи, одели во всю каторжную арестантскую сбрую и в сопровождении смотрителя тюрьмы и надзирателей отвели в тюрьму, в корпус одиночек, где уже находились Войнаральский, Ковалик, Муравский и Рогачев.

Новоборисоглебская центральная каторжная тюрьма переделана из прежнего здания знаменитого Аракчеевского поселения. Она имеет вид огромной квадратной площади, обнесенной со всех четырех сторон высокой каменной стеной, при чем в середине одной стены устроены ворота для входа в тюрьму. Около ворот снаружи имеется небольшой дом, в котором помещается стража, охраняющая тюрьму снаружи. Внутри этой площади расположено несколько каменных зданий. Главное обширное здание стоит посредине площади и вмещает в себе довольно большую тюремную церковь и ряд больших общих камер, в которых размещаются уголовные арестанты. Тюрьма выстроена на 600 человек, но в наше время в ней содержалось около 900 человек. Кроме этого здания налево от ворот расположены два каменных корпуса, из которых в одном устроены мастерские для починки арестантских обуви и одежды. Работают в них исключительно уголовные арестанты в количестве не больше 20-25 человек. В другом корпусе кухня и баня. На противоположной стороне той же площади, то есть направо от ворот, находятся тоже два корпуса вдоль стены: в одном лазарет, а в другом содержатся арестанты старые, дряхлые, хроники, а впоследствии этот корпус был превращен в одиночки для политических. Позади главного здания в правом углу находился двухэтажный корпус, в котором были устроены одиночные камеры: вверху одиннадцать номеров и внизу одиннадцать. Уголовные арестанты попадают в них в исключительных случаях в виде наказания, а политические постоянно содержатся в них. Камеры очень маленькие, не больше одной квадратной сажени, при чем вдоль одной стены сделаны нары, лежа на которых с вытянутыми руками над головой, ногами упрешься в одну стену, а руками в противоположную. У изголовья нар сбоку к стене прибита широкая доска вместо стола, на которой стоит деревянная кружка с водой. Затем в закрывающемся ящике железное ведро – «парашка» и жестяной таз для умыванья. Больше в камере ничего нет, нет и табуретки. Нары совершенно голые и для спанья дается только так называемая подстилка – кусок обыкновенного войлока длиной 2 аршина, а шириной один аршин, обшитый дерюгой. Ночью приходилось класть под голову свернутые штаны вместо подушки, а укрываться курткой вместо одеяла. На ночь требовалось раздеваться, оставаться в одном белье и кандалах.

С самого начала смотритель тюрьмы обращался с нами в третьем лице и видимо избегал всяких разговоров, а потом месяца через три-четыре перешел на «ты», тогда

как доктор, священник, все надзиратели всё время говорили на «вы». Питание наше состояло в следующем: ежедневно давали полтора или два фунта ржаного хлеба; на обед в деревянной шайке приносили щи из свекольной ботвы с признаками мяса, так как на дне всегда оставалось несколько мясных волокон, и на второе гречневую кашу-размазню, в которой незаметно было присутствия масла или сала. Вечером часов около 5-6 давалось кушанье, приготовленное так: обеденная каша варилась, конечно, в котле, к стенкам которого она пригорала, да и на дне оставалось ее немного. Так вот в этот котел тотчас после обеда наливалась вода. К вечеру пригорелая каша размокала, ее размельчивали, затем кипятили и потом раздавали арестантам на ужин. Утром на завтрак приносили оставшийся хлеб от предыдущего дня. В камерах ничего не позволялось оставлять, в том числе и хлеб, так что после еды все тотчас же убиралось. Ни горячей воды, ни чая не полагалось, поэтому по утрам приходилось есть хлеб с холодной водой. Таково было постоянное питание и, сколько помнится, только в последний год стали давать варево, действительно похожее на обыкновенные щи: чувствовался некоторый навар и был небольшой кусок мяса. Никаких подаяний, приношений, передач не допускалось от кого бы то ни было. Своих денег иметь не допускалось, следовательно никаких выписок тоже не было. Месяца за 4-5 до нашего перевода в Сибирь получилось из Питера разрешение иметь свой чай и сахар. Родственники Рогачева и мои этим тотчас же воспользовались и прислали нам того и другого. Всё нами полученное поступало в общее нас четверых пользование, и нам каждый день около четырех часов приносили по кружке чаю с куском сахара.

Я довольно часто прихварывал, поэтому долго был на больничной порции, которая состояла из супу, заправленного пшенной или гречневой крупой, а изредка даже рисом или макаронами в роде лапши, и с куском мяса. Вместо ржаного хлеба давали ситный, но не больше фунта, а по утрам кружку очень жидкого чаю с куском сахара. Молочная порция состояла в том, что вместо супу полагался только стакан молока.

В тюрьме была больница исключительно для уголовных арестантов, политические же в нее не допускались: они болели и умирали в одиночках. Лекарств в больнице было очень и очень мало, потому что, по словам врача, ему отпускали на этот предмет всего-навсего 25 рублей, так что больным частенько приходилось слышать фразу: вам бы следовало прописать такое-то лекарство, но к сожалению у нас его нет, да и купить его не на что.

В больницу принимались только серьезно больные, где они получали койку с сенником, подушкой и халатом, а также больничную порцию – этим в огромном большинстве случаев и ограничивалось их лечение. В глазах всей администрации арестанты были ведь не люди, а чёрт знает что, поэтому так их и третировали. Года за три до нашего прибытия в централку священник (Анисимов) тюремной церкви поместил небольшую заметку в «Харьковских Епархиальных Ведомостях» о том, что в тюрьме смертность между арестантами дошла до невероятных размеров. В течение двух месяцев умерло около двухсот арестантов, а медицинской помощи почти никакой нет. Губернское начальство всполошилось и прежде всего уволило священника, а затем прислало какого-то чиновника расследовать это дело: оказалось, что вода в колодце, из которой арестанты брали воду для питья, была очень дурного качества. Да и мудрено было ожидать, чтобы она была здоровая, потому что этот колодец был выкопан почти рядом с выгребной ямой, в которую выливалось все содержимое

«парашек» тюрьмы. Арестанты несколько раз указывали на это надзирателям и даже самому смотрителю и говорили, что вода сильно зловонна, но арестанты должны «пить и жрать, что дают, и благодарить за это начальство». Однако колодец приказали засыпать и выкопать другой на новом месте, после чего прекратился мор арестантов.

Ежедневно по очереди и поодиночке нас выводили на прогулку на полчаса два раза в день: до обеда и после обеда и, конечно, в сопровождении надзирателя. В конце первого месяца на прогулке у меня произошел следующий случай, окончившийся впрочем вполне благополучно. Во время послеобеденной прогулки я увидел невдалеке от себя идущего мне навстречу смотрителя вместе со старшим надзирателем. Когда он близко подошел ко мне, я снял шапку и поклонился ему, а затем тотчас же надел ее на голову и пошел дальше. Одновременно со мной и недалеко от меня гуляло человек 10 уголовных, сидевших в той же одиночке. Эти арестанты при виде смотрителя сняли шапки и выстроились в ряд. Смотритель, видя, что я надел шапку, нервно начал стучать о мостовую палкой, с которой он постоянно ходил, и громко говорить: «не надо, не надо». Старший надзиратель сначала не понял, чего хочет смотритель, и потому растерянно смотрел на него, а затем, сообразивши, что он хочет, чтобы арестанты надели шапки и продолжали гулять, тотчас же крикнул об этом арестантам, которые тотчас же надели шапки и начали гулять. Смотритель после этого направился ко мне, и я увидел, что его бьет лихорадка: губы и руки трясутся и говорить он не может, а что-то только мычит, тогда как я был спокоен и нарочно начал спрашивать его о чем-то совершенно постороннем; но он, пойдя со мной несколько шагов, не отвечая на мои вопросы, повернул в сторону и ушел. После этого я никогда не встречался на прогулке ни с ним, ни с каким-либо другим начальством. Ведь шапочный вопрос для всех нас был решен еще в доме предварительного заключения Боголюбовской историей с петербургским градоначальником Треповым еще в 1877 году.

Камеры мы сами убирали, а уборка их состояла в том, что деревянный пол выметался щеткой и выносилась «парашка». С выносом «парашки» дело происходило различно: сначала «парашку», то есть железное ведро, сами выносили из камеры в коридор и оставляли ее у дверей камеры, откуда уголовный арестант брал ее, опоражнивал в выгребной яме, мыл, наливал карболку и приносил обратно; потом этот порядок изменился и нас заставили выносить «парашку» из здания одиночки и оставлять ее на дворе у входа в нее, а дальнейшие манипуляции производились уголовным; наконец третий порядок состоял в том, что «парашку» заставили выносить через весь двор до выгребной ямы, где сами ее опоражнивали, мыли и прочее и приносили обратно в камеру. В конце концов установился такой порядок, что всё делалось уголовным арестантом. Причины изменений порядка выноса «парашки» для нас выяснились только тогда, когда мы вышли из централки, и оказалось, что они были в связи с событиями на воле. Когда убили шефа жандармов и начальника третьего отделения генерала Мезенцова, нас заставили выносить «парашки» не только из камер, но и из здания одиночек; когда же убили харьковского губернатора князя Кропоткина, то мы должны были носить их до выгребной ямы, опоражнивать и так далее. Старый порядок снова восстановился только через некоторое время.

Переписка дозволялась только с родственниками и, если не изменяет мне память, раз в месяц, но в действительности получалось одно письмо в два-три месяца. Со-

держание писем обыкновенно ограничивалось сообщением «жив, здоров, чего и вам желаю». Всё остальное вычеркивалось как в получаемых, так и в отправляемых письмах.

Ни у кого из нас никаких собственных книг не было. При отправке нас из крепости никому из нас не позволялось брать с собой решительно ничего из книг, а также и своих собственных вещей, всё отбиралось, даже очки[1]. Когда стало известно о моей отправке в каторгу, я запасся исключительно сочинениями по высшей математике и теоретической астрономии, но все эти книги у меня отобрали и они бесследно исчезли. В тюрьме не было никакой библиотеки. В церкви были библия, евангелие, журнал «Православный собеседник» и сборник «Душеполезное чтение». Первый издавался Казанской духовной академией и наполнялся статьями исключительно богословского содержания, а о текущей жизни ни звука. В «Душеполезном чтении» печатались исключительно только одни проповеди, произнесенные в разных церквах разными духовными лицами.

Все пятеро мы сидели в кандалах больше года, а затем одновременно нас всех расковали и без кандалов уже вывезли из тюрьмы. С кандалами у меня произошел такой казус. По закону всех лиц из привилегированного класса (я был по образованию привилегированным) при отправке в каторгу можно и следует заковывать только при въезде в Сибирь, то есть в Тюмени. Благодаря попытке освобождения Войнаральского, о которой я упоминал в начале статьи, III отделение нашло нужным меня заковать и поэтому получило высочайшее повеление надеть на меня кандалы, о чем было упомянуто в моем статейном списке. Когда в 1881 году вся партия централистов прибыла в Иркутск, то там, как всякая другая приходящая партия арестантов, ее расковали, а мне объявили, что меня могут расковать только после получения высочайшего же повеления на сей предмет, несмотря на то, что я уже окончил срок каторги и шел на поселение. И так я ходил еще с месяц в кандалах, пока не получилось телеграфом царского разрешения снять с меня кандалы.

Месяца через полтора после моего прибытия в тюрьму, чтобы между нами прекратить сообщение перестукиванием, начальство распорядилось очистить оба этажа от уголовных и нас рассадить так, что двое осталось в верхнем этаже, а троих перевели в третий. Мне досталась первая камера от входа внизу, сырая, холодная и полутемная. На другой же день я вызвал смотрителя и очень энергично протестовал, требуя перевести меня в сухую, светлую камеру, хотя надо сказать, что окна во всех камерах были небольшие и нижняя половина их замазана краской. Смотритель пообещал дать другую камеру. Таким размещением нас начальство цели не достигло, перестукиваться всё равно возможно было. Тогда меня и Ковалика перевели в другое здание, а остальных оставили на старом месте.

Нужно заметить, что я не переносил стука, он меня сильно раздражал. В крепости, «предварилке» я очень редко стучал, и в последней предпочитал пользоваться «клумбом». Оставшиеся в одиночке товарищи продолжали перестукиваться, а я с Коваликом не стучал, поэтому, просидев порядочное время, я не знал, кто сидит со

[1] В другой централке, то есть в Новобелгородской, разрешалось иметь свои книги, и там образовалась небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Там иногда разрешалось также родственникам приносить провизию, которая делилась между всеми политическими заключенными.

мной в этом здании. Его присутствие обнаружилось следующим образом: старший надзиратель зимой перед прогулкой обыкновенно приносил в камеру овчинный арестантский полушубок и говорил, что сейчас выведут на прогулку. После его ухода я взял полушубок и увидел на затылке его надпись «Ковалик», в то же время надзиратель вернулся и быстро взял его у меня, сказав, что прогулка немного отсрочивается, и действительно, через непродолжительное время он вернулся, но уже с моим полушубком. Итак, со мной, значит, сидит в этом здании Сергей Филиппович. Кроме нас тут сидело по нескольку человек в камере: дряхлых, калек, хроников и легко больных. Всех этих последних постепенно куда-то перевели, так что осталось только нас двое. Эти камеры были довольно большие, сухие и светлые с нарами для одного человека, «парашкой», но без табуретки. Приблизительно через год сюда к нам перевели и остальных троих наших товарищей, то есть Войнаральского, Муравского и Рогачева. Тогда же сняли с нас кандалы. А в освободившуюся «одиночку» стали переводить из Новобелгородской централки душевнобольных, как-то: Воскресенского, Плотникова, Бочарова. Последний здесь вскоре умер.

Зиму и осень оба мы просидели, не имея друг с другом никакого сношения, и только весной Ковалик сделал попытку войти со мной в сношения. Как-то раз на прогулке я увидел на дорожке катышок хлеба, лежащий против середины скамейки (на месте прогулки было три скамейки). Я поднял катышок, но в нем ничего не нашел. Дня через два-три снова увидел катышок и на том же месте; тогда я сел на скамейку, рукой стал обшаривать низ ее и тотчас же нащупал другой катышок, прилепленный к сиденью снизу и в котором нашел маленькую записочку. Таким путем установилась связь, которая продолжалась всё лето, а осенью надзиратель уследил Ковалика, захватил записку и донес смотрителю. Дело кончилось суровым объяснением. Для переписки узенькие полоски бумаги отрывали с полей библии, евангелия, «Душеполезного чтения»; а чернила получали из сажи, которой окрашивалась часть печки, выходившей в камеру (печи топились в коридоре). В дальнейшем переписку установили шифром в книгах, ставя едва заметные точки между словами, и таким путем мы могли списываться и с другой одиночкой.

В конце второй зимы в наш корпус перевели троих наших товарищей и тогда же нас расковали – кончился срок нашего пребывания в разряде испытуемых. Таким образом нас снова собрали всех вместе, и мы одни занимали целый корпус, в котором оставалось еще 5-6 больших свободных камер.

В эту же зиму, придя однажды с прогулки, я увидел у себя на столе библию, которую я несколько раз спрашивал у старшего надзирателя. Я тотчас же начал ее перелистывать и скоро натолкнулся на шифрованные места, которые занимали значительную часть этой очень толстой книги. На разбор и прочтение всего этого письма я употребил несколько дней. Оказалось, что это писал, главным образом, Митрофан Данилович Муравский, излагая свое новое религиозное учение, имевшее целью всё же революцию. Я мало знал Муравского и только раза два разговаривал с ним во время нашего суда в Питере. Он тогда же высказал мысль, что к крестьянину и вообще к простому человеку легче подойти и вызвать его на какое-либо революционные действия, так сказать, с религиозной стороны; словом, религию приспособить к революции; теперь же я увидел, что у него в его писаниях доминирует религия. Я написал довольно резко и сурово ему ответ и отдал книгу, полагая,

что она скоро дойдет до Митрофана Даниловича. Через несколько дней к моему большому сожалению я узнал, что он очень опасно болен и что я своей заметкой мог причинить большое огорчение умирающему дорогому товарищу. Позже мне удалось установить, что книга тогда не дошла до него, а попала к Рогачеву, который вместе с Войнаральским разделял мысли Муравского. Ковалик еще раньше меня критически отнесся к новому учению. Войнаральский и Рогачев с течением времени тоже отринули эту религию.

Вскоре после передачи книги как-то утром вошел в мою камеру смотритель и сказал мне, что ночью умер Муравский и что, если я желаю, то могу с ним проститься, его сегодня же будут хоронить. Конечно, я тотчас же после ухода смотрителя вызвал надзирателя и просил провести меня к покойнику. Войдя в камеру Муравского, я увидел его в одном белье лежащим на голых нарах. Он был совсем желтого цвета и худ до последней степени истощения; это был чистый скелет, костяк без всяких признаков мускулов и обтянутый тонкой желтой кожей, словом, вид был ужасный.

Как я уже сказал выше, я мало знал Митрофана Даниловича. Он был высокого роста с большой головой, плотно сидящей на туловище, смуглого цвета лицом, темными волосами, небольшой бородой. Выражение лица серьезное, суровое, спокойное. Мне представлялось, что он походил на строгих, суровых, неподкупных и энергичных монтаньяров великой революции.

Похороны Муравского были в день его смерти устроены с некоторой торжественностью и далеко не так, как обычно хоронили арестантов. Была специально назначена обедня, нас выстроили перед гробом в церкви в ряд, в сопровождении каждого двумя надзирателями. Покойник был одет в тонкое белье и покрыт кисеей; в гробу лежали ветки зелени и он был выкрашен краской. После обедни во время отпевания священник произнес речь, в которой сказал, что Муравский всю свою жизнь отдал на служение народу, что он пострадал за это, но что уготовал себе будущую жизнь в раю, что он праведник… что он святой. При этих словах смотритель замахал рукой, и поп тотчас прекратил речь и ушел. После этого надзиратели быстро накрыли гроб крышкой и унесли, и мы, уходя из церкви, видели, как гроб унесли за ворота тюрьмы. Все мы очень уважали, любили и высоко ценили отца Митрофана за его беззаветную преданность делу революции. Тяжело нам было провожать его в могилу…

В тюрьме мы были так тщательно закупорены, что к нам ничто не проникало из внешнего мира. За все время пребывания в тюрьме только два раза случайно узнали о крупных политических событиях. Просматривая «Душеполезное чтение» (ежемесячный сборник проповедей духовно-религиозного содержания), встретилось «слово, произнесенное архиереем в годовщину убиения генерала Мезенцова злодеями-революционерами». Так что только через год мы узнали о смерти Мезенцова, бывшего начальника III отделения и убитого Кравчинским в связи с нашим приговором. Другой раз тоже довольно поздно получили известие об убийстве харьковского губернатора князя Кропоткина, в ведении которого находились наши тюрьмы. Выше я уже говорил, что переписка с родственниками не давала нам никаких сведений о политической и общественной жизни России. От посещавших нас смотрителя, доктора и попа мы тоже решительно ничего не слышали, разговоры их были чисто официальные и происходили всегда в присутствии старшего надзирателя. Посещали нас иногда приезжавшие из столицы чиновные особы, но тоже ничего не

давали общеинтересного. У меня осталось в памяти посещение профессором гигиены Доброславиным, который очень подробно расспрашивал об условиях нашего существования в тюрьме. Он был приблизительно за полгода до нашего перевода в Сибирь, и надо полагать, что его сведения были положены в основание доклада царю о невозможном режиме, существовавшем в харьковских централках и на основании которого нас перевели в Сибирь, а эти тюрьмы закрыли для политических арестантов. В последний год или даже месяцев десять нашего пребывания в централке положение наше несколько улучшилось и улучшение это выразилось в пище, устройстве столярной мастерской, получении книг. В обед стали давать борщ с мясным наваром и куском мяса, а в каше стало обнаруживаться присутствие сала, а иногда даже масла. В одной из камер поставили столярный верстак с инструментами и посадили уголовного арестанта, резчика по дереву. Назначение последнего состояло в руководстве работой. Я хорошо знал столярное дело и мог работать всякую мебель и поэтому довольно скоро получил заказ сделать письменный стол на шкафчиках из белого дуба. Работать приходилось по очереди и не больше двух раз в неделю часов по пяти. Разрешили родным присылку книг, конечно, со строгой цензурой, так что у нас завелось около десятка сочинений безобидного характера. Еще несколько раньше смотритель предложил мне составить список желательных для нас книг, так как ему на это ассигновали небольшую сумму денег. Я составил списки, которые для нас были бы интересны, с одной стороны, а с другой, и в цензурном отношении были бы допустимы по моему мнению; но, увы, прислали такую макулатуру, что читать ее было невозможно. Выше я уже говорил о присылке чая и сахара. Около этого же времени нам стали давать «еженедельную газетку» «Церковный Вестник», из которого мы кое-что узнавали об общественной и политической жизни России.

В конце лета к нам приезжал харьковский губернатор генерал Грессер; он был очень любезен и внимателен и в разговоре довольно прозрачно намекнул, что наше положение скоро сильно изменится к лучшему и что теперь в России наступила «либеральная эпоха». Вскоре после его отъезда временно замещавший смотрителя эконом говорил мне об уничтожении III отделения, назначении верховной распорядительной комиссии для пересмотра дел о политических ссыльных, о смягчении цензуры и так далее, словом, наступила «либеральная эпоха», «диктатура сердца», правление Лорис-Меликова; а нас переведут в Сибирь на житье. Действительно, в Сибирь-то нас перевели, но не на житье, а снова в каторгу доканчивать сроки, назначенные царским приговором.

Месяца за два до перевода к нам привезли Мышкина[2]. До сих пор мы гуляли по одному, а теперь вдруг предложили гулять с Мышкиным, при чем смотритель сказал, указывая на свой лоб, что Мышкин не совсем здоров. При встрече и прогулке с ним я скоро заметил у него нервную раздражительность и несуразность разговора, но всё это ко времени нашей отправки у него прошло, и он стал опять тем же Мышкиным, каким я его знал за границей, куда он приезжал ко мне в 1875 году.

[2] В течение 1879-1880 годов из Чугуевской централки были переведены в нашу централку сумасшедшие: Плотников, Воскресенский, Бочаров. Последний умер у нас.

Наконец в ноябре 1880 года нас вывезли из централки и отправили сначала в Мценск в пересыльную тюрьму, где мы просидели до мая следующего года, а затем уже в Сибирь.

Отношение к нам тюремной администрации, то есть смотрителя, доктора, эконома или помощника смотрителя, священника, а так же и надзирателей было вообще корректное, можно даже сказать, доброжелательное. Губернская администрация и именно некоторые губернаторы относились иначе. Так, известный генерал Валь говорил с нами грубо во время посещений; собственноручно удостоверялся, хорошо ли арестант закован в кандалы, смотрел, нет ли чего-нибудь под нарами; приезжал внезапно, иногда даже ночью подъезжал к тюрьме и направлялся прямо к нашей одиночке, очевидно с целью удостовериться, нет ли каких-либо упущений в нашем режиме. Его поведение «коробило» смотрителя, который был из старых полицейских служак.

Из предыдущего видно, что режим у нас был довольно суров и строг, но я, да и товарищи мои, переносили его сравнительно легко. Я обязан этому тем, что, еще будучи студентом Технологического института, тренировал себя. Я воспитывался на Чернышевском и один из героев его романа «*Что делать*» Рахметов был идеалом. Конечно, я не решался спать на гвоздях, как спал Рахметов, но на голых досках спал годы. Мало того, я старался есть как можно меньше и пищу выбирал самую простую. Живя в Цюрихе, за границей, студентки, знавшие об этом, подсмеивались надо мной, говоря, что я приучаю себя к тому, чтобы жить без пищи, и ограничиваться воздухом и водой. В централке я вспоминал об этом и был доволен тем, что в свое время подготовил себя к такому режиму.

Написано в 1924 году, опубликовано в 1925 в «Воспоминаниях».

Знакомство с Владимиром Галактионовичем Короленко.

Владимира Галактионовича Короленко я знал с 1881 года вплоть до его смерти, то есть на протяжении почти сорока лет, и за это время встречался с ним несколько раз, с довольно продолжительными промежутками. Впервые мы встретились в сентябре 1881 года в Иркутской пересыльной тюрьме: я после каторги шел на поселение, а он в административную ссылку в Якутскую область.

Здесь, в пересыльной тюрьме, мы прожили вместе месяца полтора, а затем прошло почти четверть столетия, когда я увиделся с ним в Петербурге на его квартире на Песках. Тогда Короленко пользовался уже обширной известностью как общественный деятель, крупный писатель, редактировавший вместе с Михайловским известный журнал «Русское Богатство». Свидание это было кратковременное. После этого года через два мне пришлось вступить с ним в более тесное и близкое знакомство на почве деловой, и вот по какому случаю. Дела журнала «Русское Богатство» велись не хозяйственно, очень запутанно, на журнале лежал долг в несколько десятков тысяч рублей, были постоянные ежегодные дефициты. При жизни Михайловского Владимир Галактионович, как и сам Михайловский, на хозяйственную сторону, то есть на самое издание журнала, не обращал внимания, всецело предоставив заботы об этом заведующему хозяйственной частью. Со смертью же Михайловского необходимость заставила вникнуть в дело, разобраться в нем. Результатом этого встал вопрос о приглашении нового заведующего хозяйственной частью. Журнал издавался группой (12 человек) писателей, в которую входили, между прочим, кроме Короленко, Петр Филиппович Якубович и Николай Федорович Анненский. Вот эти трое предложили мне взять на себя хозяйственную часть. Я при некоторых условиях взялся за то, чтобы привести дело в порядок и, действительно, через четыре-пять лет журнал избавился от дефицитов, увеличив почти вдвое гонорар писателям и жалованье всем причастным к журналу, уплатил половину долгов.

Об этом последнем периоде рассказывать теперь не буду, а перейду к первой встрече с Владимиром Галактионовичем.

***

Наша партия «централистов» (то есть каторжан из тогдашних двух харьковских центральных тюрем) вместе с присоединившимися в Красноярске каторжанами-народовольцами пришла осенью в Иркутск. Все каторжники, закованные в кандалы, по приходе в Иркутск должны быть раскованы – так говорит закон о ссыльно-каторжных. При отправке после приговора из Петропавловской крепости в «централку» меня заковали по высочайшему повелению, а по закону должны были это сделать только по прибытии моем на место каторги. В моем статейном списке –

это нечто в роде паспорта для лиц, лишенных всех прав состояния – конечно, было прописано, что я закован в кандалы по высочайшему повелению. Срок каторжных работ у меня кончился в «Централке», и я пришел в Иркутск, как идущий на поселение. Начальство, при приеме нашей партии, натолкнувшись на мое высочайшее повеление, было этим очень озадачено и, побеседовав между собой, объявило мне:

> «Хотя все приходящие из России каторжники должны быть раскованы на время их пребывания в здешней пересыльной тюрьме, но на вас надеты кандалы по высочайшему повелению, а это последнее может быть отменено только высочайшим же повелением, то посему мы обязаны немедленно испросить это последнее. Поэтому вы пока останетесь в кандалах».

На мой вопрос: «Неужели же я пойду и на поселение в кандалах, если не получится повеление?» – ответили: «Мы не имеем права вас расковать».

Через некоторое время меня вызвали в контору тюрьмы, где объявили, что повеление получилось, и меня сейчас раскуют. Придя в контору, я увидел там, очевидно, только что перед моим приходом прибывшего в сопровождении стража молодого человека среднего роста, плотного, коренастого, с русой окладистой бородой, очень приятным свежим, румяным лицом, вьющимися волосами на голове, живыми карими глазами; он был в желтом халате, но без тузов на спине, следовательно – административный ссыльный. На мои поспешные и краткие вопросы он также кратко отвечал, что фамилия его Короленко, ссылается в Якутскую область за непринятие присяги новому царю Александру III, что он идет из Вятской губернии, где был тоже в ссылке. Его увели в тюрьму, а меня стали расковывать, как только явился ожидаемый кузнец.

Вернувшись назад в тюрьму, я видел, что Короленко помещен шестым в камеру, где нас было пять человек, и на голых нарах – единственная мебель в камере – мы размещались в таком порядке: Кардашев, я, потом товарищ, имя которого совсем забыл, дальше Короленко, Олейник и Песковой. Последние двое – крестьяне по Чигиринскому делу, назначенные в ссылку в Иркутскую губернию. В этой камере мы вместе прожили месяца полтора. И за это время я не видел, чтобы Короленко, с кем-нибудь из нас пытался сблизиться. Да так у него было, как мне казалось, и со всеми остальными товарищами. Он держался как-то особняком; мы все чувствовали себя товарищами, людьми родственных взглядов и убеждений, верящими и признающими один единственный путь борьбы.

Когда к нашей партии в Красноярске присоединилась нагнавшая нас группа народовольцев, осужденных, так же как и мы, на каторгу, мы встретились с ними, как со своими старыми товарищами, несмотря на то, что лично знакомых среди них было очень мало. Мало того, почти все мы отрицали политическую деятельность, сводя задачи революционной партии к борьбе за экономическое освобождение трудящихся, к террору относились сдержанно, а то и совсем критически. Конечно, все это вызвало среди нас бурные столкновения, споры, критику, иногда очень запальчивую, в особенности с нашей стороны. Главную роль среди народовольцев играл Зунделевич, человек очень спокойный, уравновешенный, рассудительный; благодаря этому, он иногда осаживал своих оппонентов.

Всё это я говорю, чтобы показать, что Короленко представлял собой нечто значительно отличное от нас. С ним никаких и, кажется, ни у кого не происходило таких стычек, споров. Он, без сомнения, прекрасно знал и много слышал о нас. Мы были людьми совершенно ясных, определенных представлений о своей деятельности в России: все мы были революционерами и считали правильным революционный путь. Он был по существу человеком мирным, и для него приемлемым был путь только мирный. Мы видели, что он человек умный, оригинальный, самостоятельный, независимый, свободолюбивый, и поэтому относились к нему с уважением, но несколько сдержанно. Он платил нам той же монетой, также относился к нам с почтением и уважением, – и только. Его частенько можно было встретить с папкой и карандашом в руках: он обычно что-нибудь зарисовывал, иногда и наши портреты-эскизики. Значительно позже, уже в Петербурге, на мой вопрос – где эти его рисунки, он отвечал, что почти все потеряны.

Два-три раза он передавал интересные случаи из жизни людей литературного слоя. Перед своей ссылкой он, живя в Питере, был причастен к издававшейся тогда газете либерального направления «Новости», редактором которой состоял некто Нотович, в те времена известный и видный человек в общественной жизни. Я не помню, какой пост Короленко занимал там, но по своим обязанностям он ежедневно утром по делам газеты виделся с редактором, как только этот последний приезжал в редакцию.

Вот что рассказывал Короленко о сцене, которая произошла в редакции на другой день убийства Кравчинским шефа жандармов и главы III отделения генерала Мезенцова. Нотович приехал в редакцию и вместе с ожидавшими его Короленко и другими лицами вошел в редакционный кабинет. Обыкновенно он тотчас садился за письменный стол и слушал доклады, но в данный момент он, потирая руки, в возбужденном состоянии стал нервно ходить по кабинету и, не обращаясь лично к кому бы то ни было из нас, начал громко говорить: «Вот это прекрасно, вот революционеры молодцы, как все это они сделали смело, умно, ловко… ведь черт знает, как зазнались III-отделенцы, ведь какое безграничное самоуправство, к какому беззаконию и жестокостям прибегают в последнее время (намекая на казнь Ковальского в Одессе и на ссылку в каторгу тринадцати человек по делу 193-х)… Да, революционеры накинули узду на них… здорово осадили их, теперь не раз придется подумать им прежде чем на что-либо решиться», и так далее в этом роде. В это утро, по словам Короленко, редактор несколько раз возвращался к этой теме, восхищаясь смелостью, решительностью, энергией борьбы революционеров… Но вот прошло несколько дней, быть может, неделя, и в том же самом кабинете, в присутствии тех же лиц, тот же редактор Нотович держит такую речь, имея мрачный, подавленный вид: «И как это не понимать положения дел в России! Ведь нельзя же так легкомысленно относиться, нельзя же, не продумавши основательно и глубоко, предпринимать такой важный шаг, как убийство самого приближенного к царю человека; ведь надо подумать и не забывать всех тех последствий, которым могут подвергнуться люди, не причастные к революционерам. Это ужасно, ужасно, что они наделали!». Словом, полное порицание революционерам. Произошло это у господина Нотовича потому, что начались огромные аресты, преследования, черная реакция, и газете его угрожали кое-какие

неприятности, стеснения; ему самому, конечно, ничего не угрожало, но у страха глаза велики!

Конечно, мой рассказ очень бледен в сравнении с рассказом Владимира Галактионовича, который воспроизвел эту сцену артистически: живо, с мимикой, жестикуляцией. Я до сих пор, то есть через сорок пять лет, помню ее очень хорошо. Были и еще рассказы, но все они из среды литературной, житейской, но не революционной, по крайней мере, я других от него тогда не слышал.

Все мы, сидевшие в этой камере, за исключением Кардашева, шедшего на Кару, подлежали высылке или в Якутскую область, или в самые дальние селения Иркутской губернии. И, действительно, началась наша отправка – первым пошел Песковой, которого как-то вечером увели в контору тюрьмы, сообщив ему, что его высылают в Верхоленский округ. На другой день утром после его отправки произошел следующий казус, благодаря которому нас троих (меня, Короленко и Олейника) задержали в Иркутской тюрьме почти полтора месяца до половины ноября. В нашу «одиночку» явилась группа чиновников из пяти человек: губернский прокурор, начальник охраны тюрьмы, губернский архитектор, смотритель тюрьмы и чиновник особых поручений при генерал-губернаторе, специально наблюдавший за политическими арестантами, полковник Соловьев. В это время смотритель распорядился немедленно очистить камеру, нас с нашими вещами рассадили по другим камерам, а вся эта компания направилась к нашей бывшей камере, куда все и вошли. Товарищ Дмоховский, как наш староста, и я, как представитель от камеры, присоединились к ним. Когда, по распоряжению смотрителя, надзиратели разобрали нары, то все мы увидели небольшой пролом стены под нарами в том месте, где спал Песковой. Нужно заметить, что никто из всей нашей партии ничего не знал и не подозревал о существовании такого пролома.

Но мы знали хорошо и раньше, что полковник Соловьев был заклятый враг всех политических ссыльных и всегда готов сделать нам какую-либо пакость. Теперь он обратился к Дмоховскому и ко мне и сказал: «Это дело ваших рук! Не успели освоиться с здешними условиями, как проломали стену и так далее». Я прервал его и заметил, что под нарами лежит толстый слой пыли, указывающий на то, что пролом сделан очень давно, значительно раньше нашего прибытия сюда. На это полковник возразил: «Знаем мы, как это делается с пылью!» и жестом руки показал, как разбрасывается пыль.

Всем строителям, архитекторам известно, и я тоже знал, что цвет кирпича, лежавшего несколько месяцев на воздухе, делается темнокрасным, тогда как свежий кирпич имеет цвет светлокрасный. Обращаясь к архитектору, я указал ему на темнокрасный цвет кирпича в изломах, но он промолчал на мои слова; тогда я взял из лежавших тут же на полу кирпичей один целый и разбил его, а затем сравнил цвет кирпичей в проломе с цветом мной изломанного кирпича, и тогда все увидели, что первый бледнокрасный, а другой сильно темнокрасного цвета. Очевидно было, что пролом в стене сделан очень давно, так как для такого изменения надо лежать кирпичу несколько месяцев на воздухе, тогда как мы прибыли сюда назад тому недели три. После этого архитектор согласился со мной, а прокурор, на мое требование записать это в протокол, сказал, что при составлении протокола на мои слова будет обращено внимание. Комиссия ушла осматривать пролом с другой стороны, то есть

из камеры, в которую сделан был пролом, а Дмоховский, я и надзиратель остались здесь. Спустя некоторое время Дмоховский, наклонясь к пролому, услышал шаги лиц, подходивших к стене; тогда я тоже наклонился, и мы оба ясно услышали слова архитектора и прокурора, подтвердивших, что пролом очень старый.

Дело, по-видимому, кончилось ничем, но тем не менее нас, идущих на поселение и житье, задержали на несколько недель. В это время всем нам удалось выяснить в подробностях весь этот инцидент. Оказалось, что пролом, диаметром не больше четырех вершков, был сделан очень давно уголовными арестантами для сообщения с уголовными женщинами, сидевшими в соседней камере, что о проломе знал смотритель, да, кажется, и Соловьев имел о нем кое-какие сведения, что смотритель перед нашим приходом приказал надзирателю заделать его, но надзиратель не сделал этого, а смотрителю сказал, что его приказание исполнено. Этот надзиратель был негодяй. Его впоследствии убил политик Легкий, сидевший в одиночке, с которым он учинил тоже какую-то пакость в этом же роде.

Впоследствии, лет через пять-шесть, я, переводясь из Киренска в Балаганск, останавливался в Иркутске, где встретился со своим старым товарищем по Технологическому Институту, служившим тогда в канцелярии губернатора. Вот от него я узнал, что после осмотра комиссией пролома прокурор дал заключение о прекращении дела в отношении нас, но предварительно, то есть до осмотра, благодаря представлению полковника Соловьева, генерал-губернатор (тот самый генерал-губернатор, который в следующем году повесил Неустроева) приказал произвести строжайшее следствие и затем судить по всем строгостям закона. Таким образом, Кардашеву и мне угрожала новая каторга или увеличение срока каторги, Олейнику и Песковому продолжительная тюрьма, а Короленко, вероятно, тоже тюрьма, хотя и непродолжительная.

Интересно, что из памяти Короленко совершенно исчез этот эпизод, он его забыл бесследно, и когда в девятисотых годах этого столетия он начал писать «*Историю моего современника*» и обратился ко мне за кое-какими справками о пребывании в Иркутской тюрьме, и я ему напомнил о проломе, то он сначала решительно отрицал, что это было, а если было, то не при нем, потому что он ничего такого не помнит. И только после долгих письменных, а главное личных переговоров, он стал припоминать, что, действительно, этот факт существовал.

В начале ноября первым увезли от нас Олейника, потом Короленко, а затем меня.

На этом я кончаю свои воспоминания о Владимире Галактионовиче Короленко первого периода моего с ним знакомства и дружбы. Дальше я встретился с ним лет через двадцать.

1928.

По Сибири. *(Воспоминания)*

Очерки первый

В дореволюционной России все лица, приговоренные судами к каторжным работам за какие бы то ни было преступления, по окончании срока каторги переводились на поселение в отдаленные или отдаленнейшие места Сибири; а через 15 лет жизни на поселении их зачисляли в крестьяне и давали им паспорта с правом свободного передвижения в данном районе, области или губернии Сибири. Мы оба, я и моя жена, жили на поселении: я – после каторги, а она была прямо приговорена на поселение сенатом.

По манифесту Александра III, объявленному перед его коронацией, нас следовало приписать в крестьяне по истечении 7½ лет жизни на поселении, то есть в 1887 году. Жили мы тогда в деревне Малышовка, Балаганского округа, Иркутской губернии. И вот, как только получилось от местного исправника сообщение о нашей приписке в крестьяне этой деревни, я через несколько дней подал в волость заявление о выдаче мне паспорта для свободного разъезда по губернии, руководствуясь «уставом о ссыльных»[1]. Заявление это из волости пошло к исправнику, а от него к губернатору, генерал-губернатору и далее – в Петербург, в департамент полиции. Оказалось, что закон приложим к уголовным ссыльным, но не к политическим (государственным преступникам), и поэтому в конце концов отказали в выдаче паспорта. В законах и во всех официальных бумагах, документах, касающихся нас, мы именуемся «государственными преступниками», но не политическими, а в общежитии называли нас «преступниками», а уголовных – «поселенцами».

Во время этой довольно длительной переписки в Балаганск совершенно неожиданно приехал вновь назначенный генерал-губернатор Восточной Сибири граф Алексей Павлович Игнатьев. Конечно, для такого ничтожного городишки, с населением в 700-800 человек, это было большим событием, тем более, что за все время его существования, кажется, впервые этот город посетил главный начальник края, и до этого случая никакой другой генерал-губернатор не бывал здесь.

До Игнатьева всей Восточной Сибирью управлял генерал Анучин, питомец Муравьева-вешателя, его помощник по усмирению польского восстания 1863 года. В отношении политических ссыльных он держал себя грубо, сурово и дерзко. Он повесил в Иркутске учителя Неустроева. Все политические Восточной Сибири его бойкотировали, не обращались к нему ни с какими просьбами, избегали иметь с ним какое-либо соприкосновение. И вот теперь, с приездом сюда нового генерал-губернатора, перед всеми ссыльными, жившими здесь, встал вопрос об

[1] «Устав о ссыльных» – часть Свода законов Российской Империи, в нем изложены все законы и правила, касающиеся ссыльных по суду всех категорий.

отношении к нему. Всех нас было человек десять, живших в городе Балаганске и деревне Малышовке, расположенной на другом берегу реки Ангары. Обращаться к нему ни у кого из нас не было желания. Фигура Игнатьева для всех была совершенно неизвестна, и вот это-то обстоятельство подтолкнуло предоставить каждому полную свободу поступить так, как он найдет удобным и возможным. Тут же было решено, что я первый отправлюсь к нему, так как мое дело считалось важнее других и касалось не только лично одного меня. Я же предполагал поступить так: если буду встречен им по-анучински, то немедля прерву с ним разговор и уйду.

В день приезда Игнатьева в город Балаганск мы все собрались у одного товарища, откуда я ушел на свидание с ним, а они все остались дожидаться моего возвращения. Принял он меня вполне прилично, даже предупредительно. Когда я вошел в комнату, он встал с дивана и сделал несколько шагов навстречу ко мне, затем пригласил меня в соседнюю комнату, где, затворив за собой дверь, сказал мне, что он не желает иметь свидетелей нашего разговора. В той комнате, где он при моем входе сидел на диване, против него вдоль стены стояли на вытяжку все местные чиновные власти во главе с исправником.

Выслушав мой рассказ о деле, по которому я пришел к нему, он признал его вполне резонным, но прибавил, что разрешить его он сможет только после сношения с департаментом полиции и министром внутренних дел:

> — Государь, отправляя меня управлять Сибирью, сказал мне, что я могу предпринимать всякие меры, всякие реформы, но *только не касаться основ*; что же касается до политических ссыльных, то обязательно предварительно всегда сноситься с министром и департаментом полиции прежде, чем что-либо предпринимать относительно их.

Вернувшись к товарищам, я рассказал им всё в подробностях, после чего они тоже поодиночке побывали у него, и он с ними обходился так же, как и со мной.

После этого свидания прошло три месяца, пока мой вопрос выяснился, и то тогда только, когда я написал ему частное письмо, благодаря которому мог приехать в Иркутск. Получив официальное разрешение на поездку, я взял от исправника соответствующие бумаги, предписывавшие станционным смотрителям давать мне пару лошадей с повозкой за указанные прогоны, и дня через два отправился в путь.

Миновав несколько станций, я вполне благополучно без всяких приключений добрался до селения Олонки довольно поздно вечером. Сказав, чтобы мне запрягали лошадей, я вошел в станционную избу и стал наблюдать в окно, приготовляют ли мне лошадей, но увидел, что 4-5 ямщиков, собравшись вместе, о чем-то разговаривают; затем все вошли в избу и обратились ко мне с вопросом, не захочу ли здесь ночевать, а утром, напившись чаю, ехать дальше. Я отказался ночевать, объяснив им, что мне обязательно надо видеть завтра утром генерал-губернатора, который принимает посетителей только два раза в неделю, следовательно, если я завтра его не увижу, то потеряю три дня, что для меня невозможно.

Ямщики, помолчав, вышли, а вскоре после этого подъехала телега, запряженная парой лошадей. Распростившись со смотрителем, я уселся в телегу, где было много свежего сена, и выехал со двора.

Топография местности между станциями Олонка и следующей – Александровский завод, где была огромная каторжная тюрьма, была такова: начиная от деревни первые пять верст до речки по обе стороны дороги заняты были крестьянскими полями, через речку у мельницы был небольшой мост, а затем тотчас за ним начинался подъем на невысокую гору. Дорога отсюда шла косогором, при чем правая сторона горы покрыта была лесом и густым кустарником, а слева шли овраги, местами тоже покрытые таким же кустарником и деревьями. Такая дорога по горе доходила тоже до моста через другую речку и тоже с мельницей, а затем – крестьянские поля. Расстояние между мостами – верст восемь-девять, а от мостов до станции как с одной, так и с другой стороны – четыре-пять верст.

Когда подъехали к первому мосту, крестьянин вдруг спросил меня:

— А у тебя, барин, есть с собой опаска (так крестьяне называют револьвер)?

Вопрос этот меня несколько озадачил, и я тотчас же насторожился, заподозрив его в дурном намерении.

— Есть, – ответил я, – а почему ты меня спрашиваешь об этом?

— Да, видишь ли, тут вот между мостами-то, по дороге, за прошлые две недели подняли до десятка убитых. Из Александровской тюрьмы убежало, говорят, двенадцать арестантов-каторжников и все черкесы. Так вот они в этом лесу скрываются, а проходящих по дороге убивают и все у них отбирают – и одежду и провизию, потому что у них ничего нет. Были случаи, что нападали и на проезжающих.

Из дальнейшего рассказа ямщика я узнал, во-первых, что у него в телеге лежит топор и дубинка на случай обороны; и во-вторых, что накануне были найдены на дороге два проходивших крестьянина-пильщика с большими пилами убитыми и совершенно голыми; а раньше, дня три тому назад, подняли три трупа женщин-богомолок и тоже голых и так далее. При побеге беглым арестантам удалось захватить от тюремных надзирателей несколько револьверов и даже, по слухам, одну или две берданки (скорострельные ружья).

Местные полицейские власти организовали облаву на арестантов из крестьян соседних деревень. Крестьяне были, конечно, без оружия, у некоторых были топоры. Вскоре крестьяне увидели беглых, и между ними завязался разговор, в результате которого были выработаны условия взаимного существования. Беглые арестанты потребовали у крестьян, чтобы они постоянно давали им хлеба и чтобы не нападали на них, а сами они обязались не трогать крестьян; в противном же случае они грозились жечь их поля, избы и разные постройки и даже убивать, невзирая на пол и возраст. Крестьяне согласились на эти условия, а начальству после облавы заявили, что они не видели никаких арестантов в этих лесах. Облавы повторялись, но с такими же результатами.

Крестьянин-ямщик всё это рассказал мне в то время, как мы переезжали мост и поднимались в гору. Вскоре лошади остановились, а ямщик предложил усесться в телеге в таком порядке: он сядет лицом к лошадям вдоль телеги и ногами будет

упираться в ее передок, а мне предложил сесть тоже вдоль телеги, ногами упираться в задок ее, а спинами опираться взаимно друг на друга. В телеге было много сена, у меня была подушка, на которую я сел, а мой ручной чемоданчик он взял к себе и положил между ног.

Лошади, по его словам, были хорошие, и он прибавил, что вот сейчас пустит их «в мах».

— Смотри, держись крепче за телегу, как помчатся лошади…

Я просил его, чтобы он указал мне то место, где чаще всего поднимали убитых. Место это было во второй половине дороги, тянулось оно версты полторы и было очень удобно для нападающих, потому что с одной стороны подходил к самой дороге густой и высокий кустарник, а с другой – был глубокий овраг почти у самой дороги, так что пугливые лошади, в случае выстрелов, могли сорваться в овраг, и тогда гибель была неизбежная.

И вот крестьянин, толкнув меня в бок, крикнул: «Подъезжаем!..». Лошади неслись вскачь. Я одной рукой держался за телегу, спиной опирался на спину ямщика, ногами упирался в задок телеги и в другой руке держал револьвер (Лефоше) с поднятым курком. Положение мое было очень напряженное. И вдруг из кустов, мимо которых мы только-что проскакали, раздался выстрел. Лошади, рванувшись, еще скорее понесли нас; ямщик громко гикал на них, а я стрелял по кустам, выпустив пять зарядов, в ответ на которые сначала раздался крик, а потом еще один выстрел. Лошади неслись, как бешеные, и я совсем не заметил, как мы примчались ко второму мосту, у которого лошади сами остановились. Ямщик слез, осмотрел лошадей, подошел ко мне, снял шапку, перекрестился и сказал:

— Ну, слава богу, и лошади целы и мы оба целы.

Постояли мы тут несколько минут, пока не отдохнули лошади, а затем тронулись и с легкой рысцой ехали до самой станции.

На станции я вкратце рассказал смотрителю о происшествии, а он в ответ заметил довольно спокойно, что он уже несколько раз слышал такие рассказы, да вот и в книге, где проезжающие записывают свои разные жалобы, занесено несколько таких случаев, но ведь это его не касается, потому что это дело полицейской власти, которой пока еще ничего не удалось сделать. В Иркутске уже я узнал, что власть распорядилась командировать сотню казаков для поимки беглых каторжников.

В Иркутске, побывав у губернатора и генерал-губернатора, я убедился, что мне не дадут паспорта для свободного разъезда по губернии, но в то же время власти соглашались разрешить мне с семьей переехать туда, где я найду в губернии место, занятие, службу в каком-либо частном предприятии, а такую службу я рассчитывал получить в пароходстве на Байкале. Одновременно с хлопотами о паспорте у меня шли переговоры о поступлении на службу на Николаевский механический завод или в Лиственичное на Байкале – в пароходство. На завод нужно было немедленно поступить, а в пароходство можно было с конца осени, месяца через два-три. По разным соображениям я предпочел пароходство и, получив согласие администрации его, уехал в Малышовку.

Осенью мы стали собираться в путь, в Иркутск, где я предполагал до весны оставить семью, а самому уехать в Лиственичное, где была пароходная пристань и механические мастерские, которыми я должен был заведывать. В Иркутске тогда жила сестра моей жены с мужем, детьми и матерью. Жене очень хотелось пожить вместе с ними, тем более, что мать недавно приехала из России, чтобы повидаться с дочерями. Сестра и ее муж тоже были такие же политические ссыльные, как и мы. В городе он считался одним из самых лучших бухгалтеров и поэтому служил в одной из больших торгово-промышленных фирм.

В течение трех-четырех дней мы уложили все свои пожитки, приготовили провизии на дорогу, нашли хорошую поместительную повозку, наняли тройку лошадей, распростились с товарищами по ссылке и тронулись в путь. Багажу у нас было не особенно много, так что весь он уложился в повозку, куда поместились и мы с тремя малыми сыновьями. Все свои инструменты, переплетные и столярные, я оставил товарищам. До сих пор я жил исключительно ремеслом, сначала столярным, а потом переплетным и обойным; теперь же я оставлял ремесла и направлялся по другой линии – по линии службы в техническо-промышленных предприятиях.

Обыкновенно ехали мы только днем, ночи же проводили в деревнях на остановках, где сами спали, а лошади отдыхали; один только раз за всю дорогу переменили лошадей. На третий день вечером мы подъезжали к Иркутску. Ночи были светлые, лунные.

За несколько верст перед городом приходится ехать по так называемой Верхоленской горе. Гора невысокая, но дорога по ней местами очень опасная и неудобная, чего раньше я не знал. При спуске она шла косогором, снегу на ней было очень мало, а местами ветром и совсем его смело, и таким образом обнажился ледяной покров, оставшийся от осенней гололедицы.

Хотя было еще не поздно, но дети уже спали, а мы дремали. Вдруг я услышал, что лошади остановились, а ямщик, соскочив с облучка повозки, понукал лошадей с помощью кнута, и в то же время чувствовалось, что повозка скользит куда-то вниз. Я немедленно выскочил из нее и увидел, что она соскользнула с дороги, но лошади еще на дороге, однако не вдоль, а поперек ее. Коренник не в силах был ее удерживать, потому что, как оказалось, он был подкован только на передние ноги и кован давно, шипы подков уже стерлись.

Ямщик всем своим корпусом старался удержать повозку, но тоже не мог. Я, конечно, бросился удерживать ее, но повозка все-таки нет-нет да скользнет вниз. Положение было очень критическое, тем более, что не особенно далеко шли овраги. И вот, как-то случайно один полоз повозки попал на кочку или на камень, потому что мы оба тотчас же заметили, что скольжение ее приостановилось. Коренник все время находился в напряженном состоянии, удерживая повозку, а теперь стал свободным. Ямщик, сказав, чтобы я все-таки продолжал поддерживать повозку, сам побежал к лошадям, быстро снял с пристяжных вожжи, свернул их в два-три раза и стал ими обматывать полоз около того места, где он стоял на кочке или камне и где, следовательно, можно было подсунуть веревку. Обмотав полоз несколько раз веревкой, он закрепил ее и сказал, что теперь не поползем вниз. Действительно, лошади стояли совсем свободно, мы не поддерживали повозку, и она не скользила вниз.

Отдохнув немного, я пошел вперед по дороге, чтобы узнать, как далеко идет такой опасный для нас путь. Оказалось, что через тридцать-сорок саженей дорога начиналась совсем хорошая, и когда, вернувшись, я сообщил это ямщику, то оказалось, что он знает, потому что много раз ездил здесь. По дороге я нашел камень, который принес и подложил на конец другого полоза.

Я решил, если повозка снова начнет скользить, выхватить из нее детей, жену и что удастся из багажа, главное – подушки и одеяла, устроить их на дороге, а самому с ямщиком употребить все силы на то, чтобы облегченную повозку вывезти на дорогу. К счастью, ничего этого не пришлось делать. Ямщик встретил меня словами:

> — Ну, теперь лошади отдохнут и, если мы оба сразу на них гикнем, то они подхватят повозку и в миг доставят ее на хорошую дорогу.

Действительно, простояв довольно долго, быть-может, даже с полчаса, лошади значительно отдохнули, в особенности коренник, который теперь дышал почти нормально. Ямщик, подобрав вожжи, гикнул на лошадей, а я ему вторил. Лошади сразу дружно рванули повозку, выхватили ее на дорогу и помчались по ней. Ямщик успел вскочить на облучок, а я остался; лошади помчались вскачь. Проехав всю опасную часть дороги, ямщик остановил лошадей в ожидании меня. Нагнав повозку, я уселся в нее; в ней все спали, и я был очень рад, что не пришлось их, сонных, вытаскивать из нее, подвергать опасности простуды и заболевания.

В Иркутск приехали очень поздно вечером, все были весьма рады и довольны встречей – ведь не видались несколько лет, со времени окончания суда и ссылки в Сибирь.

Семья прожила здесь всю зиму до конца весны, а я через несколько дней уехал на службу в пароходство в Лиственичное на Байкале, где, прослужив больше года, получил предложения от трех фирм ехать на золотые прииски в Якутскую область, куда вскоре и уехал и, конечно, вместе с семьей.

Очерк второй.

В первой половине девяностых годов прошлого столетия я со своей семьей жил на Ниманских золотых приисках, которые были расположены между рекой Амуром и Охотским морем, на склоне гор к последнему, в расстоянии от города Благовещенска до тысячи верст. Я занимал крупное место в управлении приисками – был управляющим ими; но, кроме меня, был еще главноуправляющий приисками.

Прослужив здесь уже более четырех лет, как-то осенью, перед концом годовой операции по добыче и промывке золота, я получил от местного губернатора (город Благовещенск-на-Амуре) официальное сообщение о том, что на меня и на мою жену распространяется такой-то пункт царского манифеста, который был издан, не помню теперь, по какому случаю и в силу которого мы получаем право жить в Западной Сибири.

Конечно, тогда мы решили как можно скорее уехать с приисков и устроиться на житье в каком-либо городе, расположенном ближе всего к российской границе. Таковым городом избрали мы потом Тюмень.

Выехать же с приисков невозможно было раньше зимы, потому что дороги в обычном смысле не существовало; летом ездили только верхами на оленях или лошадях по тропам до реки, а по реке – на «оморочке» (лодка из бересты, на которой можно сидеть только одному человеку без всякого багажа и двум проводникам-якутам с шестами, из коих один на носу, а другой на корме); зимой же ездили в небольших повозках по льду реки и тайгой лесом.

Таким образом, мы принуждены были ждать зимы, и как только установился путь и из Благовещенска стали приходить обозы с грузами на прииски, то есть хлеб, мясо, сено, овес, мануфактура и так далее, то решили, что сначала поедет жена с двумя младшими детьми, а затем в самом конце зимы, по последнему пути, выеду я со старшим сыном, которому было тогда 9 лет. Решающим моментом раннего выезда жены послужило состояние ее беременности.

Она выехала с прииска в конце декабря и, проехав приблизительно треть пути до Амура, остановилась на «резиденции» Чекунда, расположенной на реке Бурее, впадающей в Амур. Эта «резиденция» состояла из одного небольшого домика с двумя комнатами и кухней и довольно большого амбара с провизией и товарами для едущих на прииски рабочих и служащих и для якутов, живших около приисков. В доме жил служащий с большой семьей, так что жить моей семье вместе с ними было решительно невозможно, и поэтому с общего согласия решили воспользоваться небольшой старой избушкой, тут же находившейся и никем не занимаемой, конечно, предварительно приведя ее по возможности в жилой вид. Она состояла из одной комнаты с русской печью; комнату разделили перегородкой, и таким образом в одной части комнаты поместилась жена, а в другой дети. Теснота была такова, что я, приехав с сыном, с трудом мог устроить себе место для спанья в половине для детей, в которой, кроме кровати, не было никакой мебели.

Я приехал в марте и застал жену в постели: она за несколько дней до моего приезда родила сына. К счастью ее, накануне родов проезжал приисковый врач, который и присутствовал при родах, а на другой день он уехал; при жене же осталась якутка, да иногда помогала ей жена служащего. Жена была настоящей акушеркой и имела опыт, так что всё делалось по ее указаниям, но тем не менее все условия были очень тяжелые и весьма неблагоприятные. Мы рассчитывали, что роды произойдут по приезде нашем в Благовещенск, но ошиблись; весна на этот раз пришла поздно, река вскрылась тоже поздно, да и пароходишко значительно опоздал, и самые роды начались несколько раньше, благодаря неблагоприятной окружающей обстановке.

От пристани Чекунда обыкновенно плавал маленький приисковый пароходик, принимавший грузу пудов около двухсот и пассажиров пять-шесть человек. И вот в ожидании его прихода нам пришлось прожить несколько недель. Условия жизни были изрядно затруднительные, тем более, что жена после родов оправилась нескоро.

Как только пришел пароход, мы в тот же день погрузились на него и отплыли в Благовещенск сначала по реке Бурее, впадающей в Амур, а затем по последнему в самый город. Бурея – горная река, следовательно, и довольно быстрая; тем не менее все-таки прошло несколько суток, покуда мы добрались до Амура.

По Амуру пришлось плыть против течения, поэтому тащились мы очень тихо, версты 2-3 в час. Но в конце концов мы доплыли до Благовещенска, где нас ожидала

очень большая неприятность, тогда как мы рассчитывали прожить некоторое время в культурных условиях и, значительно отдохнувши, отправиться в очень дальнюю дорогу. Но, к сожалению, отдохнуть нам не удалось.

Как только наш пароходик пристал к городской пристани, нам сообщили, что в городе свирепствует черная оспа, и поэтому советовали не сходить с парохода. Оставаться же на пароходе мы решительно не могли, уставши и измучившись до последней степени благодаря тесноте, отсутствию всякого движения в течение полутора недель, недостатку всякой провизии, лишению правильного питания, горячей пищи. Ведь за все время этого нашего путешествия мы не видели ни одного селения, ни одного человека, вплоть до самого Амура. В виду всего этого я тотчас же отправился в наше приисковое агентство, где, обсудив с агентом наше положение, признал, что оставаться в городе опасно, особенно для нас, и поэтому надо во что бы то ни стало как можно скорее выбраться отсюда, если не сегодня, то обязательно завтра; а покуда агент взялся нас немедленно устроить, найти хорошее помещение, что он и сделал, очень скоро наняв нам временно две хороших меблированных комнаты, куда я и перевез семью с парохода. Не помню теперь, была ли это гостиница или частная квартира, но только тут нас и поили и кормили очень хорошо.

Устроив семью, сам я пошел по пристаням и конторам пароходств узнавать о времени отхода пароходов вверх по Амуру. Идя по улицам города, я видел очень много домов с черными флагами, означавшими присутствие в них оспы. Во время этой моей беготни я натолкнулся на капитана нашего пароходика, который, помимо меня, но для меня тоже наводил справки об отходе пароходов. Он мне сообщил, что завтра утром отходит вверх до Сретенска небольшой грузовой пароход и что на нем знакомый ему капитан соглашается взять нас, дать нам хорошую каюту (единственную пассажирскую) и вообще предоставить нам всевозможные удобства грузового парохода. Тотчас же мы оба отправились на этот пароход, осмотрели каюту довольно порядочных размеров и для меня вполне подходящую. Я тут же внес плату за проезд до Сретенска всей семьи и предупредил капитана о том, что на другой день утром мы переберемся на пароход.

Вернувшись домой уже в сумерках и найдя всю свою семью несколько оправившейся и повеселевшей, я предложил заняться чаепитием и ужином, а затем улечься спать, чтобы утром пораньше встать и поскорее переехать на пароход. Сам я чувствовал себя очень усталым и разбитым. Подкрепившись едой и питьем, а, главное, хорошо выспавшись, я на другой день довольно рано перевез семью на пароход и поместил в каюте, где была одна кровать, которая предназначалась для жены с новорожденным, а я с остальными детьми постоянно располагался спать на полу. Так как по Амуру население было тогда очень незначительное и добывать съестные припасы, включая и хлеб, было очень трудно, я еще раз пошел в город и закупил там разного продовольствия на неделю.

Путешествие по Амуру на грузовом пароходе продолжалось довольно долго, но особенных неудобств мы не испытывали и добрались сравнительно благополучно до Сретенска, откуда началась езда на лошадях.

На третий или четвертый день после отплытия из Благовещенска жена стала успокаиваться, видя, что наконец нас миновала опасность: на пароходе все были здоровы, а на пристанях, где мы останавливались, черной оспы нигде не было.

По приезде в Сретенск прежде всего пришлось купить тарантас, потому что ехать в перекладном с семьей несколько тысяч верст было решительно невозможно. Подходящий тарантас скоро нашелся, и я его купил, а по приезде в Томск снова продал, и он таким же путем с новым хозяином отправился опять в дальнюю Сибирь.

Порядок нашего путешествия был таков: днем с раннего утра до позднего вечера мы находились в дороге, а ночи проводили на станциях; к вечеру мы настолько уставали, что потребность в ночном отдыхе была безусловно неизбежна. Доехав до Иркутска, мы там встретились с родными моей жены, именно – с матерью и сестрой с семейством. Как было уже указано, сестра с мужем тоже были политические ссыльные и по тому же манифесту, что и мы, переезжали теперь в Россию, в город Ригу. Мы заранее знали, что они будут проездом из Троицко-Савска (Кяхта) в Иркутске, где несколько дней прожили с ними. После их отъезда мы оставались еще с неделю у своих старых друзей, тоже ссыльных, живших в Иркутске. Мы рассчитывали узнать здесь о положении дел в России, о том, что там творится, как идут революционные дела, но, к большому сожалению, наши надежды оказались тщетными: время было глухое, новых ссыльных почти не было и никаких известий из России не получалось.

Переезд из Иркутска до Томска в первой половине пути ознаменовался у нас тем, что недалеко от Красноярска, не доезжая какой-то станции, лопнула шина на колесе, и из боязни, чтобы не рассыпалось колесо, мы принуждены были ехать шагом; кроме того, ямщик, я и двое старших сыновей шли пешком. На станции местный кузнец, осмотрев весь тарантас, нашел нужным поставить новые шины на два колеса, а остальные два поправить. Помнится, ремонт продолжался суток полтора, а, главное, стоил очень дорого.

Смотритель станции дал нам маленькую отдельную комнату на это время.

За две станции до Томска на нас свалилось новое несчастье, приведшее нас в большое уныние и озабоченность: заболел сильной дизентерией шестилетний сын, мальчик довольно слабого здоровья: он отравился молоком. Конечно, это событие нас сильно взволновало, и мы даже думали остановиться на ближайшей станции. Но в этом селении не оказалось никакой медицинской помощи (ни доктора, ни фельдшера), так что мы вынуждены были как можно скорее ехать до Томска.

В Томске, с помощью живших там ссыльных, мы нашли две небольших комнатки во флигеле, во дворе, у какой-то мещанки. Комнаты были грязноваты, а, главное, почти без мебели, так что мне со старшими детьми опять пришлось спать на полу. Плохо было больному ребенку. Приглашенный местный хороший врач, осмотрев внимательно ребенка, принял все меры для оказания ему помощи. Сколько помнится, с неделю его положение было очень тяжелое, а затем, пережив кризис, он стал понемногу поправляться. И вот в это время доктор стал настоятельно советовать нам ехать дальше, потому что в дороге ребенок скорее оправится, в особенности на пароходе, при хорошем уходе за ним. Так как пассажирские пароходы из Томска до Тюмени отходили в неделю раза два-три, то я имел возможность взять большую 4-местную каюту на хорошем пароходе, и дня через четыре мы уже плыли по Оби. Условия на пароходе во всех отношениях были очень хорошие, и наш бедный мальчик, действительно, начал скоро поправляться, так что к концу путешествия на пароходе он почти совсем оправился. Погода стояла очень хорошая – ведь был уже конец июля – не жаркая, и, плывя по Оби, мы все время поднимались к северу.

Помнится, на десятый или одиннадцатый день, наконец, показался Тобольск. Но когда мы подошли к городской пристани, то тотчас же узнали, что в городе сильная холера и что она свирепствует почти во всех городах Западной Сибири. Известие это ошеломило многочисленных пассажиров, вызвало невообразимую панику; огромное большинство стремилось «бежать куда глаза глядят», лишь бы, сойдя с парохода, немедленно уйти из зараженного города. Пароход очень скоро опустел. Мы же, по возможности хладнокровно обсудив положение вещей, решились остаться на этом же пароходе и ехать дальше в Тюмень, но в то же время стали строго следить за нашим питанием, за сношениями с людьми, словом, приняли все возможные предохранительные меры.

На пароходе ко времени его отхода от пристани осталось всего лишь около четвертой части пассажиров. Когда пароход вошел в реку Тобол, а затем в Туру, то есть когда мы направились на юго-запад, температура начала повышаться, а когда после полудня мы прибыли в Тюмень, то там была чуть ли не «тропическая жара».

В Тюмени я, оставив семью на пароходе, пошел разыскивать жившего там ссыльного товарища Папина. Он встретил меня чуть ли не с испугом: «Откуда вы и как сюда попали?». Когда же я объяснил ему, что я с семьей приехал сюда на житье, то он продолжал: «И принесла же сюда вас нелегкая в такое время! Ведь здесь ужасная холера, умирает чуть не по полтораста человек в день. Все бегут, кто может, из города. Здесь невозможно оставаться. Я свою семью тоже отправил из города. Конечно, моя квартира в вашем распоряжении, но у меня нет никакой прислуги, потому что на днях она умерла». Таким образом, мне пока не оставалось ничего другого делать, как перевезти семью с парохода хотя бы и в пустую квартиру, за что я немедленно и принялся.

Переселившись, устроив чаепитие и накормив детей, я с женой стал обсуждать, что нам делать, как явился Папин и настоятельно стал советовать уехать как можно скорее. Он рассказал нам, что в 30 верстах от города, в большой деревне, которая расположена вдоль реки, окружена лесом и где нет холеры, живет ссыльный Приходько с семьей; они уехали туда при первых признаках появления холеры. Согласившись выехать отсюда в деревню, я пошел искать лошадей. Однако, нигде не мог найти лошадей ни на завтра, ни на ближайшие дни – все были в разгоне. Придя поздно домой и сильно уставший, я улегся спать, а на другой день утром рассказал Папину о своей неудаче. Он сейчас же предложил мне идти вместе с ним к самому крупному ямщику, который, между прочим, обслуживал их контору. Он сказал ямщику, чтобы к вечеру непременно была тройка лошадей, с хорошим тарантасом для отвоза моей семьи в деревню. Ямщик ответил, что хотя у него расписаны уже все лошади на всю неделю, но он постарается исполнить его приказание. Действительно, к вечеру явилась тройка лошадей с тарантасом, и мы уехали. Правда, за эти 30 верст пришлось заплатить 25 рублей, вместо обычных трех рублей.

В деревню приехали очень поздно. Там все уже спали, но, несмотря на это, удалось разыскать квартиру Приходько. Услыхав нашу фамилию, он принял нас по-братски. На другой день нашлась для нас квартира, куда мы и перебрались. В деревне у многих крестьян были двухэтажные дома, при чем вся семья крестьянина жила внизу в одной большой с русской печью избе, а вверху таких же размеров комната, разделенная

на две части, предназначалась для приема гостей; вот такую-то верхнюю комнату отдали нам внаймы. Первые недели полторы мы жили совершенно спокойно.

Но вот однажды ночью внезапно заболела хозяйка, находившаяся внизу; вся ее семья жила в нескольких верстах на заимке, где была у них пашня. Жена, услыхав стоны хозяйки, спустилась к ней и нашла ее охваченную приступами холеры; она сейчас же приняла кое-какие меры и в то же время дала знать Приходько о болезни хозяйки. Жена Приходько тотчас же пришла, и они вдвоем до утра провозились с больной, и им удалось задержать развитие болезни. Дело в том, что за несколько дней до нашего приезда у Приходько, проездом, был врач, хороший их приятель, который дал подробные указания на тот случай, если бы появился больной холерой; кроме того, он дал необходимые лекарства для оказания первой помощи. И вот, пользуясь этими указаниями, Елена Антоновна (жена Приходько) и Евгения Николаевна (моя жена) справились с болезнью, потушив ее в самом начале. Через несколько дней хозяйка совсем оправилась, но тут вскоре случилась новая беда – такая же точно история повторилась с Евгенией Николаевной; но, к счастью, те же меры, моментально принятые, спасли и ее от дальнейшего развития болезни. Она тоже скоро оправилась. В деревне, однако, начались смертные случаи; холера заметно усиливалась.

В то время в Богословском горном округе, на севере Уральских гор в Пермской губернии, на Богословских заводах помощником главноуправляющего округом был брат моей жены, Петр Николаевич Фигнер. Как только мы поселились в деревне, жена написала ему обо всех наших приключениях, и от него вскоре получилось письмо с настоятельной просьбой ехать к нему на заводы, где нет и не может быть холеры, потому что там много медной руды, из которой выплавляют медь, что якобы уничтожает холерные микробы. Как бы там ни было, но верно то, что в этом округе, действительно, холеры никогда не было.

Предложение Петра Николаевича, после совместного с Приходько обсуждения, нами было принято, и мы условились все вместе ехать в Богословск, где жил Фигнер. Сборы, приискание лошадей и деревенских экипажей заняли несколько дней. По указанию Петра Николаевича, нужно было ехать в Кушву, станцию Пермской железной дороги, а оттуда прямо в Богословск. Как мы ехали до Кушвы – не помню, всем распоряжался Приходько. В Кушве нас встретил агент Богословских заводов, живший в доме, принадлежавшем заводам. Он был предупрежден о нашем приезде и потому встретил родственников помощника управляющего заводов с «почетом и уважением», предупредительно исполняя все наши пожелания, впрочем, очень ограниченные. Прожив сутки, мы отправились в двух хороших, удобных заводских экипажах, снабженные всякой провизией, так как ехать нужно было чуть ли не двое суток.

В Богословске Фигнер приготовил для нас хорошую большую квартиру с мебелью, посудой и прислугой; словом, у нас были все удобства, но, к сожалению, пользоваться всеми этими благами пришлось очень недолго, с неделю или полторы.

Во избежание крупных неприятностей со стороны полиции (мы приехали в Богословск без разрешения полиции), Фигнер написал частное письмо пермскому губернатору о нашем приезде на короткий срок в виду сильной эпидемии в Тюмени, где мы обязаны жить, и просил его не тревожить нас с месяц, пока не прекратится острый период холеры. Губернатор, тоже частным письмом, очень скоро ответил ему,

что нам, «Сажиным, самим государем *разрешено жить только в Западной Сибири*», но никоим образом не в России, а потому он предлагает нам немедленно вернуться в Тюмень; в случае неисполнения его предложения, он вынужден будет сообщить о нашем приезде в его губернию министру внутренних дел и, следовательно, все мы можем подвергнуться тому или другому наказанию. Кажется, даже назначил срок выезда.

И вот снова пришлось собираться и ехать в Тюмень. Со времени нашего первого выезда из Тюмени прошло недель шесть, так что холера в городе сошла почти на-нет: заболевания еще случались, но о смертных случаях сообщалось очень редко.

По приезде в Тюмень мы очень скоро нашли себе удобную и хорошую квартиру, в которой прожили долго. Через несколько месяцев нашлась мне служба.

Наконец-то окончились наши странствия, которые от Чекунды до Тюмени продолжались почти четыре месяца и сопровождались разными приключениями весьма неприятного характера.

Очерк третий.

Живя в Тюмени, я служил в пароходстве Богословского горного округа и занимал место заведующего технической и хозяйственной частью его, то есть на мне лежали обязанности руководить и следить за ремонтом пароходов и барж, снабжать их всеми необходимыми материалами, припасами, инструментами, руководить правильным движением (с технической стороны), постройкой новых барж и всяких сооружений на всех пристанях.

Весь флот состоял из девяти пароходов и нескольких десятков барж и рудовозов. Пароходство было грузовое, буксировало баржи с грузами, а рудовозки – с рудой; на самих же пароходах грузов вообще не возили, – правда, иногда бывали исключения. Пароходы рейсировали туда и обратно по рекам Западной Сибири от Тюмени по реке Тоболу, Иртышу до Семипалатинска или по Оби до Бийска; от Богословских заводов по Сосьве, Тавде и дальше. Расстояния эти измерялись тысячами верст. Благодаря обильным средствам, весь флот находился в хорошем состоянии; ремонт его производился всегда основательно.

Пароходство, главным образом, обслуживало заводы округа, которых тогда насчитывалось 10-12. Посторонних грузов принимали очень мало и только по весне с верховьев Оби и Иртыша доставляли в Тюмень несколько сот пудов пшеницы в зерне.

С окончанием навигации в начале осени пароходы и баржи становились в удобных местах на зимовку по реке Иртышу в Семипалатинске, Павлодаре, Омске, а по реке Оби – в Бийске, Барнауле, Кривощекове, по реке Сосьве – на заводах. Вставши на зимовку, капитаны и машинисты пароходов немедленно сообщали в главную контору в Тюмени о том, какой, по их мнению, предстоит ремонт судов, какие нужны материалы, инструменты и прочее. На мне лежала обязанность рассмотреть все эти требования и определить необходимость того или другого ремонта.

Так как в этом пароходстве я служил только первый год, то я счел необходимым лично ознакомиться с предстоящим ремонтом всех судов, а также с местами их зимовок и вообще с действительным положением и обстановкой всего дела.

В Тюмени на зимовке стоял один небольшой пароход, который не требовал особого ремонта; в сущности, все сводилось только к разбору, чистке и затем сбору машины, а также к окраске корпуса и кают его; так что рассмотрение сметы и предположений машиниста и капитана заняло у меня очень немного времени. Утвердив смету ремонта и выдачу материалов, я стал собираться в дорогу.

Получив из главной конторы все нужные документы, а также и подорожную, которую выправили из местного казначейства для меня, я в половине ноября отправился в путь. Так как своей повозки не нашлось, то пришлось ехать на перекладной, то есть на каждой станции меняли не только лошадей, но и повозку, что, конечно, было очень неудобно.

До Омска я ехал день и ночь, нигде в дороге не ночевал, ехал безостановочно. Отправляясь в путь, необходимо было запастись всякой провизией, потому что на станциях обыкновенно ничего нельзя было достать; самовары же можно было получить везде и во всякое время дня.

Через несколько дней я был уже в Омске, где остановился на три-четыре дня, так как там стоял один из самых больших пароходов с несколькими баржами. Ремонт как его, так и некоторых барж предполагался довольно значительный, и поэтому требовалось произвести тщательный и внимательный осмотр всей этой флотилии. Предположения машиниста и капитана подверглись значительному изменению после обоюдного соглашения как с тем, так и с другим в отдельности, потому что каждый из них совершенно друг от друга не зависели в ремонте заведуемых ими частей: машинист – в машине и котлах, а капитан – по корпусу парохода.

Вообще на всех пароходах требования капитанов и машинистов на разные материалы для ремонта и эксплуатации пароходов всегда были довольно велики и обычно не соответствовали требованиям момента. Они всегда считали необходимым иметь значительные запасы, так что моя неожиданная для них ревизия всех остатков на пароходе обнаружила значительное их количество; поэтому требования их на материалы подверглись большому сокращению.

Окончив всё это дело в Омске, я, не задерживаясь, немедленно же отправился дальше к Семипалатинску, где стояло два парохода с баржами. По пути встретилась необходимость остановиться в Павлодаре на один день, чтобы осмотреть стоявшие там баржи.

Дорога из Омска, особенно к Павлодару и дальше за Павлодаром, на сотни верст шла голой степью; снегу было мало, но ехали хорошо, лошади были добрые, да по Сибири вообще ездили тогда очень скоро, обычно 12-15 верст в час.

Из Павлодара я выехал рано утром; день был тихий, ясный и морозный, так что к обеду успел приехать на вторую станцию, где остановился, рассчитывая напиться чаю и закусить. Войдя в комнату, я заказал себе самовар и в то же время дал хозяйке разогреть кое-что из моей замерзшей провизии. Во время чаепития я попросил смотрителя распорядиться запрягать для меня лошадей. Он же в ответ на мою просьбу стал мне советовать остановиться здесь на станции и переждать метель, которая, по его словам, только-что начиналась и которая непременно захватит меня в дороге,

если я сейчас выеду. Здешние степные метели очень опасны, и бывают случаи, когда проезжающие, потеряв дорогу, блуждают по степи; их заносит снегом, и в конце концов они даже замерзают.

Глядя через окно на улицу, я видел ясный день, на небе сияло солнце, дул маленький ветерок; все это не соответствовало словам смотрителя, и поэтому я с недоверием выслушивал речь его и предполагал, что он советует остаться мне на станции по каким-либо другим соображениям, – например, что у него чем-нибудь посторонним заняты почтовые лошади и ему желательно поэтому задержать меня, чтобы выиграть время.

Во время этого нашего разговора я вдруг услыхал звон почтового колокольчика, и, действительно, к станции подъезжали две тройки лошадей – оказалось, это шла почта. Вскоре появился почтальон, сопровождавший ее, и на дворе быстро запрягали лошадей и перекладывали чемоданы и тюки с почтой в другие повозки.

На мой вопрос о метели почтальон ответил, что пока еще ехать можно и что он не имеет права останавливаться с почтой на станциях, что он обязан ехать до тех пор, пока возможно. Со двора пришел смотритель, сообщив почтальону, что всё готово, и тогда последний, забрав свою сумку, немедля вышел, а я потребовал от смотрителя, чтобы для меня без всякой задержки сейчас же запрягли лошадей, так как я хочу ехать следом за почтой. Он ушел, и я видел в окно, как отправилась почта, как стали запрягать лошадей и как он сам переложил мои вещи в новую повозку. Таким образом, прошло не более десяти-пятнадцати минут со времени отхода почты, как выехал и я.

Только-что мы выехали из деревни, сейчас же было видно, что, действительно, метель уже началась; у меня перед глазами образовалась точно завеса из тонкой, прозрачной кисеи, и, по мере движения нашего вперед, завеса эта становилась все менее и менее прозрачной, так что в конце-концов я с трудом различал головы лошадей, особенно пристяжных. Кроме того, снег сыпал со всех сторон, и мне нужно было закрыться наглухо, иначе снег засыпал бы меня.

По выезде со станции лошади сначала бежали очень крупной рысью. Садясь в повозку еще на станции, я сказал ямщику, чтобы он обязательно догнал почту и затем ехал бы все время следом за ней. На мои слова он ответил: «Догоним, сейчас же догоним ее». Через некоторое время, быть-может, через полчаса я выглянул из повозки, и на мой вопрос о почте ямщик снова мне сказал: «Не беспокойтесь, вот сейчас ее догоним, да и на станцию скоро приедем». Веря словам ямщика, я удовлетворился его ответом и снова закутался в повозке; но вот я почувствовал, что моя повозка стала двигаться очень тихо и медленно; оказалось, что лошади шли уже не мелкой рысью, а просто шагом. И когда я сказал ямщику, что, очевидно, мы потеряли дорогу, почту не нагнали и теперь плутаем по степи, он после некоторого колебания согласился со мной и на дальнейший мой вопрос о том, что теперь делать, ответил: «Лошади сами найдут дорогу и доставят нас на станцию, будьте спокойны». Мне покуда ничего другого не оставалось, как опять согласиться с ямщиком. Снова укрылся я в повозке и, сидя в полумраке, заснул. Долго ли я спал, не знаю, но когда проснулся, то узнал, что мы стоим на месте. Сначала я подумал, что это станция, но оказалось, что мы остановились в степи. Захотелось узнать, который час, хотя доставать часы было трудновато: нужно было развязать кушак, расстегивать пуговицы,

зажигать спички. Проделав всё это, я увидел, что прошло уже более пяти часов, как мы странствуем в степи благодаря метели, тогда как при хорошей погоде на весь этот переезд до станции потребовалось бы никак не больше полутора часов.

Лошади были предоставлены самим себе, ямщик ими не управлял, и, как я заметил, они старались идти по направлению ветра. Ветер дул им в зад, и как только направление его менялось почему-либо, они тотчас же изменяли свое направление. Двигались они очень медленно, шаг за шагом, хотя слой снега был небольшой; очевидно было, что лошади очень устали. Ямщик иногда сидел на облучке, но чаще шел рядом с повозкой, так что я, сидя в ней, мог с ним иногда обмениваться словами. В степи телеграфные столбы шли вдоль дороги и, следовательно, могли служить вехами; их мы не видели нигде во время нашего странствования и ни разу не натолкнулись на них во время метели. Я предложил ямщику попробовать их поискать и сделать эту попытку так: снять с лошадей все вожжи, связать их вместе, один конец взять мне, остающемуся у повозки, а другой взять ему и описать кругом повозки окружность радиусом, равным длине всех связанных вместе веревок. Он согласился, тотчас же снял все вожжи с лошадей, связал их вместе и на концах сделал большие петли, через которые каждый из нас со своего конца просунул руку, так что веревка у меня и у него очутилась на плечах. Я оставался у повозки и должен был по мере надобности медленно обходить ее, постоянно придерживаясь за нее, а ямщик отошел от меня на длину веревки и натянул ее, чтобы описать круг. Очень долго мы возились с этим, но совершенно безуспешно; ямщик вернулся, даже не описав всего круга и не встретив нигде телеграфных столбов, но очень усталый и измученный, потому что в такую метель тащить за собой веревку решительно не под силу одному человеку, да и я, будучи в двух шубах, с большим трудом передвигал ноги, медленно обходя повозку и придерживаясь за нее, тогда как он с большой силой оттягивал меня от нее, натягивая веревку.

Благодаря такому опыту мы довольно долго простояли на одном месте, и когда, наконец, вернулся ямщик, нас порядочно занесло снегом и выбраться из сугробов было довольно трудновато.

Снова пришлось отдаться воле лошадей, рассчитывая на их инстинкт, на их способность найти дорогу, по которой они столько раз бегали от станции до станции; и вот после продолжительного блуждания по степи они вдруг остановились. Ямщик, дремавший на облучке, соскочил с него и пошел посмотреть, что случилось. Я тоже вылез из повозки в ожидании его; он очень долго не возвращался, и я стал беспокоиться, не заблудился ли он. Мне тогда казалось, что прошло очень много времени, покуда, наконец, я вновь увидел своего ямщика. Он мне рассказал, что мы натолкнулись на ту самую почту, которая перед нами уехала со станции и которую мы не могли нагнать. Она так же, как и мы, сбилась с дороги и все время плутает по степи.

Три ямщика, почтальон и я собрались все вместе и обсуждали, что делать. Ямщики предлагали остановиться здесь, выпрячь лошадей, связать их вместе, по возможности окружить повозками, а самим забраться в последние и ожидать конца метели; по окончании же ее попытаться самим выкарабкаться из сугробов снега или же, в случае невозможности освободиться самим, ожидать, пока нас найдут и откопают. Обыкновенно, по окончании метели, местные крестьяне разыскивают по степи пропавших

и занесенных снегом, застигнутых метелью в степи. Почтальон и я решительно высказывались против этого в виду того, что метели продолжаются здесь иногда по нескольку дней, а провизия оказалась только у меня одного, да и то хватило бы ее для всех не более как на один раз; кроме того, мы можем замерзнуть или даже задохнуться. Мы оба настояли ехать и передвигаться до полного изнурения лошадей, а когда дело дойдет до такого положения вещей, тогда остановимся и поступим согласно заявлению ямщиков.

Метель продолжала свирепствовать и, по-видимому, все увеличивалась, потому что при наших остановках очень скоро около нас наметывались огромные сугробы снега и лошади только с помощью нас всех с большим трудом вытаскивали повозки и выкарабкивались сами; остановки делались все чаще и чаще.

Наконец, судьба, очевидно, все-таки сжалилась над нами, потому что на одной из остановок ночью, после продолжительного ожидания ямщика, по обыкновению уходившего узнавать причину остановки, я сам пошел вперед, так как моя повозка была последней. С большим трудом я добрёл до передней тройки и там узнал, что лошади натолкнулись на изгородь и остановились. Ямщики и почтальон разгребали ногами и руками снег, вытаскивая колья изгороди, чтобы возможно было переехать. Я, конечно, тотчас же присоединился к ним, и общими усилиями нам удалось разобрать изгородь и перевести через нее лошадей с повозками. Все мы были уверены, что теперь уже скоро доберемся до какого-нибудь жилья и, следовательно, скоро окончатся наши мытарства. Действительно, немного прошло времени, как мы снова уткнулись в какой-то не то забор, не то плетень. Один из ямщиков перелез через этот забор и очутился во дворе крестьянской избы.

Деревня уже спала, потому что время было уже за полночь; но несмотря на это, он разбудил крестьян нескольких соседних домов, и вот к нам явилось несколько крестьян, которые помогли почте и мне выбраться из повозок и добраться до изб. Повозки остались на месте, а лошадей тоже вывели во двор. Меня поместили в одной избе, а всю почту с почтальоном в другой; ямщики тоже с ними разместились. После небольшого разговора мы узнали, что попали опять на ту же самую станцию, с которой выехали днем, проплутавши в степи чуть не полсуток.

Метель бушевала почти двое суток, а я все это время прожил у крестьян в избе; только на третий день погода установилась хорошая, тихая и можно было ехать дальше.

Всё дальнейшее путешествие продолжалось без особенных приключений. Побывав в Семипалатинске, я перевалил с верховьев Иртыша через Змеиногорск в Бийск в верховья Оби и затем в Барнаул. Снега в этих местах, особенно около Барнаула, были очень большие и местами, сколько помнится, доходили до одной сажени глубины. Погода стояла очень хорошая, морозы были небольшие и едва ли выше 25 градусов. Словом, весь переезд от Семипалатинска до Томска с остановками в два-три дня в нескольких местах занял не особенно много времени.

В Томске задержался на неделю. На реке Томи стояло два небольших парохода и несколько барж, требовавших значительного ремонта. Главная контора пароходства дала мне еще особое поручение ознакомиться со всей деятельностью агентства в Томске. Это агентство было самое большое и пользовалось некоторою самостоятельностью благодаря тому, что во главе его стоял родной брат главноуправляющего всего

Богословского округа. В главной конторе были кое-какие указания на злоупотребления и хищения в агентстве. Мне было поручено, так сказать, негласно удостовериться в этом. Самое поверхностное знакомство с делами агентства подтвердило точность подозрений.

Отсюда я отправился прямо в Тюмень; в агентстве нашлась повозка, в которой, захватив с собой вновь приглашенного мной машиниста в пароходство, я двинулся, наконец, прямо безостановочно домой. Наступили самые суровые сибирские рождественские и крещенские морозы.

Переезд этот остался памятен для меня и до сих пор. Несмотря на то, что я одет был очень тепло – хороший дубленый овчинный полушубок, а сверху него такая же большая шуба, в роде дохи, конечно, большие сибирские валенки на ногах и прочее, в повозке же были большая кошма, овчинное одеяло, – тем не менее временами мороз сильно допекал меня.

Особенно помню одну ночь, когда мы ехали по Барабинской степи. На станцию мы приехали очень рано утром, было совершенно темно, жители еще спали и только кое-где хозяйки начинали затоплять печи. Сидя в повозке, мы оба до того озябли, окоченели, что могли вылезть из нее только при помощи ямщиков, а в комнате на станции смотритель буквально снял с нас шубы, потому что сами мы не могли этого сделать. Он же тотчас разбудил свою жену, распорядился поставить самовар, в кухне затопить печку, а нам посоветовал ходить по комнате все время до самовара, словом, беспрерывно быть в движении. Когда мы немного согрелись, отошли, на столе появился самовар; мой спутник вытащил свою и мою провизию, главным образом, замерзшие сибирские пельмени – неизбежный провиант всякого сибиряка, едущего в дальнюю дорогу. Хозяйка сварила их и подала нам вслед за самоваром.

Напившись чаю, основательно закусивши и вполне отдохнувши, мы выехали со станции, когда совсем уже рассвело. Ночь эта послужила нам уроком: в дальнейшем путешествии все ночи проводили мы на станциях; и до Тюмени добрались вполне благополучно.

«Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник», №12, книга 49, Москва 1928, с. 94-113.

V.

Евгения Николаевна Сажина-Фигнер [Некролог]

Скончавшаяся 19 ноября Евгения Николаевна Сажина родилась в 1858 году в Мамадышском уезде Казанской губернии, в дворянской семье, давшей России трех дочерей революционерок (да и четвертая, Ольга, имела отношение к революционным делам и ушла с мужем, Сергеем Николаевичем Флоровским, в ссылку в Сибирь) и известного оперного артиста Николая Николаевича Фигнера. Из всех членов семьи (двух братьев и четырех сестер) Евгения Николаевна, предпоследняя в семье, была более всех связана со старшей сестрой Верой Николаевной как в годы революционной деятельности, так и после выхода Веры Николаевны из Шлиссельбурга. Влияние последней на сестру должно было быть большим. Вера Николаевна по окончании института вернулась домой. Тогда ее сестре было 11 лет; некоторое время Вера Николаевна занималась с ней.

Детские годы Евгении Николаевны протекли в селах Христофоровке и Никифоровке, где у деда ее с материнской стороны были имения. Отец Екатерины Николаевны, Николай Александрович Фигнер, был сыном полковника. По окончании корпуса лесничих он служил лесничим, а после 1861 года был мировым посредником. Воспитание детей протекало при довольно суровых условиях, которые в 60-е годы несколько смягчились. Этому помимо общих веяний много способствовала мать, Екатерина Христофоровна. Она была моложе мужа на 15 лет и вначале подчинялась ему, он же был суров и деспотичен. Младшие дети, в том числе Евгения Николаевна, выросли уже под непосредственным влиянием матери. Благотворное влияние на детей имели также дядя их, брат матери, Петр Христофорович Куприянов с женой, и тетка – Екатерина Христофоровна Головня, – люди демократических убеждений.

В 1870 году отец умер и младшие дети остались всецело на попечении матери. Семья переехала в Казань, а потом в Петербург. Евгения Николаевна училась в двух гимназиях и окончила курс в 1875 году в Петербурге, в Коломенской гимназии. Этот год окончания курса в гимназии должен был быть за полгода до окончания университета. Сестры вероятно беседовали о причинах этого неожиданного приезда.

Евгения Николаевна обладала великолепным голосом меццо-сопрано, была красива и хорошо сложена. Ей советовали учиться пению и поступить на сцену. Очень вероятно, что если бы она пошла по этому пути, из нее вышел бы такой же большой художник, певец-артист, как из ее брата Николая Николаевича Фигнера, смывшего карьеру флотского офицера на карьеру оперного певца.

В конце декабря 1875 года Евгения Николаевна вместе с матерью и младшей сестрой Ольгой уехала за границу. 17-18-летняя девушка, перед которой открывалась артистическая карьера, увлекается за границей не театрами и концертами, а знакомится с эмигрантами, учащимися и вообще передовыми людьми… В Швейцарии

она познакомилась с Михаилом Петровичем Сажиным (Арман Росс), Александром Ивановичем Иванчиным-Писаревым, Марией Павловной Лешерн и другими.

Через полгода она вернулась в Петербург. Осень 1876 года была несомненно решающим для жизни Евгении Николаевны моментом. Она поселилась с Верой Николаевной. Прекрасный голос говорил ей, что необходимо учиться петь, идти на сцену, нельзя забрасывать талант, а новые знакомые – Дмитрий Михайлович Рогачев, Юлий Николаевич Богданович, Сергей Михайловский Кравчинский, Дмитрий Александрович Клеменц, Сергей Васильевич Зубок-Мокиевский, Николай Алексеевич Грибоедов и другие относились к карьере оперной певицы сдержанно и даже отрицательно. По их мнению, эта профессия создана для того, чтобы услаждать богатых. Но не одно это осуждение было причиной, почему Евгения Николаевна избрала путь борьбы, по которому пошли обе ее старшие сестры и одна из них уже сидела в каземате.

Осень 1876 года в Петербурге среди молодежи была оживленная: обсуждалась программа деятельности среди народа, шли горячие споры, много говорилось об уплате долга народу, закладывалось основание общества «Земля и Воля»... Евгения Николаевна пошла уже не в консерваторию, а на Калинкинские акушерские курсы. Когда же в декабре 1876 года «Земля и Воля» организовала выступление на площади Казанского собора, то и она была среди демонстрантов. Эта демонстрация могла кончиться для нее печально. Рабочий Яков Семенович Потапов, выкинувший Красное знамя с надписью «Земля и Воля», ушел с площади с Верой Николаевной и Евгенией Николаевной. На углу Садовой и Невского проспекта его арестовали и полиция так увлеклась арестом его, что упустила сестер, которые успели благополучно уехать на извозчике. Евгения Николаевна входила в кружок народников, к которому принадлежали Вера Николаевна Фигнер, Иванчин-Писарев, Богданович, Лешерн, рабочий Грязнов, Александр Константинович Соловьев и другие. Весной 1877 года члены этого кружка, прозванные сепаратистами за то, что они не вполне слились с «Землей и Волей», отправились в Самарскую губернию. В августе туда поехала и Вера Николаевна в качестве фельдшерицы и Евгения Николаевна, но они пробыли там очень недолго. Свидетельница по «процессу 193-х» Чепурнова при возвращении из Петербурга в Самару была арестована и у нее были захвачены письма, в том числе к Вере Николаевне. Пришлось уезжать из Самарской губернии.

Евгения Николаевна продолжала готовиться к экзамену на фельдшерицу. Одно время она занималась с врачом Загорским, мужем старшей сестры Софьи Львовны Перовской Марии.

В Петербурге после процесса 193-х, когда многие из привлеченных к делу были освобождены, среди землевольцев и народников оживление усилилось. Кружок, к которому принадлежала Евгения Николаевна, значительно пополнился. Большинство членов кружка разъехалось по деревням. Вера Николаевна и Евгения Николаевна, сделав предварительно попытку поселиться в Тамбовской губернии, обосновались в Саратовской губернии, в селе Вязьмино. В это время Евгения Николаевна уже имела диплом фельдшерицы, полученный ею после экзамена от врачебной управы Петровского уезда, Саратовской губернии. Но практикой она не занималась, а иногда лишь помогала Вере Николаевне. У нее были иные цели.

В трех волостях, в которых работала Вера Николаевна, не было ни одной школы. Евгения Николаевна решила открыть и открыла вольную школу. Она объявила, что будет учить бесплатно, и детей навезли к ней из разных деревень. Школа завоевывала среди крестьян популярность, но Евгения Николаевна занималась не только обучением грамоте и счету. После дневных занятий сестры шли к кому-нибудь из крестьян. Там собирались соседи, родственники и знакомые. Начиналось чтение и шли беседы. «Сестрички», – так крестьяне звали сестер Фигнер, – пользовались всеобщей любовью и авторитетом. Их приглашали на сходы, в волостной суд, волостное управление, – «при них будут стесняться и совеститься, не станут ругаться»… Евгению Николаевну крестьяне прозвали «наша золотая учительша» и намечали ее в сельские писаря.

Популярность сестер конечно не могла нравиться сельским властям, полиции, кулакам, да и некоторым помещикам. Пошли доносы в земскую управу, к губернатору. Приезжал исправник, допрашивал и запугивал крестьян, говоря, что сестры идут против бога и царя. Школу у Евгении Николаевны закрыли, установили шпионство. Крестьяне стали опасаться открыто общаться с сестрами. А тут подошло 2-е апреля 1879 года, когда Соловьев стрелял в Александра II. Он был знаком с сестрами Фигнер, бывал в Вязьмине и перед покушением в марте даже приезжал к ним. При этих условиях оставаться в Вязьмине было уже невозможно. Евгения Николаевна уехала первая, так как не была связана службой, а Вера Николаевна – по получении отпуска. Вскоре после их отъезда в Вязьмино нагрянули жандармы. После покушения Соловьева и Евгении Николаевне пришлось перейти на нелегальное положение. Она уехала в Рязанскую губернию, а затем в Петербург.

С возникновением «Народной Воли» Евгения Николаевна примкнула к этой партии и исполняла разные поручения, распространяла литературу и даже переписывала секретные сообщения Николая Васильевича Клеточникова о шпионах и различных предположениях III отделения. После отъезда Веры Николаевны в Одессу она поселилась на ее конспиративной квартире вместе с Александром Александровичем Квятковским. Эта квартира имела важное значение – здесь хранился динамит, части для снарядов, литература и документы.

Евгения Николаевна, будучи нелегальной (она жила под фамилией Евгении Павловны Побережской), брала уроки пения в школе Руссо. Евгения Николаевна дала номер «Народной Воли» курсистке Любови Богословской, которая передала его своему знакомому Виктору Алмазову, а тот донес на нее. Богословская на допросе показала, что номер «Народной Воли» она получила от Побережской.

В адресном столе был найден адрес Побережской – Лештуков переулок, дом 13, квартира 27. 24 ноября Евгения Николаевна и Квятковский были арестованы. На их квартире было найдено: банка с 19-ю фунтами динамита, разные части для мин, литература, корректура и прочее. Динамит лежал в комнате Евгении Николаевны. Во время обыска на полу подняли бумажку с каким-то чертежом. 5 февраля 1880 года, после взрыва в Зимнем дворце, чертеж разобрали, – это был план Зимнего дворца, и столовая была отмечена крестом. Взрыв был произведен под этой столовой.

Евгению Николаевну заключили в Петропавловскую крепость. В крепости и Доме предварительного заключения она просидела почти год и судилась в военно-окружном суде по первому народовольческому процессу, – «Процессу 16-ти терро-

ристов». Ей в то время было 21 год. И в тюрьме, и на процессе она держала себя с достоинством, большой выдержкой и спокойствием. Квятковский заявил, что за динамит и вообще за вещи, взятые в комнате Евгении Николаевны Фигнер, ответственность всецело падает на него. Евгения Николаевна признала свою принадлежность к партии, она отрицала лишь свое участие в устройстве и работе в типографии, в чем ее вместе с другими обвинял (и в чем она не участвовала) прокурор. В последнем своем кратком слове она сказала: «Я прошу беспристрастного отношения к тем обстоятельствам, которые выяснились здесь. Если суд найдет их настолько вескими, что признает меня виновной, то я готова разделить участь моих товарищей».

Евгения Николаевна была приговорена к 15 годам каторги, замененной, по ходатайству суда, ссылкой на поселение в отдаленные места Восточной Сибири. Перед отправкой в Сибирь Евгения Николаевна успела нелегально переслать Вере Николаевне письмо[1]. В этом письме она выражала сожаление, что мало сделала, высказывала глубокую веру в правильность пути партии, не сомневалась в том, что наступит торжество идеала, во имя которого она боролась, дала правильную оценку значения первого народовольческого процесса и роли в нем каждого из товарищей и проявляла большие заботы о Вере Николаевне. В письме, написанном с удивительным спокойствием, была выявлена и ее основная черта характера – скромность.

При отправке в Сибирь Евгения Николаевна попала в партию с высылаемыми из центральных тюрем семидесятниками: Александром Васильевичем Долгушиным, Мышкиным, Коваликом, Войнаральским, Сажиным и другими. В Иркутске она перенесла сыпной тиф и по выздоровлении была отправлена в Киренск на поселение. Сюда из Култука в 1882 году перевелся Сажин, за которого Евгения Николаевна и вышла замуж; вместе с ним переезжала по месту его работы, – на Ленские прииски, в Балаганск, Лиственичное на-Байкале, на Ниманские золотые прииски на-Амуре.

В этих небольших городках и местечках трудно было найти настоящую общественную работу. Но Евгения Николаевна находила ее, главным образом, в деле помощи ссыльным. Так, немало забот она приложила, когда в Киренск пришли пятеро солдат из гарнизона Петропавловской крепости, сосланных за установление сношений с Сергеем Геннадьевичем Нечаевым с Исполнительным Комитетом. В Лиственичном, лежащем по пути на Кару, ссыльные погружались на пароходы и сношения с ними были всегда возможны. Сажины обслуживали эти партии, а возвращавшиеся и одиночки не раз останавливались у них. Так, в 1883 году пишущий эти строки пробыл у них целые сутки.

Евгения Николаевна занималась также и обучением детей. В 1896 году по коронационному манифесту Сажины получили право разъезда по всей Сибири и поселились в Тюмени, где было реальное училище и в нем могли учиться их сыновья. В 1900 году они получили право жительства в России, кроме столицы, и выбрали Ригу с высшим учебным заведением, где слушал лекции их старший сын Борис, а к 1905 году Сажины поселились в Нижнем Новгороде. В Нижнем у Евгении Николаевны началась общественная деятельность в широких размерах. Она вместе с мужем со-

[1] Письмо напечатано в снимке «Архив Земли и Воли и Народной Воли». Издат. политкаторжан, 1932 г. и «Каторге и Ссылке» за 1924 год, №9, вместе с обширной биографией Е. Н. Фигнер, составленной В. Н. Фигнер.

стояла членом Общества распространения народного образования в Нижегородской губернии; работала в библиотеке Народного Дома, в Женском Обществе и других. Занималась она и обучением детей, и распространением книг, устраивала воскресные собрания в народном доме и прочее. В 1905 году народный дом сыграл крупную роль в революционном движении.

В 1906 году в Нижнем Новгороде организовался политический красный крест и Евгения Николаевна приняла участие в этом обществе.

С освобождением Веры Николаевны из Шлиссельбурга Евгения Николаевна ездила к ней на север Архангельской губернии, затем в Казанскую губернию, пока, наконец, Вера Николаевна не поселилась у Сажиных в Нижнем Новгороде. В конце 1906 года у сестры был произведен обыск и Евгению Николаевну арестовали, но вскоре выпустили. При обыске Евгения Николаевна сумела унести из комнаты Веры Николаевны в свою, уже обысканную, некоторые документы.

В 1908 году Сажины переехали в Петербург, где Михаил Петрович заведовал хозяйственной частью журнала «Русское Богатство», и вошли в литературные круги. Здесь же жили и сестры Евгении Николаевны Лидия и Ольга Николаевны.

В Петербурге Евгения Николаевна встретилась со многими старыми знакомыми по ссылке, а также и активными революционными деятелями – социалистами-революционерами и социал-демократами. В Петербурге она стала работать и в Обществе помощи политическим заключенным. Возобновила она и свою культурно-просветительную деятельность. Работала в Обществе имени Николая Алексеевича Некрасова, в библиотеке для рабочих, а после февральской революции 1917 года в Комитете помощи освобожденным из тюрем и ссылки. Муж ее, Михаил Петрович, ездил в Иркутск с целью организации отправки освобожденных революцией политических ссыльных и каторжан в Европейскую Россию.

В 1918 году Сажины переехали к сыну, Борису Михайловичу, в Грозный, где он служил инженером. Здесь они пережили гражданскую войну и только в 1920 году приехали в Москву. С 1916 года Евгения Николаевна потеряла обоих братьев и сестер – Лидию и Ольгу. Из относительно большой семьи остались Евгения Николаевна и Вера Николаевна. Последняя поселилась с Сажиными.

С основанием Общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев Евгения Николаевна вошла в состав Общества и состояла членом кружка народовольцев. Она много работала в Музее каторги и ссылки, а также и в библиотеке Общества политкаторжан. Немало вложила она труда в работу по приведению в порядок библиотеки в селе Михайловском, где находится дом отдыха. Свою работу она не прерывала буквально до самой кончины. Менее чем за неделю до смерти она была на собрании кружка народовольцев, – здоровая, спокойная, приветливая. Кончина ее для всех была неожиданной, – она проболела всего двое суток…

Человек изумительной скромности и доброты, никогда не думавший о себе, она отдала всю свою жизнь другим. Она пользовалась всеобщим уважением и любовью. В лице Евгении Николаевны семидесятники и народовольцы потеряли прекрасного товарища и верного друга, а общество – кристально-чистого и чуткого человека.

И. Попов,

«Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник», №1, книга 86, Москва, 1932, с. 220-227.

Михаил Петрович Сажин (1845-1934) [Некролог]

Умер Михаил Петрович Сажин – один из самых выдающихся представителей героического поколения 70-х годов, ближайший ученик, друг и соратник «апостола всемирного разрушения» Михаила Александровича Бакунина.

В лице Сажина революция потеряла представителя того поколения, которое, несомненно, своим героизмом воодушевляло и призывало к революционной борьбе и нашу стальную фалангу революционеров.

Михаил Петрович Сажин родился, как он сам пишет в своей автобиографии, в семье купца, служившего по откупам, в Вятской губернии. Научившись грамоте дома, Сажин поступил в уездное училище города Буя, Костромской губернии, по окончании которого в 1858 году был помещен отцом в Петербургский технологический институт, бывший в те времена закрытым шестиклассным среднеучебным заведением.

Как говорит сам Сажин, на него оказал большое влияние учитель русского языка Моригеровский (в 1860-61). Насколько имеются скудные сведения, Александр Никифорович Моригеровский имел некоторое отношение к революционному движению, так как уволен был из института за вредное влияние на учащихся; брат же его, Алексей Никифорович, то же учитель (в Пермской духовной семинарии), имел уже и прямое отношение к революции и даже был в административной ссылке. Во всяком случае, всякие следы религиозной заразы в Сажине были убиты именно хотя и осторожной, но весьма искусной пропагандой Моригеровского.

Огромное влияние на Сажина оказали сочинения Чернышевского, со статьями которого он познакомился в 1862 году после ареста великого революционера-ученого и закрытия «Современника».

В 1863-64 годах закрытое учебное заведение, где учился Сажин, было преобразовано в Технологический институт, студенты его получили возможность жить на вольных квартирах, и этим воспользовался и Сажин. С этого времени, то есть с 1864 года, и начинается революционная деятельность Сажина. В 1864-66 годах он входил в кружок артиллерийских офицеров и в кружок самообразования студентов-технологов, которые, без сомнения, носили революционный характер. С этого же времени обнаруживаются те характернейшие черты покойного Михаила Петровича, которые отличают его, как одного из самых замечательных учеников Бакунина, революционера-практика, революционера-организатора. Уже тогда, двадцатилетним юношей, отказавшись от религии и впитав в себя идеи тогдашних материалистов, он стремился претворить теорию в практику: он литографским путем (в институтской литографии) издал сочинение Бюхнера «*Сила и материя*» и был привлечен за это к суду, который, однако, оправдал его.

В 1866 году Сажин вступил в кружок Ивана Александровича Худякова и имел отношение к каракозовскому делу: по крайней мере, полиция разыскивала его в связи с этим делом.

Поступив снова в институт (оставленный им в 1865 году), Сажин в 1868 году принял самое деятельное участие в студенческих волнениях этого года. И здесь снова выступил он как практик и кипучий организатор, стремившийся воплотить свои идеи в жизнь: он руководил сходками, заведовал кассой, составил воззвание к студентам. Именно за эту деятельность он был арестован и выслан административно в феврале 1868 года в Вологду, где свел знакомство с Берви-Флеровским, Шелгуновым, Лавровым и близко сошелся с последователями Чернышевского – Феофаном Лермонтовым[1], Александром Левашовым и другими. И здесь Сажин в общении со ссыльными выступал, как ярый приверженец Чернышевского, решительно полемизируя против Щелгунова и Берви, которых «чернышевцы» считали представителями старого поколения, и Лаврова, считаемого ими уже просто либералом; и здесь, как практик-революционер, умело намечал людей действия (например, Лермонтова).

Получив отказ полиции в просьбе переменить место ссылки и поступить снова в институт, Сажин в 1869 году летом бежал в Америку (через Москву, Киев, Одессу, Кишинев, австрийскую границу и Гамбург).

Прожив в Америке до мая 1870 года, где он добывал средства к жизни трудом рабочего на заводах, Сажин покинул Америку, вызванный в Европу Сергеем Геннадьевичем Нечаевым, находившимся тогда в Женеве.

Однако Нечаев не привлек его к своему делу, оттолкнув своим неразборчивым отношением к средствам: отдавая должную дань преданности Нечаева революции, его могучей воле и стальному характеру, Михаил Петрович не мог согласиться с теми сомнительными приемами и средствами, перед которыми не останавливался Нечаев.

В этом же году Сажин познакомился с Михаилом Александровичем Бакуниным и с этого момента до конца дней своих остался преданнейшим и вернейшим учеником, другом и товарищем «апостола всемирного разрушения».

Теперь-то и наступило время, когда незаурядные таланты организатора-революционера Сажина развернулась во всю ширь. Живя в Цюрихе под фамилией Армана Росса, Михаил Петрович организовал русскую колонию, вел пропаганду бакунизма, создал библиотеку и так далее. В октябре 1870 года Сажин появился в Лионе после неудавшегося восстания, организованного Бакуниным, с заданием от последнего, а в марте 1871 года – в Париже на баррикадах Коммуны, в качестве активного борца. После подавления Коммуны, удачно скрываясь несколько дней в квартире Григория Николаевича Вырубова, Сажин уехал в Цюрих и здесь снова бросился, хотя и в словесный, бой с лавристами и организовал кружок сторонников своего учителя. Войдя сначала в Юрскую федерацию Интернационала, а затем в тайный бакунистский «Альянс», он принимал деятельное участие в конгрессах анархистского Интернационала, организовал в Цюрихе типографию для печатания бакунистских сочинений и, вызвав из России Феофана Лермонтова (из Вологды), вместе с ним наладил транспорт запрещенных революционных изданий в Россию

[1] В дальнейшем участник русской группы анархистов, близкой к Бакунину.

(в конце 1873 года, а в 1874 году он занимался этим же делом вместе с Исааком Павловским, членом Таганрогского революционного кружка). Отказавшись отвечать на правительственное сообщение-предписание (в 1874 году) в течение 6 месяцев вернуться в Россию, Сажин весь 1874 год, живя в Локарно, деятельно занимался итальянскими революционными делами.

В 1875 году Сажин, снова с оружием в руках, в горах Герцеговины в рядах иностранного легиона борется за независимость этой провинции турецкой империи; в конце же года он уже разрабатывает план восстания в России на Урале (вместе с Степняком Кравчинским, Германом Лопатиным, Дмитрием Клеменцем) и с этой целью в марте 1876 года едет в отечество. Ни о каком восстании нечего, конечно, было и мечтать, и Сажин, наладив транспорт нелегальной литературы в Россию, думает вернуться в Европу, но 24 апреля 1876 года в Радзивиллове следует его арест и тюремная дверь надолго отрезает Сажина от жизни и революционной работы. Затем следует (5 мая 1877 года) предание суду по делу 193-х, удаление из залы заседаний (29 октября 1877 года) за отказ давать показания и приговор к 5 годам каторжных работ. Постановление суда ходатайствовать перед царем о замене каторги ссылкой в одну из отдаленных губерний не имело успеха (как и ходатайство отца о помиловании в июне 1878 года) и Сажин направляется в Ново-Борисоглебскую каторжную тюрьму (Харьковская губерния), где он и пробыл до ноября 1880 года, откуда, пройдя Мценскую тюрьму, был отправлен в Восточную Сибирь (сначала в Иркутск, а затем в село Култук). Женившись на Евгении Николаевне Фигнер, Сажин жил в разных местах Сибири, в 1887 году получил разрешение приписаться к крестьянскому обществу и до 1900 года не выезжал из Сибири, работая сначала на золотых приисках в Якутской области в качестве заведывающего, а затем в Западной Сибири в пароходстве Богословского горного округа. В 1900 году получил возможность поселиться в Риге и, наконец, в Нижнем Новгороде, где служил в Волжском пароходстве и где застала его революция 1905 года, в которой он принимал ограниченное участие.

С 1906 по 1916 года Сажин жил в Петербурге и занимал должность заведывающего хозяйством журнала «Русское богатство».

Конец жизни Сажин провел в Москве и был членом Общества политкаторжан.

Все мы, революционеры младших поколений, помним Михаила Петровича Сажина, этого как бы вылитого из цельного куска бронзы несгибаемого революционера-бакуниста, борца-коммунара, мученика царских застенков, сына народа, отдавшего этому угнетенному народу все силы, весь ум, весь пыл, всю страсть своей недюжинной натуры перворазрядного организатора.

До конца дней своих Михаил Петрович остался верен своему учителю, его учению, его идеалам. На его знамени, как и на знамени его учителя, было написано:

> «*разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов, – организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира*».

Душа великого революционера, коммунара, повстанца, борца народной обороны, человека, впитавшего в себя все лучшие заветы таких гигантов революционной

мысли и практики, как Чернышевский и Бакунин, непреклонного, несгибаемого защитника угнетенного человечества, человека, не знавшего компромиссов, – вот что делало Сажина таким близким, таким дорогим.

Никогда не забыть мне одного случая в зале Общества политкаторжан во время одного из мирных заседаний какого-то кружка по истории революционного движения. Кто-то, говоря о гражданской казни Чернышевского, что-то напутал. Михаил Петрович взял слово и заметил: «Вы ошибаетесь, я был в это время на площади…»

Молодой товарищ, девушка лет 20-ти, бывшая с нами в зале, спросила меня:

— Он был на площади при казни Чернышевского?

— Ну, да. Вы же слышите это из его уст, коммунара 1871 года.

Тогда молодая девушка по окончании выступления Михаила Петровича подошла к нему и молча пыталась поцеловать его руку.

Михаил Петрович смущенно отстранил эту руку и, погладив девушку по голове, тихо сказал:

— Будьте так же честны и верны своим идеалам, как был честен и верен своему учению Николай Гаврилович.

Вот эта связь со славным прошлым, вот эта революционная честность, вот эта верность своим идеалам, вот эта вера в революционную мощь угнетенного трудящегося человечества, вот эта преданность интересам трудящихся и заставляла умолкать наше несогласие с его революционным катехизисом анархиста и преклоняться перед ним – человеком борьбы.

В. Невский (из статьи убрана вся пропаганда марксизма, как не связанная с темой и фактологические ошибки). «Каторга и ссылка. Историко-революционный вестник», Москва, 1934, книга 2 (111), с. 125-128.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт и инфоанархизм



Михаил Сажин (Арман Росс)
Воспоминания Михаила Петровича Сажина (Армана Росса)
статьи за 1908-1934

В тексте

ru.anarchistlibraries.net